НЁМАН

9/2013
СЕНТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 12.09.2013 г. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,24. Тираж 3175. Заказ 2904.
Цена номера в розницу 18 600 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-84-61; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ВЛАДИМИР СТЕПАН

Три истории

Рассказы

Счастье

Час назад Митя Безручко еще нес стекло.

Январские, бело-синие городские пейзажи при каждом шаге выскальзывали из плоскости стекла. Люди, хрустящий снег, заборы, синее небо, деревья, стены и сами здания менялись ежеминутно. Выглядели, будто увиденные в стремительном полете — прозрачные, изменчивые, двоящиеся, ясные и колючие. Если мужчина останавливался, то и пейзаж в большом стекле застывал, казался нарисованным немецким художником Лионелем Файненгером. Тем самым, который несокрушимый Кельнский собор со звездами рисовал.

Но нес стекло Митя Безручко давно, час назад.

Теперь же он сидел на белом табурете в длинной комнате кухни на седьмом этаже общежития и смотрел на свое отражение в большом стекле, которое поставил к стене напротив. Кроме себя, пола, застланного серым линолеумом, четырех электроплит, умывальника и белых столов в стекле отражались потолок, две лампочки и половина большого безобразного серого окна. Серым, как облако дыма, оно было потому, что его затягивал мутный целлофан, прижатый, а потом наспех прибитый к раме рейками. Целлофан заменял выбитое стекло. Под белоногой табуреткой стояла черная сумка с инструментом.

А два часа назад Мите было плохо, и жить не хотелось.

Он проснулся. Голова сильно болела, руки-ноги слушаться не хотели. Он долго пил воду, а потом равнодушно смотрел на помятую пачку, в которой осталось только две сигареты. Но есть на свете добрые люди, которые не дадут умереть.

Сорокатрехлетний мужчина стоял посреди комнаты, слушал, как под горлом стучит сердце. Неожиданно затрещал телефон, а потом трубка, когда он брал ее непослушной рукой, полетела на пол. Не разбилась...

Ему звонила Маргарита и просила помочь, предлагала подзаработать. Отказываться не получалось. Митя сказал пересохшим ртом: «Сто пятьдесят тысяч, так как я сегодня занят!» Маргарита не спорила, согласилась, поскольку дело срочное и ей некуда деваться. Митя решил побриться, посмотрел на свое мятое лицо, потрогал трехдневную, кое-где седую щетину, плеснул на глаза воды, прижал мокрые ладони к щекам, но бриться передумал.

Когда стоял в двери с сумкой на плече, позвонила бывшая жена. Недовольно, с издевкой напомнила, что у младшей дочери сегодня день рождения. Он уверенно сказал, что знает, и пообещал прийти с подарком. Сказал и сам удивился, ведь только сейчас понял, какой день. Прошедшие понедельник, вторник и среда выскользнули из жизни, как и не было их...

Митя отдохнул, отдышался, так как на седьмой пришлось идти, а не ехать лифтом. Встал и стянул вязаную шапку, положил на то место, где сидел, а сумку поставил рядом. Разостлал на сдвинутых столах суконное одеяло, разгладил ладонью, подложил под одну из ножек картон, убедился, что столы не шатаются, и аккуратно положил на одеяло стекло. Оно еще не успело нагреться и приятно леденило ладони. Достал из бокового кармана сумки стеклорез, подушечкой указательного пальца потрогал ролик. Вытряхнул из пачки последнюю сигарету. По привычке хотел закурить перед работой, но передумал и пристроил сигарету за ухо.

Четверть часа открывал оконную раму, ведь ее давно, может, даже с лета, не открывали. Сделал это дело и почувствовал, что устал. Но и на этот раз курить последнюю сигарету не стал. Только в пальцах повертел да понюхал. Три раза, чтобы не ошибиться, перемерил рулеткой раму и стекло. От большого листа нужно отрезать с одной стороны четыре сантиметра, а с другой три с половиной. Митя решил начать с короткой. Еще раз измерил стекло, черкнул огрызком синего воскового карандаша и снова перемерил. Скинул бушлат, а потом подумал и поставил его в угол. Шапку положил на воротник, чтобы под руками не путалась. Послюнявил большой палец и провел по стеклу, от края до края. Линейку заменяла длинная ровная рейка. Стекло и металл сошлись, поняли друг друга. Сначала захрустело стекло, а потом пронзительно завизжал ролик. На стекле осталась линия, белая и ровная, как натянутая, но несколько растрепанная нитка. Митя тихонько сдвинул стекло, так, чтобы его край висел, и начал снизу постукивать стеклорезом. Наконец звук изменился, по стеклу побежала трещина — темная нить под белой. Узкий, больше метра кусок стекла отделился, оторвался, а потом переломился в руках. Митя не удивился, хотя и ахнул.

У него был хороший музыкальный слух, и он начал петь.

Он любил петь. Тихо, про себя. Если кто-то был рядом, то не пел. Но теперь он один, сам с собой, за закрытыми дверями, а потому и запел. Мелодия звучала сложная, откуда пришла к нему, он и сам не знал. Если бы ему сказали, что это музыка Доницетти (Spirto gentil), то он бы и не удивился. Пусть себе и Доницетти. Песня звучала печальная, светлая, а местами трагичная. Митя пел без слов — звуками.

Он развернул, чтобы было удобнее резать стекло. Вытащил из рулетки металлическую ленту, поставил на стекло три штриха, рулетка втянула ленту с едва различимыми цифрами. Теперь он не пел. Прижал к стеклу рейку и с быстрой осторожностью и уверенностью прорезал стекло. Аккуратно подбил и оторвал узкий край. Обломал плоскогубцами острый кусочек на самом краю и снова негромко запел.

Тара-рыя-яяяяяяя... Тара-ара-рыя-рыя-рыя...

Надел бушлат, натянул шапку. Взял из сумки большую стамеску с широким лезвием, молоток, плоскогубцы и подошел к окну, затянутому плотным целлофаном. Начал отрывать рейки. Холодный целлофан с шорохом сползал на пол. Митя оттолкнул его в сторону, к умывальнику, в который из крана с будничным однообразием падали тяжелые капли.

За окном, как в скромной раме, сверкал бело-синий солнечный пейзаж. В него врезались с трех сторон острые осколки стекла. Пейзаж был такой яркий, что глаза зажмурились и заслезились. Частные дома с белыми крышами, кирпичные пятиэтажки, дорога, машины, люди. Много белого и синего. Митя смотрел на радостный, веселый и холодный пейзаж, но даже не улыбнулся. Быстро и осторожно принялся вытаскивать куски стекла. Боясь, чтобы какой не выскользнул из пальцев и не полетел на улицу, на тротуар. Открыл

раму. Сейчас это сделать было не сложно. В длинном помещении кухни мгновенно стало холодно, как на улице. Митя застегнул бушлат. Он начал торопиться. Работал быстро, но аккуратно.

Он не боялся высоты. Совсем. Мог ходить по крыше, мог сбрасывать снег, сдвигать фанерной лопатой к краю, а потом сталкивать. Мог сбивать сосульки, которые бахромой висят рядом с жерлами водосточных труб. Ему даже нравилось стоять близко к небу и смотреть на город. На маленьких людей, машины, деревья. Нравилось, что рядом только птицы и снежная пыль.

Когда смотрел на город, то опять тихонько запел. Но на этот раз он выводил партию Нормы (Casta diva), торжественную и лирическую. Остановился на высокой ноте. Поставил табуретку под окно, открыл раму и стал тщательно и осторожно отрывать штапик. Кое-где штапик прилип, присох, и работа требовала большого внимания. Митя умел работать. Это неправда, что фамилия всегда соответствует человеку. Руки у Мити есть, руки хорошие, умелые.

Когда штапик лежал на узком подоконнике, Митя соскочил с табуретки и ножом подчистили каждую рейку, отковырял белую краску. Если бы была наждачка, то он не поленился бы и прошелся ею по рейкам, но наждачки в сумке не нашлось, а потому пришлось поскрести лезвием ножа. Повыдергивал из рамы погнутые ржавые гвоздики и высыпал их в пластиковую урну.

Подготовился к главному действию. Но курить и сейчас не стал. Аккуратно поднял со стола стекло. Отражение комнаты кувыркнулось, потолок упал на пол, а пол взлетел. Поднес стекло к раме, приложил нижний край, поставил и медленно поднял. Стекло встало на подготовленное место. Придержал его ладонью, взял с подоконника три гвоздика. Два зажал зубами, а третий приложил к раме. Некому было помочь. Большое стекло всегда лучше вставлять, если кто-то помогает...

Забил стамеской один гвоздик, потом второй. Стекло держалось. Третьим прихватил стекло сверху. Вздохнул с облегчением. Осталось самое простое и приятное.

Приладил штапик с той стороны, где не было гвоздика, и начал прибивать. Петь не получалось, так как во рту гвоздики...

Закрыл окно. Прижал раму. Повернул железную ручку, достал ее и закрыл верхний замок. Пейзаж за стеклом застыл, выглядел, как изображение на полотне. Только теперь Митя заметил на указательном пальце большую каплю крови. Он слизнул ее, капля появилась вновь. Он догадался, что зацепил палец острым уголком стамески, забивая предпоследний гвоздь.

Маргарита осмотрела окно, коснулась ладонью запотевшего стекла. Вниз глядеть сорокалетняя женщина не хотела. Митя взял со стола деньги, аккуратно перегнул три бумажки, спрятал в карман рубашки, застегнул пуговицу. Указательный палец, там, где царапина, обертывала синяя изоляционная лента. Такая синяя, как тени на снегу.

Маргарита вновь обозвала малахольным придурком того мужчину, который три дня назад пришел в общежитие и выбросился с седьмого этажа. Митя разговор о самоубийце не поддержал. Блондинка с редкими волосами ушла. Митя слышал, как цокают каблуки в длинном коридоре общежития. Потом стало тихо. Он собрал инструменты, ссыпал осколки стекла в пластиковую урну. Приставил к стене стул, сел и закурил. Ему было хорошо. Он был благодарен тому незнакомому мужчине-самоубийце.

P. S. Детские красные варежки стоили сорок тысяч, красный шарф шестьдесят, три бело-синих пачки сигарет «Премьер» четырнадцать тысяч семьсот рублей. Пенсию инвалид Дмитрий Николаевич Безручко получит через три дня.

Снаряд

Окно белое, чистое, холодное и светлое. На широком подоконнике белый вазон со столетником. Шкафы с книгами, за стеклом много фотографий, мелкая пластика: птички, зверушки, рыбки и среди них компас. Телевизор работает громко. Так громко, что и соседи слышат голоса актеров, пение, рекламу, собачий лай, новости, прогноз погоды. Старик при этом шуме спит. Сидит в своем большом кожаном кресле и спит. Руки под пледом, вытянутые ноги в коротких валенках опираются на пятки, круглыми носами глядят в потолок. Рядом, на журнальном столике, стакан с водой, лекарства в ярких разнокалиберных пузырьках и пачках, телевизионный пульт. Раскрытый блокнот с ровными строчками. Буквы неразборчивые мелкие, как дробь. Палка одним концом на большой цветок на вытертом ковре указывает, другой конец под пледом.

В серых валенках девяностолетний генерал ходит по квартире третий год. Может, это только кажется ему, а может, так и есть, что в длинных шерстяных носках и обрезанных валенках ноги меньше мерзнут и не так сильно болят, не подгибаются, лучше слушаются хозяина. Сбрасывать такую обувь удобно и ходить удобно, не цепляются валенки за ковры и пороги.

Как всегда старик не услышал, как в замке повернулся ключ, как хлопнула тяжелая дверь. Он проснулся от другой причины — холодок сквозняка пробежал по лицу, добавил морщин на щеках и под глазами. Правая рука вылезла из-под пледа, нащупала палку, сжала. Палка ударила в пол. Не в ковер, а в паркет. Потом еще раз и еще. Из длинного коридора раздался громкий голос Насти: «Это я, Константин Николаевич, не надо паркет портить! Людей пугать!» Потом женщина поздоровалась, сказала, что на улице холодно, ветрено и гулять они сегодня не пойдут, так как можно заболеть. Лучше будет, если она его помоет, но сначала приготовит поесть и соберет завтрак. В руках Настя держала сумку с продуктами и бутылку с минеральной водой. Старик смотрел на свою сиделку, которой было пятьдесят пять, и она казалась ему бессовестно молодой, и радостно мигал голыми, как у ящерицы, веками. Он успел побриться, причесать редкие бесцветные волосы, но на впалых висках они торчали и даже немного кучерявились. Рядом с телефоном лежал телевизионный пульт. Генерал взял его, нацелил в экран и пару раз твердым, но слабым пальцем нажал красную кнопку. Экран погас.

Раз в месяц он волновался. Самым тяжелым для старого генерала было мыться. Раньше он любил воду, мог долго плавать. Однажды на Черном море заплыл так далеко, что перестал видеть берег. Он бы и еще дальше мог плыть, но пограничники не дали. Подумали, что он решил сбежать по морю в Турцию. На палубе катера военные ругались, а он отмалчивался. Сидел, тяжело дышал и молчал. Он и себе не мог объяснить, почему заплыл так далеко, за два километра от берега. На пристани лейтенант и два сержанта испугались, когда узнали, что этот немолодой мужчина, бок и плечо в шрамах, а на запястье часы, — генерал. Начали извиняться и краснеть... Теперь, если бы вошел в глубокую воду, пусть и озера, вода бы не стала его держать. Он это знал...

После завтрака сиделка переоделась в короткий халат без рукавов, начала наливать ванну.

Ему было неловко и стыдно, когда Настя помогала ему поднять ногу, чтобы он перелез через бортик ванны, а потом и сел в пахучую воду. Стыдно, когда терла рыжей мочалкой его немощное и белое тело, лила на затылок, шею и спину теплую воду. Ему неловко, а она смеется. Если бы лет тридцать назад такое, а лучше сорок, то и он бы смеялся, а теперь беспомощно злился на свою

немощь. Она дала ему подержать кусок мыла. Он хотел сжать, а оно выскользнуло из мокрых пальцев, булькнуло в воду. Как он ни старался, а дотянуться не мог, согнуться не получалось... Он обессиленно положил руки на бортики и опустил голову. Настя наклонилась, ее гладкая рука в мелких точках родинок прошла сквозь пену, коснулась его колена, мягко отодвинула ногу, нащупала мыло, скользнула по неподвижному бедру и появилась над ванной. С ее руки в блестящих мыльных пузырях сыпались капли.

— Извини, Настя, скользкое оно, как рыба, не удержал, не подумай чего...

— Если и подумаю, то что с того. Мир ведь не перевернется? Давайте-ка голову мыть. Вода не холодная, может, погорячей? Нет так нет, как скажете. Сегодня суп, рыба мягкая, совсем без костей, салат и компот с вишнями... Заговорилась я тут, а там телефон разрывается. Это, видно, ваши, — сказала Настя.

Вытерла руки и поспешила в большую комнату, где рядом с коричневым старым креслом трещал на низком столике большой кнопочный телефон.

Он не слышал, ни с кем, ни о чем она говорила. Он сидел в теплой воде с закрытыми глазами, и ему было легко. Думал о женских руках, про грудь, а больше всего про живот... Когда Настя вернулась, когда взяла мочалку, то сказала буднично, как о супе, рыбе и компоте с вишнями, что звонил какой-то Петах, а может, Ветах, она не успела переспросить... Этот человек даже не поинтересовался, как генерал себя чувствует, а только и сказал, что вчера умер полковник Бараневич, похороны состоятся завтра, на Военном кладбище...

Старик сидел неподвижно, как в сугробе, и ему вдруг стало холодно в теплой воде. Так зябко, даже ноги начало крутить.

— Что, хороший был человек этот Бараневич? Давайте ту руку, теперь спину, а ноги потом. Сколько ему лет, как вам? Ой, не заметила — вода совсем слетилась, нужно подтеплить... А ногти потом обрежем.

Она еще что-то говорила, но он не прислушивался...

— Завтра пойдем на похороны, — громко сказал старик, и пока не оделся в чистое и сухое, больше не проронил ни слова, на вопросы не отвечал, как будто не слышал. Вода всегда забирала много сил.

Пообедали. Генерал ел неохотно, одно чтобы Настю не обижать. Компот не допил. Поднялся, поблагодарил и пошел в большую комнату. Сел в свое кресло и попросил, а скорее приказал, чтобы Настя принесла с дивана в кабинете чемодан.

Когда чемодан с кожаными уголками оказался рядом с креслом на низком столике, старик надел очки и открыл его. Нашел черный большой конверт, вытащил пачку бумаг. Настя помыла посуду, потом начала вытирать пыль.

Старик посмотрел на нее и попросил подойти. Он показал ей фотографию табачного цвета с мятыми уголками. С карточки улыбался офицер с плоским, как блин, лицом и мелкими звездами на погонах.

— Это тот самый Бараневич, я правильно поняла?

— Тот, но тут он молодой.

— Не очень красивый... — проговорила, отдала снимок и пошла к плите.

Потом старый генерал поднялся с кресла. Настя слышала его дыхание с присвистом, слышала, как стучит палка. Слышала, как открылась дверь спальни, дважды щелкнул выключатель.

Хозяин позвал женщину в спальню. Непривычно, что под высоким потолком горела люстра на шесть лампочек и торшер рядом с аккуратно убранной кроватью. Старик стоял перед глубоким, но не слишком высоким шкафом, дверки нараспашку. Из шкафа пахло нафталином, одеколоном и ваксой. Он дотронулся левой рукой до каракулевой шубы, которая напоминала огромный кокон, так как шубу обертывала марля. Рядом висели, а казалось, что стояли

плечом к плечу, серые шинели с блестящими погонами. Настя вытащила шубу, перекинула через руку. Она стояла, не зная, что делать дальше.

— Положи на кровать, разверни и примерь. Ты должна хорошо выглядеть. Там, на полке, в коробке такой же берет, серый и теплый. — Генерал показал палкой на одну из картонок на верхней полке, среди фуражек с блестящими козырьками, рядом с седой папахой.

— А почему ваша дочь себе не забрала?

— Я не позволил. Что стоишь, надевай. И примерь берет.

Старик шел в зал к своему креслу и громко, как все, кто туг на ухо, говорил: «Поедем на такси. Мне нужно его увидеть. Машина нас подождет, а потом вернемся».

Он не слышал, как Настя медленно, странной походкой вышла из спальни, как вошла в комнату.

— Мне неудобно, Константин Николаевич, как в поликлинике из гардероба чужое взяла... Зачем все это? Нет, я в этой шубе из квартиры не выйду. Будут потом говорить, что я выклянчила одежду вашей жены и хожу. У меня есть свое синее пальто с капюшоном и теплый белый берет, совсем новый.

— Перчатки у тебя есть? Черные? Отлично...

— Можно, я шубу на балкон повешу, чтобы выветрилась, а то этот запах нафталиновый...

Старик смотрел на свою сиделку, которая обернулась, поправила полу, застегнула единственную блестящую пуговицу и посмотрелась в стекло книжного шкафа. Генерала не интересовало, что скажет Настя. Если он решил, то спорить с ним бессмысленно. Он видел, как они подъедут, как выйдут из машины и спокойно пойдут к толпе под черными и высокими деревьями. Он знал место, знал, что Бараневича похоронят рядом с женой. Снег. Земля. Венки. Но он придет без цветов. Придет, чтобы плюнуть на могилу...

Потянуло сквозняком. Это Настя вынесла на балкон и повесила серую шубу...

Генерал почувствовал, как по всему телу, от затылка до пальцев на ногах, пробежал холодок, а потом в животе стало как-то совсем пусто. Он попытался подняться, чтобы дойти до туалета. Встал и медленно пошел. Зажег свет в туалете и застыл, не хватало сил сдвинуться и отнять от стены руку. Подумал, что надо позвать женщину, но голос пропал, рот открылся-закрылся, как у рыбы...

Качнуло на стену. Упал, ударился головой о косяк...

Настя услышала, как дверь туалета стукнула железной ручкой в кафель стены. Звонко, как молотком в стекло. Сделала от плиты три быстрых шага. Увидела валенки, носы вверх, и палку, лежащую на полу...

Дети и дети детей решили, что время пришло, и в большой генеральской квартире появился чернобородый священник с черным портфельчиком. Священник еще на лестничной площадке столкнулся с медиками, которые из квартиры выходили. Те с пониманием дела поздоровались первыми, священник ответил. Его ждали. Он вытер ноги. Круглолицая женщина приняла пальто и повесила в шкаф. Она провела его по длинному и полутемному коридору, показала, где помыть руки и каким полотенцем вытереть. Священник поставил на пол портфельчик, а когда вышел из ванной, Настя проводила его и открыла дверь в спальню. Священник огляделся, аккуратно и с уважением отодвинул тонометр, поставил на стол портфельчик, расстегнул, достал Псалтырь, широкую багровую ленту, расшитую золотом, серебряную чашу на тонкой ножке, перекрестил сие предметы и только тогда внимательно посмотрел на старика, неподвижно лежащего на постели.

И священник, и дети, и дети детей, которые ходили по квартире, кто-то готовил себе растворимый кофе, брал из серванта расписные чашечки, знали, что старик до вечера не дотянет, ведь так и медики говорили, но и без них можно было безошибочный прогноз сделать. Голова забинтована. Лицо серое, редкие волосы к вискам прижались, нос острый, рот ввалился, руки желтые, ни кровинки, и не слушаются. Лежат на одеяле, как на снегу. Никого дед не узнает, на вопросы не отвечает, вот-вот последний раз вздохнет.

Голос у священника громкий и плотный, как войлок валенка, и такой же серый. Он успел произнести: «Раб божий Константин...»

Хотел дальше свое дело делать, но заметил, что бескровные руки перевернулись вверх ладонями и сжатые пальцы, как плавники рыбы, движение сделали. «Ближе! Ближе!» — попросил старик.

Он смотрел на священника таким взглядом, что тот растерялся. Взгляд насторожил и не понравился, отсутствовали в нем как смирение, так и угасание. А что было в глазах, священник не разобрал, потому что времени не хватало, да и своих проблем достаточно, чтобы думать о каждом больном. Но чернобородый священник приблизился, наклонился, голову повернул ухом к больному.

— А ты знаешь, почему снаряд из пушки семьдесят шестого калибра летит дальше, чем снаряд тридцать седьмого? — тихо, но разборчиво спросил старик. — Я тебе скажу. Скорость, допустим, у них одинаковая, четыреста пятьдесят метров в секунду. Но тяжелый снаряд пролетит пять тысяч семьсот метров, а легкий четыре тысячи сто метров... А дальше залетит снаряд из пушки калибром сто пятьдесят два миллиметра. Он самый тяжелый. Все легкие снаряды попадали...

Священник не понял, зачем ему знать про какой-то снаряд. Подумал, что, может, начался предсмертный бред, что разум покидает старого военного. Но каждое слово произносилось уверенно, а взгляд стал издевательским...

— Раб божий Константин... — начал священник.

— Не надо!

Через пять минут священник вышел. Генерал не стал его слушать, от исповеди отказался. Такое с чернобородым священником произошло впервые. Он выглядел растерянным и обиженным. Позвали, сказали, чтобы спешил, так как старик плох и слаб, почти не разговаривает и даже детей узнавать перестал.

Дочь и сын генерала попросили у священника прощения за отца, заплатили за напрасные хлопоты.

Круглолицая женщина подала пальто, черный портфельчик подержала, провела к лифту.

Настя вернулась в квартиру. Там громко и недовольно переговаривались дети старика и дети детей. Два внука, лет по сорок, курили при балконе и смеялись. «Хорошо, что палкой не побил, мог бы...» — «Если бы силы были, то побил. Во дает дед, если бы не на машине, выпил бы за его здоровье. Слышал, что твоего шефа проперли?»

Настя сидела на стуле рядом с больным и улыбалась. Она знала, почему тяжелый снаряд из пушки калибром сто пятьдесят два миллиметра, весом сорок один килограмм, при скорости четыреста пятьдесят метров в секунду, залетит дальше, чем снаряд меньшего калибра и меньшего веса...

— Хорошо, что помыла, спасибо. — тихо сказал генерал и как-то совсем беспомощно похлопал рукой по одеялу. — Жаль, ногти не успела обрезать.

— Отдыхайте, Константин Николаевич...

За прикрытыми белыми дверями топтались дети старика и дети детей. Они разговаривали громко, ссорились, спорили, но в спальню не заходили. Настя встала и вышла.

Через полчаса в большой квартире стало тихо, сумрачно. В кухне шумела вода, и Настя осторожно мыла деликатную посуду из немецкого сервиза. Потом вытерла чашечки и расставила в серванте. Тихо заглянула в спальню. Услышала дыхание. Ровное, однообразное. Осторожно присела на край кровати. Она не знала, радоваться ей или огорчаться, что генерал не умер, что ей опять придется ухаживать за ним, убирать, готовить, слушать, мерить давление, следить, чтобы не забывал пить лекарства, уговаривать поужинать, выводить в парк, мыть, как ребенка...

Через три месяца, в мае, Анастасия замывала холодной водой свежее сиреневое пятно на рукаве рубашки своей внучки. Терла белым куском мыла след от капли вишневого компота. Гладкий кусок выскользнул из пальцев, дернулся-крутнулся в умывальнике и вылетел на пол... Настя вдруг растерялась, покраснела. Ей стало горячо. Женщина испуганно села на край ванны, сильно-сильно зажала коленями мокрые руки и подумала: «Хорошо, что дочка меня не видит...»

Дом

Дом стоял на холме, на высоком фундаменте и чувствовал себя брошенным.

Он выстывал на холодных ноябрьских ветрах, перемешанных с крупинками сухого снега, и радовался даже мышам, которые грызли забытые хозяином макароны. Бегали по шкафчику в маленькой комнате рядом с печкой, сновали по подоконникам и шкафам, точили обои, попискивали, спрыгивали со стола на пол. Хозяин так заторопился и так быстро начал собираться после того, как ему позвонили, что забыл разбросать отраву по комнатам...

Дом увидел людей темным и ветреным вечером. Они взошли на крыльцо, но не на высокое, от улицы, освещенное фонарем и засыпанное жесткими сухими листьями, а на то, что со двора, и обрадовался. Этих мужчин он знал — местные пьяницы, веселые, крикливые, громкоголосые. Но сейчас какие-то настороженные и тихие. Они помогали хозяину чистить колодец. Это было в самом начале августа. Мужчины хвалили воду из глубокого колодца, но пили водку, которой угощал хозяин, закуривали после каждой рюмки, плевали под ноги и удовлетворенно хохотали. Пили на улице, под верандой, на широком бетонном крыльце и говорили, что грибов не будет, так как сушка, а если и пойдут, то только осенью, в конце сентября, а может, и еще позже...

Мужчины постояли немного. Сухо, как книга страницами, шумел дуб. Возле речки угрожающе залаял пес, а когда замолчал, то Сергей, так звали меньшего, вытащил из кармана связку ключей на алюминиевой проволоке и начал открывать нижний замок. Из всей связки только два и подошло, но в замке не провернулись. А вот верхний, еще совсем новый замок, поддался быстро. Потом Сергей снова попытался повернуть ключ в нижнем. Мужчины ругались шепотом на хозяина, на темноту, на дом, на осень и ковырялись в замке. Это продолжалось долго. У гостей были топор и короткая черная кошка — гвоздодер. Все происходило в темноте, лишь раз вспыхнул маленький фонарик. Это Василий посветил на ржавый ключ и прошептал: «Нет, если еще раз, то отломится и в замке останется!» Лезвие топора Сергей вогнал в щель между косяком и дверью, а Василий обеими руками навалился на рифленый прут кошки. Дверь и косяк захрустели. Дверь открылась. От косяка откололась белая щепка, полетела под ноги. Мужчины вошли в веранду, пол заскрипел, вздохнул, затрещал.

Синий кружок света, размером с блюдце, остановился на дверной ручке, скользнул по плите, по ведрам на полу, на мгновение остановился на красном баллоне и застыл на щели в замке. Это были старые, много раз крашенные-перекрашенные двери в дом. «И здесь два, бля, а ты говорил, что один!» — прошептал Василий.

Дом от этих слов будто проснулся, спохватился, оторопел, испугался, понял, что происходит, и сжался. Да так, что затрещали и захрустели балки, доски и бревна стен. Так, что исчезли даже узенькие щели между половицами.

Сергей дернул ручку, навалился плечом на скользкую дверь, но она даже не шевельнулась — стояла, будто была одним целым со стеной из толстенных бревен. «Я же говорил тебе, что надо через окно лезть, а ты: откроем-откроем», — зло прошептал Василий и попробовал подобрать ключ.

Старый дом сопротивлялся как мог. Каждой доской, большим и малым гвоздем, каждой дверной петлей, винтом и гайкой... Грабители стали мокрыми от пота и злыми. Устали. Наконец сумели изуродовать и выломать замки, открыть дверь и войти. Василий едва на ногах держался, а потому сразу сел на диван, непослушные, мелко дрожавшие руки, положил на колени. Сергей засуетился, стал оглядываться, быстро светить фонариком, прикидывая, что надо брать.

Василий поднялся с мягкого дивана, стащил со стола клеенку и начал складывать на нее вещи: блестящий термос, белый электрический чайник, даже большой кипятильник снял с гвоздя. Сергей принес радиоприемник, фонарик, из ящика выгреб плоскогубцы, отвертки, ножовку, дрель. Из кухни принес вилки, ложки, ножи. Из шкафчика забрали бутылку водки и подсолнечное масло, а из открытого пустого холодильника старую мясорубку...

Грабители устали, потому что боялись, присели к голому столу. Рядом со столом, между окном и шкафом, висел приклеенный невидимым скотчем исписанный лист бумаги. Сергей оторвал его. Взял фонарик и посветил. «Что там написано?» — спросил Василий. «Херня какая-то, мягкое небо, холодная вода, колючий татарник, и что Родина там, где могилы родственников», — сказал Сергей, плюнул на бумагу и прилепил к стене.

Дом вспомнил хозяина, сидевшего за столом, на том же месте, где сейчас вор. Усталое лицо хозяина, облитое искусственным светом монитора, было как у мертвеца. Но покойникам очки кладут в карман, как и носовой платок. Стеклышки блестели, как две луны. И перед печкой хозяин сидел на низкой скамеечке, в очках на сосредоточенном лице. Перебирал бумаги и бросал в огонь. Некоторые страницы откладывал, перечитывал, но потом комкал и бросал в пламя. Так длилось несколько осенних вечеров. В доме было тепло и сухо, а окна потели, сплошь в сверкающих каплях. И две мухи ожили, начали летать вокруг лампочки...

В предпоследний вечер хозяин и приклеил на стену, рядом со столом, ту бумажку... Тем же поздним вечером хозяин долго стоял и смотрел на фотографии. Они были под стеклом, а стекло держала рама, покрашенная в ореховый цвет. У деда хозяина осталось немного краски. Покрасить большую скамью, шкаф рядом с печкой, дверь не хватит, а на раму достаточно. Хозяин, как никогда раньше, долго рассматривал фотографии, а потом снял с другой стены маленькую рамку, положил на стол и начал разбирать, повытаскивал гвоздики, поднял пыльный картон, и достал пожелтевший снимок. На нем были дед, который построил этот большой дом, баба и мальчик. Дед и мальчик стояли, а баба сидела на крыльце. В одной руке нож, в другой яблоко. Этот фотоснимок хозяин положил в блокнот, между страницами.

«Посмотри на печке и под кроватями, может, там его удочки и спиннинги, а я шкаф открою», — повелительно прошептал Сергей и начал загонять лезвие топора в узкую щель.

Дом напрягся так сильно и так отчаянно, что большой гвоздь, на котором держалась рама с фотографиями, гвоздь, который забил еще дед хозяина, стал едва заметно поворачиваться и сгибаться. Большая рама со стеклом обрушилась на пол. Стекло громко разбилось, разлетелось, фотографии рассыпались...

Фонарик выпал из Сергеевой руки и покатился под кровать, погас. Василий присел рядом со шкафом, прикрыл голову руками, втянул ее в плечи.

«Слушай, надо валить отсюда. Не нравится мне здесь. Поймают, слышишь, Сергей!» — бормотал Василий и застегивал пуговицы. «Кто-то ходит там, не слышишь разве? Над нами остановился. Стоит», — прошептал Сергей и обеими руками поднял топор.

Грабители сильно испугались, очень сильно, но надо найти последнее — удочки и спиннинги, ведь видели, что на автобусную остановку хозяин шел только с рюкзаком...

Когда Сергей снова подошел к шкафу и хотел сломать дверку, когда примерился и замахнулся, то... Под потолком, почти над головами, громко щелкнуло — загорелась лампочка. Ярко. Невероятно ярко, как солнце. И на веранде загорелась лампочка, и над плитой, и в большой комнате, и над изуродованной дверью крыльца...

* * *

Дом не мог рассказать хозяину, как сопротивлялся, как защищался, как победил. Ведь разве в такое поверишь?

Утром рядом с домом стояли две машины, а во дворе несколько деревенских негромко говорили со следователем, высоким и хмурым. В доме ходил районный прокурор, немолодой, усталый, сосредоточенный. Он остановился над разостланной на полу клеенкой и начал изучать бессмысленную коллекцию вещей, будто выбирал, что взять себе. Дверь открылась. Заколебались занавески, бумажка, приклеенная к стене, полетела на пол, под ноги прокурору.

«Эдуардович, так писатель едет?» — спросил следователь. «Занят номер», — ответил прокурор, нажимая кнопки мобильника и вглядываясь в бумажку на грязном полу. «Алло, алло... Ты меня слышишь, Олег, узнал? Тут такое дело, твой дом в деревне... Что? Не можешь приехать... А завтра? Как это... Навсегда... Понятно... И семья на ПМЖ... Ну, ты меня удивил... Хорошо, спасибо, заберу, в шкафу... Еще раз спасибо, Олег...» Прокурор спрятал телефон в карман расстегнутого пальто, наклонился и поднял бумажку.

В выстывший дом и на веранду насыпалось мертвых дубовых листьев. Высокий следователь восседал за столом на диване, а на табурете сидела деревенская женщина в старомодных очках и диктовала телефонные номера своих трех сыновей, которые в начале прошлой недели уехали на заработки в Питер. Прокурор постоял рядом с печкой, послушал разговор следователя с женщиной, а потом понес к своей машине два спиннинга, черный рюкзак с различным рыбацким барахлом и зеленые резиновые сапоги, считай, еще новые.

Из всего услышанного сегодня большой дом, как ни старался понять, что такое ПМЖ, — не мог.

Перевод с белорусского Алены МАРКОВИЧ.



КАЗИМИР КАМЕЙША

Я земли этой сын

Яблоня покоя

Былое поле хуторское
Застыло в сонной тишине,
Растет там яблоня покоя,
Что не дает покоя мне.

Сиротский вид ее невольно
Лес заслонил своим плечом.
Весной цветет — аж взгляду больно,
А в воздухе темно от пчел.

Она меня всегда узнает
Издалека, в любые дни.
А с веток яблоки свисают,
Но, как судьба, горьки они.

Она уж рада даже граду,
Так ей, наверно, тяжело.
И яблоки устали падать,
Их там, внизу, белым-бело.

Приснится давняя усадьба
Где ветви окна теребят.
Пересадить ее в свой сад бы,
Но сам он тесен для себя.

Одна. Кого винить? Не знаю.
Стоит печальная всегда...
И только — дождик поливает
Ее застывшие года...

Утро

Кому-то — праздник,
Кому-то — будни.
Кос перезвоны
Деревню будят.

Косе и лодке
С утра не спится,
А завтра снова
Все повторится.
В росе у лошади
Хвост и грива.
И все открыто,
И все без грима.
Тебе, деревня,
Тепла, покоя!
А мне б запомнить
Тебя такою...

* * *

Сколько нам осталось — неизвестно,
А живем на свете только раз.
Много нас, как пчелок, в доме тесном,
Но и трутни водятся средь нас.

Мир давно затосковал по ласке.
Тот смеется, плачет тот навзрыд.
Вот ребенок катится в коляске,
А в другой — безногий инвалид.

А иным — так только иномарка,
И других мечтаний просто нет.
Крутится Земля, как циркулярка,
В ореоле радостей и бед.

Но впадать в уныние не надо,
Не печалься, трезвый человек.
Слышишь смех за стенами детсада?
Значит, будет продолжаться век.

Память

Боль твоя,
Твоя память, Хатынь.
Долгий день твой, последний и горький...
Три березки печально стоят,
Только нет рядом с ними четвертой.

Три березки,
Им ветер поет,
А четвертая спряталась где-то.
...О четвертой лишь колокол бьет
Под задумчивым небом рассвета.

Ночной этюд

Месяц, выбравшись из-за туч,
Загляделся в мое ведерко
И решил поселиться тут.
Долго плавал и плакал горько.

Одинокий и молодой,
Что он может, ледышка, пророчить?
Только вдруг из ведерка с водой
На меня поглядели очи.

Лязгнул где-то замок и смолк,
Полстолетия вмиг промелькнуло.
Всколыхнулось небо само,
И душа в ответ всколыхнулась.

В 30-километровой зоне

Смерть теперь приходит не с косою,
Облик этот как-то устарел.
В черной той немилосердной зоне
Я на смерти разные смотрел.

Смерть была и яблоком, и грибом,
Смерть росла, казалось мне, везде.
Смерть плыла в канаве гибкой рыбой
И лосями мчалась по беде.

На дворах, крапивою поросших,
С ней играли куры и коты.
Стали смертью пыль,
дожди
и росы,
Крыши,
стены,
улицы,
мосты.

Ты всегда был тихим, белорус,
Мы ж теперь и вовсе онемели.
Сами по себе окаменели
Хлеба кус
И даже сала брус.

Тут никто не бегает на речку,
Слова не уронит в тишине.
И в святые дни поставить свечку
Некому под образ на стене.

И рукой незримой радиация
У дороги провод злобно рвет.
Зона по лесам, полям
и нации
Через страшный радиус плывет.

Радиус тот болью лишь измерить,
Валит лес усталая пила.
Зона не на тридцать километров,
А по сердцу каждого прошла.

* * *

Берег там, каких на свете мало,
И реки пружинистая нить.
«Вот бы нам, — когда-то ты шептала, —
Домик там, на берегу купить».

Время шло. Весна давно минула.
Вновь тебя на берег потянуло?

Как и там, над нами небо нежно
Осыпает золотом листву.
И не нужен домик мне прибрежный —
Я и так на берегу живу.

Стоит только шаг один ступить —
И порвется солнечная нить.

* * *

Босиком по росе
Пробегусь на рассвете.
Деревенский сосед
Это тут же заметит.

— Ты, чудак городской,
Я отвык удивляться.
Хочешь передо мной
Деревенским казаться?

Сигарета его
Возле губ догорает.
И роса, как огонь,
Ноги мне обжигает.

То нагонит слезу,
То кольнет, как иглою.
Я и память разул,
Вспоминая былое.

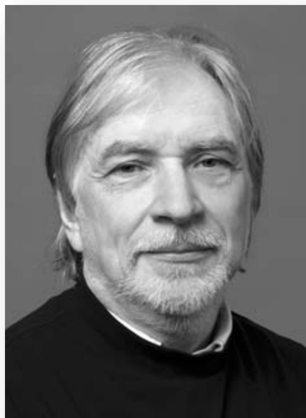
Серебром вьется след
По земле этой древней.
Успокойся, сосед.
Я и сам из деревни!

Пусть напьются росы
Мои босые ноги!..
Я земли этой сын.
Боже, как это много!..

Ты не смейся, земляк,
Не суди меня строго.
Пусть я гость, это так...
Не прими за чужого!..

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.





ЮРИЙ ПЕЛЮШОНОК

Рейс

Морские истории

Судовая жизнь

После Гибралтара океан совсем успокоился. Шли, как по болоту. Судовая жизнь текла обычным, заведенным столетия назад морским порядком. Команда просыпалась, завтракала, расходилась по работам, в перерывах пила чай, затем был обед, снова работа и снова традиционный, заведенный еще англичанами чай в четыре часа пополудни. Отступлением от традиции были разговоры о политике. Никогда еще на флоте не было столько политических споров. Мы были маленьким, унесенным в океан осколочком громадной страны-корабля, который, все чувствовали, дал крупную течь.

После ужина на «заборе», так назывался стенд для новостей, вывешивались полученные по телеграфу вести с Родины. У «забора» собирались моряки, читали, спорили. Из последних новостей узнали, что Горбачев выдвигает на руководящие посты старые проверенные номенклатурные кадры. Экипаж решил, что Горбачева, скорее всего, самого пугают размеры перестройки и он опасается, что страна вот-вот станет неуправляемой. Никто не приписывал Горбачеву того реформаторства, которым его наделяли на Западе. К примеру, если бы шесть водителей по очереди, один за другим, в течение десятилетий без капремонта катались бы на одной и той же машине, гоняли бы ее по тундре, по тайге, по целине, и в снег, и в зной, и когда, наконец, за руль сел седьмой водитель, машина сломалась. Седьмой поломал машину?

Все понимали, потому и пустили Горбачева посидеть за рулем, что машина давно выработала свой моторесурс. Видно это было по последним съездам народных депутатов, где каждый делегат рвался к микрофону, спеша попользоваться гласностью: «Загубили тундру!», «Засушили Арал!», «В Сибири опасно дышать от химкомбинатов!», «Дети месяцами не видят молокопродуктов!», «Солдаты в армии на голодном пайке!»

Впервые на Земле мы оказались народом, для которого социализм был в прошлом. Тысячелетняя мечта человечества о равенстве, братстве и счастье была уже не в будущем и уже не мечта. Было восстание рабов под руководством Спартака, но их постигла неудача, потому что, как нас учили в школе, они не освободили от рабства всю Италию и не захватили Рим. Были многочисленные восстания крестьян в средние века, но, как нас учили в школе, они не увенчались успехом потому, что к ним не присоединились ремесленники, а позже рабочий класс. Были революции, но опять же, революции эти были не для народа, а для нарождавшейся буржуазии. И вот, наконец, впервые на Земле совершилась социалистическая революция, освободившая от тысячелетнего рабства крестьян и рабочий люд. И это было именно то, что надо. Теперь, спустя семьдесят четыре года, «то, что надо» разваливалось само

собой. Страну не захватил враг, более чем за сорок лет на нее не упала ни одна бомба, но под седьмым руководителем страна сломалась, как заезженный автомобиль. (Хотя не все так плохо, из бензобака еще можно откачивать и продавать бензин.)

Люди, учившиеся когда-то по одинаковым учебникам, служившие в одной армии, работавшие для одной цели под одними и теми же лозунгами, вдруг стали очень разными. Бесклассовое социалистическое общество мгновенно начало распадаться на классы: появились бедные и богатые, причем бедные появились легально, в то время как богатые свое появление предпочитали не афишировать. Появилась никогда ранее не всплывавшая на поверхность каста уголовных авторитетов, а с ними огромное количество людей с криминальным прошлым, имеющих деньги и все возрастающее влияние на общество. Люди стали резко различаться по национальностям. Дружба народов при социализме — явление искусственное, а принцип «не хочешь дружить — иди в Сибирь» уже не соблюдался так рьяно, как раньше, и в воздухе запахло «правом нации на самоопределение». Но это было там, далеко, а судно наше — осколочек огромной страны — двигалось тем временем в океане предписанным ему курсом. На корме развевался флаг с серпом и молотом. Изменения, сотрясавшие страну, касались нас в очень малой степени. Экипаж читал новости на «заборе», обсуждал их по каютам за чаем, но случаев открытой вражды ни на политической, ни на национальной почве не было. Закон мирного сосуществования разных существ, плывущих по огромному океану, действовал со времен Ноева ковчега.

Хотя нет, вчера была драка, но не из-за противоречий социализма, а скорее из-за капитализма. Старший матрос Шушарешкин подрался с камбузником во время игры в «Монополь». Камбузник не дал Шушарешкину остановиться в своей виртуальной гостинице по старой дружбе даром. Игру купили в Бремене за культфонд всего десять дней назад, но матросы быстро освоили природу капитала. На судне появились свои миллионеры и свои банкроты. Жаль, после драки капитан выбросил игру за борт.

Кит

Судно шло параллельно Гибралтару. Время было послеобеденное. Матросы, поев краснофлотского борща, тефтелей с макаронами и запив все компотом, расходиться из столовой команды не спешили. Кто лениво, сыто, а кто с голодным энтузиазмом, спорили на тему: «Чего ждать от будущего»? Начал все боцман. Поводом для спора стала только что полученная боцманом от жены телеграмма: ОБОКРАЛИ ДАЧУ ТЧК ВЕЗИ МАШИНУ ТЧК. В своих суждениях боцман ни машины, ни дачи не упоминал, а брал глубже: «Нас ждет энергетический кризис и как следствие его — самоосвобождение уголовного элемента, — пророчествовал он. — Вот увидите, — тряс он телеграммой, — как только исчезнет электричество и погаснет свет, то погаснет он не только в домах, но и в тюрьмах. Ты пойдешь в темную тюрьму кормить уголовников»? — обратился он наугад к сидевшему рядом дремавшему матросу. Матрос задумался. «Он еще думает! — закричал на него боцман. — Никто не пойдет! Охрана разбежится! А как не будет света, значит, не будет сигнализации, и урки выйдут на свободу. Они хорошо организованы. У них дисциплина! Паханы! Так что власть они возьмут играючи».

— Тебя послушать, — сказал старший матрос Шушарешкин, — так нужно сейчас срочно в тюрьму садиться, чтоб в будущем жить по-человечески.

— Именно, — ответил боцман, — и чем быстрее, тем лучше. Выйдешь человеком при деле и при связях.

— Но над уголовниками есть другие, гораздо более сильные структуры, — возразил боцману камбузник Алик. — Я не думаю, что КГБ даст им разгуляться, к тому же есть еще научная и творческая интеллигенция, — Алик говорил в неторопливой манере знающего человека. Когда-то он окончил три курса химико-технологического института и считался среди матросов знающим.

— Ты примитивный человек, — оборвал Алика не признававший авторитетов боцман. — У нас уголовники с семнадцатого года в почете, вроде индийской коровы. С семнадцатого года они государству милее интеллигенции. Возьми уголовные песни, их слушает все взрослое население страны, ими восхищаются подростки. А про интеллигента ты хоть одну песню слышал? Или слышал, чтобы кто-нибудь им восхищался? И это несмотря на то, что интеллигент у нас всегда получает максимальный срок, и как правило, без амнистии. Уголовник же подпадает под все амнистии и льготы, и за то время, что интеллигент сидит, он десять раз может сесть и выйти.

— Ну, это в любых странах так, — показал знание вопроса Алик. — Допустим, насчет интеллигентов я погорячился, но ведь КГБ у нас на высоте. В тюрьмах кагэбэшники не сидят, и времени на оттачивание мастерства у них гораздо больше, чем у уголовников. И в количественном отношении они уголовникам не уступят. В каждом крупном городе есть школа КГБ. И дисциплина у кагэбэшников будь-будь. И авторитетов они своих чтят и уважают. Не то, что коммунисты: не успеют очередного вождя похоронить, как мы узнаем: «кретин был». А в КГБ неизменные авторитеты с семнадцатого года.

— И ни один кагэбэшник мою дачу не ограбит, — сказал боцман, — а уголовники метут все подряд.

— Все метут, — подтвердил старший матрос Шушарешкин. — Вот у меня братан на «Жигуле» раз пьяный с бабами в новом микрорайоне, в лесополосе, в березу врезался. Ноги поломал, но отрубаться не стал; как Мересьев, собрал силу воли и из «скорой помощи» со мной связался, чтоб я за машиной присмотрел. Я через полчаса приехал, а от машины один каркас. Колес нет, сидений нет, даже руль сняли. Во как уголовники работают. Быстро. Хладнокровно. И не смутили их лужи кровищи.

— Да это не уголовники, это народ, — махнул рукой боцман. — Люди из соседних домов поналетели. Станут тебе уголовники разбитую машину растаскивать, с отвертками и плоскогубцами. Зачем им пачкаться? Они за это время лучше десять новых угонят. Тем более, что в недалеком будущем они смогут взять все что захотят.

Услышав слово «народ», Алик тут же высказал предположение, что главная сила не уголовники и не кагэбэшники, а все ж таки народ!

— А мне по барабану, — буркнул Боцман, — лишь бы моей дачи не трогали. Сколько сил в нее вложено. Стоишь после каждого рейса раком над грядками, чтоб зимой закуска была, да и так, кроме закуски, чтоб покушать было чего.

Кто-то крикнул: «Кит!» И хоть кит в море не в диковинку, все, кто был в столовой команды, бросились к иллюминаторам.

Метрах в пятидесяти по левому борту среди волн показалась черная блестящая спина, похожая на всплывшую железнодорожную цистерну. Поднялся фонтан парного воздуха и брызг. Проплыв немного параллельным с судном курсом, кит махнул хвостом и ушел на глубину.

Про змею и попугая

Был вечер. Судно только что покинуло порт маленькой песчаной страны. В корму дышала горячим воздухом пустыня. На небе, как при проявлении фотографии, появлялись единичные звезды, затем группы звезд, и вот стала видна мелкая крупа далеких созвездий. Интересно, светит ли в тропиках Марс? Видимо, светит, но где-то на краю неба, уступив место экзотическим созвездиям. От экзотических созвездий на душе спокойно и мирно.

В самом лирическом настроении я сидел на пожарном ящике и глядел на океан, сливавшийся далеко в темноте со звездным небом. Думал о разных разностях, о том, что вот, прошли тропик, о том, что неплохо бы дать телеграмму домой, как я тут жив-здоров.

Я с детства твердо знал, что когда-нибудь буду в Африке. Мама однажды прочла мне книгу Джона Хантера «Охотник», по мотивам ее был еще снят фильм «Барабаны судьбы». После этого я бесчисленные разы представлял себя в Африке в разных ролях: то я со сложенным маминым зонтиком, изображающим ружье, иду по следу льва-убийцы, то веду бой с питоном в африканском болоте, и, естественно, у меня есть говорящий попугай, который по утрам говорит мне: «Доброе утро». К мечтам детей нужно относиться серьезно, темы приходят к ним из будущей взрослой жизни. Я мечтал об Африке довольно долго, потом были гитары, спорт, потом я взялся за ум, пока было за что держаться, стал врачом, и... судьба забросила меня в Африку.

Львов в Африке я не встречал, откуда им взяться в портовых городах. А вот мечта про питона и попугая сбылась.

Однажды местные благодарные больные принесли мне в подарок питона, которого, похоже, поймали за пять минут до того в канаве у портовых ворот. Поместил я питона на время в пустовавшем судовом госпитале. Он сразу же залез в госпитальный унитаз и лежал там, свернувшись кольцами. Идея была — показать его матросам, все ж какое-то развлечение, а затем, сфотографировавшись с ним в обнимку, выпустить на волю. Вся команда приходила посмотреть на питона. Это был полутораметровый констриктор с пятнистой кожей и немигающим взглядом.

К вечеру он исчез. Ушел гулять по канализационным трубам. В тайне от команды сохранить это не удалось. Теперь, садясь на унитаз, каждый думал, а не вынырнет ли под ним питон. Прошел слушок, что питон голодный. Непоправимый урон мог быть нанесен моряку. Пожилой рефмеханик первым попросил у меня горшок. «Тебе-то чего волноваться», — пробовал я отшутиться. «Я, док, вот что те скажу, у меня сердце слабое, — пугал меня рефмеханик. — Если увижу твою змею, все... инфаркт. И ты будешь отвечать». — «Почему со слабым сердцем в море ходишь»? — интересовался я. У комиссара было тоже слабое сердце, но он держал это в секрете и, получив свой горшок, выразил лишь устное пожелание, чтобы я поскорее разобрался «со своим питонцем».

Но, как говорится, беда одна не ходит. На другой день местный больной, узнав от своих, что я люблю животных, принес мне говорящего, как он утверждал, попугая. За все время, что попугай жил в моей каюте, он не сказал ни-че-го ни на одном языке, зато по утрам орал так, что было слышно в подлодках на дне океана. Утро для него начиналось за час до восхода солнца. Судно наше уже шло обратным курсом на Европу, так что выпустить его на волю я не мог.

Неделю погуляв по канализационным трубам, питон вернулся в госпиталь. Я заткнул сток в унитазе. Экипаж вздохнул с облегчением. Мнительный

рефмеханик все же каждый раз перед тем, как идти в туалет, забегал в госпиталь посмотреть, «на месте ли змий».

Ел питон не раз в месяц, как пишут в книгах, а три раза в день. Очень любил сгущенку, сделанную в городке Брагин, что в зоне Чернобыля. Брагинскую сгущенку на флоте выдавали за вредные работы. Не знаю, от сгущенки или еще от чего, у питона случилось расстройство желудка. Понос из него вырывался со свистом, как пена из огнетушителя. Но в своем доме, то есть в унитазе, питон не гадил, он выползал для этого на госпитальный пол. Убирать за кошкой или собакой — это еще туда-сюда, но убирать за полутораметровой змеей... Я молил Бога поскоре послать нашему кораблю сушу.

В первом же французском порту я приметил передвижной цирк шапито. Вечером, к началу представления, я незаметно ушел с судна с удавом в мешке и попугаем в коробке от обуви. Директор цирка, молодой парень, узнав, с чем я пожаловал, пригласил меня в один из цирковых вагончиков. Посмотреть на большую змею туда набилась толпа артистов. Питона гладили, передавали с рук на руки, пристраивали себе на шею, каждый хотел его в свой номер. Это понятно, с питоном легко: повесил его на шею и ходи под аплодисменты. Надо сказать, что питон во время осмотра держался молодцом и ни разу никого не обгадил. Благо осмотр был недолгим. Питона взяли с удовольствием. Подошла очередь попугая. Я вытряхнул его из коробки. Попугай осмотрелся по сторонам и принялся чистить перышки. Директор наклонился к нему, протянул орешек и сказал: «Бонжур». Попугай что-то крякнул. «Бонжур», — перевел я. Все захлопали в ладоши. Мне стало даже жалко, что отдаю такого умного попугая, но вспомнив его предрассветные крики, я быстро успокоился. Денег ни за змею, ни за попугая я не просил. Был рад, что передал их в добрые руки и что, наконец, смогу отоспаться.

В тот вечер я пил с директором красное вино в огромных количествах. Торжествовал, как цыган, пристроивший старую лошадь и шелудивую собаку на барский двор. С разными идиотскими идеями рвался на арену, где шло представление. «Дайте мне надувную гирю! — требовал я. — Изображу силача!» Но представление, похоже, обошлось без меня. Ручаться, однако, не буду. Помню только, что директор подарил мне на прощание бутылку коньяка. До порта я добрался на автопилоте. На судне никто из начальства, как мне казалось, не заметил ни моего отсутствия, ни того, как я вернулся. Я пробрался в свою каюту и, не раздеваясь, уснул.

На другой день за завтраком комиссар все же заметил, что на судне тихо. В воздухе повис немой вопрос: если не слышно попугая, то уж не продал ли его часом доктор, получив за это незаконную валюту? Все, кто был в каюткомпании, посмотрели на меня. Моя голова болела после вчерашнего, и я свел ответ до минимума: «Дело в том, — навел я резкость опухшего глаза на комиссара, — что я перенес попугая в госпиталь, на время, пока убирал каюту, а там питон голодный загипнотизиривал его взглядом. Попугай сам к нему в пасть пошел, а в желудке гипноз ослаб, попугай очухался и стал царапаться. В общем, оба умерли. Я их вчера ночью за борт спровадил». От последних слов комиссар поперхнулся кусочком хлеба. Но все перевел в шутку капитан: «Да не верьте вы ему. Док узнал, что в Московском зоопарке за сантиметр питона сто рублей дают, привязал к нему чугунную гирю и стал вытягивать. Питон не выдержал, лопнул». Если капитан шутит, все смеются, морской закон. Это разрядило напряжение. У комиссара ко мне вопросов больше не было. И в моей жизни никогда больше не было ни питона, ни попугая. Детская мечта сбылась.

Гроб

Во время стоянки на триста каком-то причале огромного антверпенского порта в своей каюте внезапно умер от сердечного приступа механик Кочкин. С утра вышел в увольнение, через час вернулся со звякающим при каждом шаге саквояжем. Затарился в «Дьюти фри», впереди долгий рейс. Когда вахтенный через полчаса случайно заглянул к нему в каюту, то увидел механика лежащим на полу рядом с пустой бутылкой водки...

Приехала бельгийская «скорая помощь». Приехала полиция. Примчались почему-то две пожарные машины. Вскоре все так же быстро уехали, а на столе у старпома осталось лежать свидетельство о смерти, официальный документ, заверенный бельгийским врачом и двумя полицейскими.

После отъезда бельгийцев старпом с капитаном облегченно вздохнули. Механика было жалко, но чувство жалости к умершему таяло перед осознанием того, что все обошлось без лишнего шума. А могли бы приехать представители западной прессы... Конечно, нет ничего страшного в том, что человек умирает от инфаркта, но если это случается дома, а не на советском судне в западном порту. «Здесь, в капиталистическом окружении, происшествий быть не должно, — сказал приехавший после отъезда полиции представитель советского консулата. — Смотрите, не давайте повода для сплетен», — предупредил он на прощание капитана.

— Может, переправить тело на родину самолетом? — спросил капитан.

— Можно, но из следующего порта дружественной нам африканской страны, — ответил, уже спускаясь по трапу, представитель советского консулата.

Когда завернутый в брезент механик уже лежал в рыбной камере холодильника, а судовая жизнь понемногу возвращалась в свое русло, по трапу поднялся похоронный агент. Вначале он зашел к капитану, но оттуда сразу же был послан к старпому.

На столе у старпома зазвонил телефон:

— К тебе агент идет, гроб хочет продать, — услышал старпом голос капитана. — Ты его отшей под каким-нибудь соусом.

— Гроб было бы неплохо, — ответил старпом.

— Сам понимаю, что неплохо, — сказал капитан. — Только покупать будем за что, за кейсы с камбузной шайзой?

— Может, советский консулат денег даст? — спросил старпом, но еще не договорив фразы, пожалел о том, что спросил.

— Вы ненормальным родились или в море таким стали? — прозвучал в ответ капитанский бас. Выходя из себя, капитан всегда переходил на «вы».

— Понял, — коротко ответил старпом и положил трубку.

Минуту спустя на столе у старпома лежал огромный буклет, со страниц которого отливали красным деревом и дорогой обивкой гробы любых форм и размеров. Старпом хмуро рассматривал каталог, зная, что в конце концов он придерется к какому-либо гробу и потребует чего-нибудь такого, чего у агента не окажется, и придется агенту, как говорят в Одессе, уйти, пиджамши хвост. Цены в каталоге шли по убывающей. С каждой страницей гробы и стоявшие под ними цифры становились все скромнее. Но даже скромные гробы выглядели настолько безупречно, что высказать какие-то претензии у старпома не хватало духа. Дойдя до последней страницы и переведя стоявшую там под совсем уже простым гробом цифру в валютные рубли, старпом поймал себя на мысли, что, имея такие деньги, он бросил бы море.

— Я бы хотел посмотреть другой каталог, — обратился он на ломаном английском к агенту.

— Других нет, — ответил с улыбкой агент и пояснил: — Если что-либо не удовлетворяет клиента, то фирма может сделать гроб по спецзаказу. Но это будет несколько дороже. Хотя деньги, как я понимаю, не проблема, — добавил он, — ведь умер инженер.

От таких слов агента старпом залпом выпил полный стакан «Боржоми», жалея о том, что это не водка. Подавив воздушным глотком поднявшиеся из желудка пузырьки, он вдруг сказал:

— А у нас на судне все с высшим образованием. Почти все, кроме матросов. Образование у нас в стране — не проблема. У нас в стране каждый, кто хочет, может стать инженером.

— Сколько инженеров на вашем судне? — уважительно спросил агент.

— Еще три, — ответил старпом и почувствовал мгновенный прилив гордости, того, чего ему так не хватало в начале разговора.

— Понимаю, — кивнул агент. — Трое коллег хотят проводить в последний путь своего товарища как подобает. Тогда пусть кто-нибудь из инженеров сделает эскиз гроба, а мы гарантируем выполнение заказа в одну ночь.

Старпом остановил взгляд на бутылке «Боржоми», еще раз пожалев, что это не водка. Водка оправдывает паузы в разговоре и даже придает им некоторый философский оттенок. «Боржоми» — нет. Старпом молчал, тупо и бессмысленно глядя на бутылку с минеральной водой. Агент начал потихоньку ерзать на стуле, пытаясь поймать его взгляд. Наконец старпом подал голос:

— А что это у вас там? — краем глаза заметил он в руке агента еще один буклет.

— Это для захоронения домашних животных, — виновато улыбнулся агент, пряча буклет среди других бумаг.

— Можно взглянуть? — протянул руку старпом.

Агент раскрыл было рот, но уступил и, глядя куда-то в сторону, положил буклет на стол.

На этот раз старпом начал сразу с последней страницы. Изображенный на рисунке ящик напоминал обычный советский гроб, в котором когда-то похоронили его бабушку, но был гораздо шире, и это, по мнению старпома, придавало ему солидности. Но главное: цена под гробом как раз соответствовала количеству денег, лежавших на культфонде судна. В этот фонд каждый член экипажа откладывал по полвалютных рубля в месяц. Идея была — купить телевизор для ленинской комнаты, но если потратить культфонд на гроб механику — дело святое, команда поймет и поддержит.

— Сколько стоит с доставкой? — ткнул пальцем старпом в рисунок.

— Это для павшего скота, — пробормотал агент.

— Конечно, не для инженера. Это так, на всякий случай, — сказал старпом и, чтобы успокоить агента, прищурил для убедительности глаз.

Трусливо поглядывая на прищуренный глаз, агент достал калькулятор. Выходило, что доставка стоит в два раза больше гроба.

Агент ушел. Старпом проводил его до трапа. Уже прощаясь, чтобы скрасить неловкость, старпом взял для приличия его визитную карточку, сказал, что подумает и позвонит денька через три. Оба знали, что отход судна был назначен на завтра, на утро.

Старпому никого не хотелось видеть. Он не пошел на обед. Он вернулся в свою каюту, сел за письменный стол, выпил стакан «Боржоми», жалея о том, что это не водка, и вдруг поймал себя на мысли, что умер его хороший знакомый, с которым они два года проплавали на одном судне, в каюте у которого было выпито столько чая, да и не только чая, а теперь вместо чувства скорби он испытывает лишь стыд. Неизвестно, сколько времени просидел старпом

за столом. Стыд стал постепенно улетучиваться, а затем и вовсе рассеялся, уступив место новой философской мысли: «Может, нам совсем отказаться от гробов? Без гробов мы неуязвимы». Развивая мысль далее, старпом пришел к заключению: «Хоронят же евреев без гробов». Он никогда не видел, как хоронят евреев, но знал точно, что без гробов.

На столе зазвонил телефон.

— К судну гроб подвезли, сгружают у трапа, — услышал он голос капитана.

— Я не заказывал! — вскочил со стула старпом. — За какие деньги?

— Вот выйди и разберись, — коротко ответил капитан.

Через секунду старпом был уже на палубе. Внизу, у борта, он заметил трех человек, несших гроб к трапу.

— Завалить трап! — скомандовал он на бегу вахтенному матросу. Но было уже поздно, первый из несущих поставил ногу на ступеньку.

Тогда старпом закричал по-английски, сложив руки рупором: «Я запрещаю вам подниматься! Трап — это территория СССР!» И тут же, повернувшись к вахтенному, отдал приказ:

— Готовь пожарную кишку! Будут наступать — струей смоем.

Внизу произошло некоторое замешательство. Впереди идущий попытался соскочить со ступеньки, в то время как задние напирали вперед. От этого гроб выскользнул у них из рук и грохнулся на бетонный причал. Крышка приоткрылась и глазам старпома явилась дорогая шелковая обивка, точь-в-точь как с первой страницы похоронного буклета. Старпом едва удержался, чтобы тут же не открыть пожарный кран.

— Эта штука на хороший мерседес потянет! — почему-то шепотом сказал он подбежавшему с брандспойтом вахтенному матросу.

— Так чего же они тогда его притащили? Сдурели, что ли? — с тревогой глянул на старпома вахтенный.

— Типичный капиталистический подход. На нашем горе нажиться хотят. Только я пойду и скажу им, что не туда, мол, господа хорошие, попали. А ты, пока я буду с ними разговаривать, держи наконечник брандспойта нацеленным вниз, если что — прикроешь.

Отдав распоряжения, старпом стал не торопясь, с достоинством спускаться по трапу. Но не прошло и минуты, как он вернулся, держа в руке какую-то бумагу. «Опусти кишку», — бросил он на ходу вахтенному и исчез в дверях надстройки.

— «В связи с постигшим вас горем, смертью товарища, примите в дар от бельгийских моряков», — перевел вслух письмо капитан.

— А что «примите в дар»? — сам себе задал капитан вопрос.

— Гроб, — ответил старпом.

— Я понимаю, не мешок картошки. Только как мы этот дар объясним советской таможне? Привезли из-за границы дорогой гроб, а на какие деньги? Спустись к ним и скажи, чтобы дописали конкретно, что они дарят, — капитан вернул письмо старпому.

Старпому было стыдно, но за свою многолетнюю практику загранрейсов он научился давить в себе это чувство и, вскоре вернувшись в каюту капитана, доложил о том, что все сделано. Капитан еще раз пробежал по письму глазами и поднял их на старпома.

— Вот тут шариковой ручкой дописано по-английски «гроб», а где подпись, удостоверяющая «исправленному верить»? Любой советский таможенник подумает, что это мы сами написали, и будет прав.

— Бельгийцы и слова-то «гроб» писать не хотели, — стал оправдываться старпом. — Они говорят, у вас в стране Горбачев, перестройка, вам верить должны.

— Дорогой мой старпом, — начал выходить из себя капитан, — перестройка — это сказка для них, а для нас с вами продолжаются суровые будни. И чтобы эти будни не стали для вас более суровыми, спуститесь, пожалуйста, к бельгийским товарищам и удостоверьте слово «гроб» подписью, а еще лучше — двумя.

Старпом пошел выполнять приказ. Подписей было взято три. Гроб подняли на палубу и спрятали в кладовой до приезда в советский порт.

Старпом стоял у трапа. В глубине его души приятно шевелилась мысль о братстве моряков всего мира. На губах его еще играла тень улыбки после прощания с бельгийцами, когда у трапа появился ушедший с утра в увольнение комиссар. В одной руке он держал коробку с двухкассетным магнитофоном, в другой — огромный пакет, из которого торчали разноцветные пачки женских трусов «неделька». По струившемуся с лица комиссара поту было видно, что весь путь до города и обратно он проделал пешком, сэкономив на автобусе. Устало поднявшись по трапу, комиссар поставил коробку с пакетом на палубу и выпрямился, чтобы перевести дыхание, но тут же своим комиссарским чутьем уловил, что на судне что-то не так.

— Что здесь произошло? — спросил он старпома.

— Механик Кочкин от инфаркта умер. И еще... Ему бельгийские моряки гроб прислали, — немного замявшись, доложил старпом.

— То, что механик умер, это плохо. Но вины нашей в том нет. Я его предупреждал, чтобы не пил, — сказал, вытирая потную шею платком, комиссар. — Если что, у меня с десяток его объяснительных подшитых в столе лежит. Но вы, общаясь тут с разного рода проходимцами, которые, как грифы, налетели на нашу беду, вы, надеюсь, не уронили чести советского моряка?

— Нет, не уронили, — ответил старпом, — гроб в дар приняли, как положено.

— Зря! — побагровел комиссар и даже топнул ногой от досады. — Этого делать было нельзя! Сейчас же капиталисты раструбят, что у нас гробов нет. У нас перестройка! Гласность! Человеческий фактор на первом месте! Весь мир следит за нашими успехами. А вы гроб у них берете. А еще говорите: «чести не уронили». Стыдно, старпом! К тому же, вы не задумывались над двойным смыслом этого, извиняюсь за выражение, подарка? Капиталисты дарят нам гроб. Не что-нибудь, а именно гроб. Приказываю: при отходе судна оставить гроб на причале. Или нет, будет скандал, лучше выбросим его позже в море.

Так сказал комиссар. Затем взял под мышку двухкассетник, в другую руку пакет с «неделькой» и, возмущенный, пошел есть оставленный ему в кают-компании обед.

Генетика

По палубе барабанит дождь. Время обеда закончилось, но палубная команда продолжает сидеть в столовой. Погода навевает дрему. К тому же, как в дождь красить палубу?

За столом идет неторопливый разговор. Старший матрос Шушарешкин в судовой библиотеке случайно нашел книгу по популярной генетике и теперь, прочитав пару глав, смотрит на мир другими глазами. Он, как это часто случается с впечатлительными натурами, не может удержать в себе полученных знаний и делится ими с любым согласным слушать. С Шушарешкиным ведет беседу, по ходу вставляя пару-тройку мыслей, судовой авторитет,

камбузник Алик. Разговаривают они спокойно, без матерных слов, будто в столовой стоит телекамера, а они — ведущие програмы «Очевидное — невероятное». Роль аудитории играют матросы. После сытного обеда их развлекает этот диковинный диалог, в котором напрочь отсутствуют матерные слова, а наоборот, присутствуют различные непонятные термины и идет вежливое взаимное дополнение тут же рождающихся мыслей о генетической природе всего живого.

— Если б дети одинаковыми рождались, некому было бы улицы мести, — говорит Шушарешкин. — Каждый родитель хочет своему ребенку дать образование. Но и через тысячу лет будет человек с метлой. Все определяет генетический код.

Алик добавляет, что, мол, нужно учитывать также условия для правильного развития генетических данных. И что попавший под машину и потерявший ногу индивидуум не реализует генетически заложенных в нем возможностей бегуна.

— Но, с другой стороны, — рассуждает Шушарешкин, — при самых благоприятных условиях нельзя наследственно тучного мужика сделать бегуном на стометровку, будь у него хоть три ноги.

— Согласен, — кивает Алик, — от генов зависит и конституция тела, и характер, и поведение. Но важны опять же условия. В жизни всегда будет определенное генетикой количество мошенников и лохов, старых дев и проституток, но опять же при определенных условиях развития, при которых заложенные в них качества смогут расцвести, так сказать, во всей красе.

Упоминание о проститутках, «цветущих во всей красе», будит явный интерес у нескольких прежде дремавших моряков.

Шушарешкин качает головой, он не согласен с Аликом, он считает генетику, а не условия, основой всего.

— К примеру, — говорит он, — некоторые писатели любят поспекулировать на тему: «Она была непорочной девушкой, но судьба толкнула ее на панель». Этот беспроигрышный прием читатель хавает, и даже со слезой, — раскрыв рот, изображает Шушарешкин хавающего читателя. — Но писатель не генетик, — продолжает он, — и далек от понимания того, что его девушка была врожденной проституткой и потому выбрала панель. Хорошая девушка пошла бы не на панель, а на ткацкую фабрику.

Среди моряков — гул одобрения.

— Оставим литературу, — успокаивает аудиторию Алик, — литература к жизни отношения мало имеет. Вполне возможно, что, не будучи генетиком, писатель при хорошем знании жизни нутром чувствует, что хорошая девушка на панель не пойдет. Но непанельный исход для хорошей девушки не интересен читателю.

— Вот если б сын нашего боцмана от алкоголизма умер, я бы не удивился, — вдруг вставляет сквозь дрему один из палубных матросов. И, широко зевнув, добавляет: — Нет, не удивился бы.

— Генетика таит в себе много загадок, которые жизнь ни понять, ни разгадать не может, — заразившись зевком от матроса, говорит стоящий в дверях камбуза и молчавший до сих пор повар. Все оборачиваются к нему. Повару нечего добавить, но, польщенный вниманием, выдержав паузу, цыкнув зубом и за то мгновение порывшись в памяти, в которой хранились тысячи анекдотов на все случаи жизни, натянув на лицо маску серьезности, он продолжает:

— Жила-была хорошая, культурная семья. В ней было много детей. Значит, не эгоисты, — начинает загибать пальцы повар. — Мать не работала. На

пианино им играла. Досмотрены были. С развитым чувством прекрасного. Отец начальником был, но не каким-то там придурком, а по школьной системе, мягкий, разумный человек. И вот один брат — бомбу в царя батюшку кидает. А другой такое заваривает, что мы до сих пор расхлебать не можем. И скажи, генетика не загадка.

— Потому что мы не имеем генетического иммунитета к напечатанному на бумаге слову, — объясняет Шушарешкин. — Вон на Западе никто политику не читает и живут припеваючи. Там «Искру» продавай хоть на каждом углу. А к нам «Искру» в чемоданах с двойным дном привозили, читали до дыр, и в результате — революция...

Вошедший в столовую боцман не дает Шушарешкину закончить. Терминами простыми, не научными и потому понятными еще до того, как он закончит очередную фразу, он отдает команду матросам идти красить палубу.

— Так ведь дождь идет, — слышатся недовольные голоса.

— Ничего, — говорит, выходя из столовой, боцман, — краска крепче держаться будет.

Все медленно поднимаются, нехотя идут к выходу.

— Кто бы мне объяснил, — спрашивает молодой матрос из палубной команды, — есть ли на свете генетический боцман? Я имею в виду, есть ли такие, боцманские, гены?

— Гены алкоголика, трудоголика... — начинает перечислять Шушарешкин.

— Получившие развитие, — подхватывает Алик, — в замкнутом корабельном пространстве при полном отсутствии каждодневной желанной дозы спиртного.

— Ваше определение какое-то витиеватое, народу непонятное, — вмешивается повар и переводит все на простой язык: — Жаба его душит, что обед кончился, вы тут сидите в тепле, а он по палубе шорхается. Дворник он по жизни.

— Дворник и боцман — генетические братья, только один на суше, а другой на море — заключает Алик. И видя, что попал в точку, добавлят: — Говорила мне мама: «Учись на генетика», нет, на камбузника пошел.

Бизнес в море и на суше

В Европе купить что-либо с нашими деньгами было тяжело. В Германии еще можно было что-то высмотреть, но главные покупки планировались на «Островах сокровищ», Канарских островах. Город Лас-Пальмас, или как его называли моряки, Пальмас, с ударением на последнем слоге, был местом, где можно было купить то, что впоследствии по возвращении домой можно с выгодой продать. Цены в Пальмасе были доступны для наших моряков, особенно после проданных в Африке сандалий и ящиков хозяйственного мыла, когда в карманах шелестели колониальные франки Африки «CFA». В банках Пальмаса CFA менялись на песеты, что во много раз увеличивало покупательную способность моряка и он мог чувствовать себя почти миллионером.

Не скажу, чтобы в Африке не было мыла, но почему-то там ценилось советское хозяйственное мыло, сделанное по запаху и виду из... У англичан есть поговорка: «Дождь кошек и собак». Не знаю, как насчет дождя, мне такой дождь трудно представить, но «мыло кошек и собак» я представляю отлично. Мыло это африканцы покупали ящиками, часто оно служило эквивалентом денег при торговых сделках. Нельзя также сказать, чтобы в Африке не было сандалий, но советские пионерские сандалии шли там на ура. Кипя-

тильники и утюги в Африке тоже были, но цены, по которым их предлагали наши моряки, были в два-три раза ниже, чем в местных лавках. При заходе в африканский порт никто из членов экипажа не заказывал местной валюты. Валютой служил товар. Экипаж шел в увольнение с мылом и кипятильниками, спрятанными под нательным бельем так, чтоб не видел комиссар, обычно провожавший команду у трапа. И вот: идет белый джентльмен по пляжу, в одних плавках, жарко, хочется пить. Заходит в небольшой прибрежный бар: четыре столба с пальмовой крышей. Заказывает джин с тоником и... расплачивается кипятильником. У джентльмена нет денег, это понятно, он в плавках, но кипятильник у него с собой. За ним еще парочка джентльменов. Та же песня. И у каждого из плавок... торчит электрошнур.

«В России очень холодно, там все ходят с кипятильниками, — как-то разговаривал я на эту тему с хозяином бара, — а здесь, наоборот, жарко, и поэтому кипятильники меняют на прохладный джин». — «Логично», — кивал хозяин бара.

Мыло, как я уже сказал, это деньги, это валюта. Зашел я раз в прибрежный бар в городке Сан-Педро, что на Западном побережье Африки. Заказал джин, но расплатился не кипятильником, не мылом, не сандалиями, а, как и положено солидному доктору, пачкой витаминов. Видя во мне человека неординарного, хозяйка бара положила на меня глаз и под предлогом — не помню каким, заманила в боковую комнатушку. Когда я понял, для чего мы там, то, сделав отрицательный жест, хотел выйти. Но хозяйка удержала меня. «Ты не хочешь меня потому, что я бедная? — с обидой спросила она. — Так смотри же!» Она подошла к стоявшему в углу пиратскому сундуку и откинула крышку. Сундук, как слитками золота, был доверху забит брусками советского хозяйственного мыла. Я понял, что имею дело с серьезной женщиной, но все же вернулся к стойке бара.

Еще один случай, доказывающий ценность мыла. Как-то в одной маленькой жаркой стране портовая полиция поймала боцмана на продаже судового каната. Боцман тот из Мурманска был. Мурманчане, всем известно, это одесситы в валенках. К торговле не равнодушны, но не торгаши. Поймала его полиция и посадила в тюрьму. Называли наши моряки ту тюрьму банановой ямой, видимо, не раз там побывав. Официальные переговоры капитана об освобождении боцмана ни к чему не привели. Местные власти отвечали, что контрабандисту боцману грозит длительный срок. Пришлось по неофициальным каналам обменять его на два ящика мыла.

Ах, меновая торговля, меновая торговля, единственный источник доходов моряка, единственная для него возможность принять участие в местном товарообороте. С выгодой для себя или нет, об этом трудно судить: «Главное в торге не выиграть, а сам процесс». Конкретный пример. Иду я как-то по длинной красной африканской дороге, возвращаюсь в порт из местного городка. Какая романтика меня туда понесла, не помню. Матросы, с которыми я был записан в увольнение, остались на пляже, в городок идти не захотели. Я же, проделав в общей сложности километров пять, иду, страдая от жажды и жары. Солнце палит так, что чувствую раскаленный грунт через подошвы сандалий. Напротив меня парнишка-африканец лет десяти несет на голове корзину ананасов. Не знаю как, но, мельком взглянув на меня, малыш понял, что дядя хочет ананасов, а денег у него нет. Когда я потом рассказал про догадливого парнишку старпому, тот ответил: «Паренек не вундеркинд, просто нормальный белый дядя с деньгами по такой дороге в жару пешком не ходит». Так вот, паренек останавливается, снимает с головы корзину и показывает пальцем то на мои сандалии, то на ананасы. По жестам пони-

маю, что за мои сандалии он дает мне два ананаса. Показываю ему пять пальцев, снимаю с головы желтую панаму и предлагаю в качестве оплаты. Малыш отрицательно качает головой, но по глазам вижу, что панама ему нравится. За мной жизненный опыт, я в три раза старше паренька, который и в школу-то никогда не ходил. Я знаю: ананасы будут мои, и предлагаю панаму за четыре ананаса. Малыш не соглашается. Тогда я делаю вид, что обиделся, и иду дальше. Малыш поднимает корзину и бежит за мной. Я иду, не обращая на него внимания, но иду медленно и это меня выдает, хитрый малыш понимает: дядя далеко не уйдет. Всех нюансов торговли описывать не буду, скажу только, что спустя час победила, как говорят в состязании между равными, дружба. По жаре, с непокрытой головой, я, обливаясь потом, тащил, прижимая к животу, три огромных ананаса с колючими листьями. Малыш удалялся в противоположном направлении. Облегченная корзина удобно лежала на прикрывавшей голову желтой панаме.

Тысячу раз правы наши руководители, отдавая предпочтение братским странам и держа ухо востро с капиталистами. Разве в Германии, зайдя в пивной бар, ты выпьешь кружку пива в обмен на сандалии? Такое возможно только в братской, дружественной стране. Хотя и между друзьями случаются иногда казусы. Не вражда, серьезной вражды между друзьями быть не может, а так, лишь мелкие недоразумения. Раз во время стоянки в одной уж очень дружественной нам стране забыл наш боцман закрыть в своей каюте иллюминатор. И вот просовывается в этот иллюминатор чья-то лапа, хотя нет, лучше сказать: протягивается в этот иллюминатор дружественная рука и начинает ощупью мацать по столу, нащупывает настольную лампу и пробует вытащить ее наружу. Ножка у лампы длинная, в иллюминатор по диаметру не пролазит. Рука лампу и так и сяк, дерг-дерг, а боцман опомнился, схватил со стола линейку и по руке тресь-тресь. С той стороны иллюминатора крик! С этой мат! Рука лампу дерг-дерг. Боцман линейкой тресь-тресь. Но поединок по своей сути дружеский. До серьезного столкновения не дошло. Дружеская рука сдалась первой, не смогла долго противостоять дружеской, но твердой линейке, выпустила лампу и, показав средний палец, то бишь заграничный кукиш, исчезла.

И все же, при том скромном улове, что имели моряки от своего бизнеса, они выигрывали по сравнению с теми, кто пытался крутить бизнес на берегу. Одной из первых свобод, введенных Горбачевым, была свобода мелкого частного предпринимательства. Простейший способ открыть свой бизнес был: поставить шахматную доску на ветровое стекло — и личный автомобиль превращался в такси. Подвалы домов превращались в частные кафе. Частные кафе государство сразу же невзлюбило за присущий всем торговым точкам шахер-махер и на всякий случай обложило очень большим налогом, как, собственно, и такси.

Время шло, частное предпринимательство объявлено было, но легальные миллионеры не появлялись. Запад недоумевал по поводу ленивых граждан, которые в подметки не годились своему лидеру. Тут просится маленькое отступление: что до Запада, то марксизм его не минет, это видно невооруженным взглядом. А что до перестройки, то она не для внутреннего, а для внешнего пользования, то есть не для обогащения несознательных граждан, а для укрепления международного престижа страны.

Тем временем для борьбы со всеми, у кого завелись денежные знаки, государство в одну ночь объявило вне закона имевшие до этого хождение сто- и пятидесятирублевые банкноты и ввело в обращение новые пятидесяти- и сторублевки. Времени на обмен была дана неделя или две. И вот тут-то

засверкала выгода морякам. Им продлили сроки обмена до возвращения в родной порт. Старые, вышедшие из употребления сторублевки народ продавал по десятке, и моряк, заплатив пятьдесят за старые, менял их на пятьсот новых. Воистину верна поговорка: «Вышедший в море жнет, не сея».

О неизменном...

В океан выходят с меркантильными целями, и океан цели те оправдывает. Треть жителей земли получает белковую пищу из океана. Да что жители земли, советский моряк получает достойную, с его точки зрения, жизнь уже после двух-трех рейсов. Но деньги, заработанные в море, по каким-то непонятным причинам всегда переходят к тем, кто живет на земле. Не держатся заработанные в океане деньги, лишь воспоминания остаются навсегда. Воспоминания о тропических закатах и стадах дельфинов. Кстати, «дельфины», как сказал наш боцман, «это евреи моря», затем, поймав на себе взгляд старпома Гершковича, добавил: «Судя по размерам мозга и носа». Где еще услышишь то, что можно услышать в матросской каюте после выхода из Пальмаса, когда дюжий моторист берет на себя роль бармена и смешивает, как ему кажется, «коктейли», сливая вместе брендюгу «Фантадор», водку, джин и пиво. А стоянки в африканских портах... когда полуголые женщины ночью танцуют на причале, а их дружки, пользуясь параличом вахтенных, с противоположного борта, на бамбуковых палках с крючьями поднимаются на палубу. Затем втихаря берут мешок с сахаром из трюма и так же бесшумно исчезают. «Пираты называются», — сказал бы чукча, будь то анекдотом. А переход через Бермудский треугольник... когда, помню, просидел полночи на палубе в надежде увидеть нечто необычное, а вокруг, освещенные лунным светом, колыхались похожие на ежей саргасы. А еще помню, как в свой первый рейс попал я в трехдневный шторм в Бискайском заливе и как после него входили мы в Средиземку, и солнце поднималось впереди, и, стоя на крыле мостика, исхудав за три дня так, что можно было просунуть два кулака под поясной ремень, я, зажмурив один глаз, смотрел другим на Европу и Африку вместе. Хотелось мне одним глазом увидеть два континента.

А потом, привыкнув к океану, больше всего нравилось мне в шторм незаметно выйти на корму и стоять там, видя, как вокруг вздымаются серо-зеленые горы воды, готовые обрушиться на тебя... Но в последний момент ты с судном взлетаешь на волну и... ускользаешь от удара. Такое невозможно увидеть на берегу, там, если над тобой волна, то она тебя поглотит, а здесь, когда ты часть океана, ты лишь взлетаешь и снова проваливаешься между волн. Как здорово так вот и остаться частью океана, уйти в него, когда придет время, раствориться в водорослях и рыбах в воде, по соляному составу близкой к крови, в воде, из которой вышло все живое. Нет, я не дарвинист. Дарвин как-то признался, что не может объяснить, как возник глаз. Остальное он придумал, когда был в океане. Может, право старое английское законодательство, гласящее, что человек, проведший в океане год, не допускается свидетелем в суде, не говоря уже о свидетельстве в пользу эволюции. Что же касается океана, то он остается таким, каким был в день творения.





ГЕОРГИЙ КИСЕЛЕВ

Прощай, Чечилия!

Поединок

Вставай, вставай, ленивец!
Очнись, бочонок сна,
Покуда не вломилась
В твой дом беды волна!

Вставай, вставай, тетеря,
Довольно ты потел!
Ведь времени потеря
Страшнее всех потерь.

Вставай, вставай, горсть праха,
Возненавидь кровать, —
Вставай из чувства страха
Когда-нибудь не встать!

Хранилище скелета,
Материи щепоть,
Вставай с душой поэта,
Преодолевшей плоть!

Вставай, живот двуногий,
Судьбу свою кляня!
Вставай, сосуд убогий
Священного огня!

Твой подвиг внеурочен,
Так — черт тебя возьми! —
Кради его у ночи,
У службы и семьи!

Ты — из породы льдинок.
Хоть предрешен исход,
Со смертью поединок
Веди из года в год!

Ты сдашься только мертвым!
Пусть плоть сгорит дотла,
А дальше мы посмотрим,
Посмотрим — чья взяла!

Кража

Вновь одиночество ко мне
Вернулось по спирали.
Я помахал рукой жене,
«Чечилию» украли.

Она, духовный мой багаж,
Так украшала дерзко
Собой заборный вернисаж
По улице Советской.

Был взор загадочно лучист
И облик весь девичий, —
Хоть я всего лишь копиист
Творения Да Винчи.

Толпа сновала у ларька,
Торгуясь и горланя.
На всех смотрела свысока
Синьора Галлерани.

Нежна, возвышенно-чиста,
И под высокой грудью
К ней прижимался горностай,
Пугаясь многолюдья.

Кого взор кроткий поразил?
Да уж не Сатану ли?
Я отлучился в магазин,
И вот ее стянули.

— Прощай, Чечилия, прощай! —
Кричу вослед я с болью.—
— Ты год почти что невзначай
Была моей любовью!

Наедине с тобой одной,
Такой неотразимой,
Чаи гонял я в мастерской,
Околевая в зиму.

Дымился в кружке кипяток —
Вином в заздравной чаше.
Я пил дыхания парок
Из уст твоих сладчайших.

Что было с нами целый год —
Мы знаем только двое.
Да, я любил тебя, как тот,
Кто знал тебя живою!

Но что портрет твой украдут
И уведут налево,
Не знал, потратив пять минут
На кофе для согрева.

И неужель тебя на свет
Я выставил для вора?
Смекнул он сразу: твой портрет
Остался без надзора.

Никто из зрителей, галдя,
Не крикнул: стой, ворюга! —
Когда он раму снял с гвоздя
И юркнул с ней за угол.

Ловкач из рода прощелыг,
Дворами убегал он,
Дыша в твой чистый, нежный лик
Похмельным перегаром.

Бежал он, пряча, этот тать,
Довольную ухмылку
И торопясь тебя продать
Соседям за бутылку.

Но, в чей-то дом войдя вдали,
Быть может, и к вандалу,
Ты его душу одари
Тоской по идеалу.

И пусть возвышенный твой вид
Под стать Святому Духу,
Как отсвет счастья, оживит
Убогую житуху.

И мне вину мою простя,
Я верю — ты готова
Еще с чистейшего холста
Мне улыбнуться снова!

* * *

Я тот, кто для сытых — сама голытьба,
Но все ж на судьбу не ропщу я.
Уж, видно, мне так повелела судьба,
Что вещи умерших ношу я.

В рубаху с чужого плеча облеку
Я плоть свою в ветер и стужу,
Как будто бы я на себе волоку
Чужую и грешную душу.

Ботинки и брюки ушедших мужей
За так отдают и обновы,
Всплакнув, как положено, женке моей
Подруги, недавние вдовы.

Ну что ж, я прекрасно обут и одет,
В тепло упаковано тельце.
И каждая вещь добавляет мне лет,
Не дожитых первым владельцем.

С того-то душа моя, видно, добра,
Что я облачен поименно
В ботинки Ивана, в рубашку Петра,
В костюм и жилетку Семена.

Я, может быть, должен по мысли Творца
За гранью седьмого десятка
Их судьбы продлить за порогом конца
Всей жизнью своей без остатка.

За всех не доживших мне надо дожить
В вещах, обездоленных рано.
Глядишь, дотяну я в обновах чужих
До славных седин Авраама.

* * *

Тот же, в сущности, острожник,
Я бреду во мгле дорог.
Неказистый подорожник —
Мой лазоревый цветок.

Как этапник и колодник
Рад и лунному лучу,
Среди нищих и голодных
Кандалами дни влачу.

Словно и меня, растяпу,
Гнали пешим — и не злюсь —
Из России по этапу
Поселенцем в Беларусь.

И в суме моей дорожной
До поры лежат, тихи,
Зарифмованы безбожно,
Мои старые грехи.

Мне бы сжечь их да рассеять
Над простором и судьбой
Да податься бы в Россию
По дороге столбовой!

Вот бы выкинуть коленце,
Да уже, хоть землю рой,
Дорог край мне, поселенцу,
Ставший родиной второй!

И хотя России жаль мне,
Но и здесь, как близ Оки,
Те же в градах горожане,
В вёсках те же мужики.

И берез на косогоре
Тот же самый перепляс.
И дивуешься лазори
Неба, поля, встречных глаз.





АЛЕКСАНДР ОСИНОВСКИЙ

Голос с небес

Повествование о Вечном

Вселенная не беззвучна. Звучат ее звезды, солнца, планеты, галактики, туманности и прочие бесчисленные космические образования. Только человеку, к его счастью, не дано слышать всю эту жутковатую какофонию. А я ее слушаю всегда, когда захочу. Ведь я с нею, если можно так выразиться, рос и мужал. Я и сам в глубокой древности имел такой реликтовый голосок. Без чувств, без переживаний, без слов...

Помните в Евангелии от Иоанна:

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Красиво сказано, емко. Но далеко от истины. Не было у меня вначале никакого Слова. А была лишь моя неосознанная Сила, как в свое время заметил другой гений:

«*Не Сила ли — начало всех начал*?»

Да, именно так: моя Сила, которая дала толчок моему Делу. А уж потом пришла Мысль и потребовала Слова.

Сила же моя *«в начале всех начал»* бесцельно блуждала в бесконечном черном пространстве, которое являлось моей родной средой и в которой не светилось ни единой звездочки. И ни единого звука не раздавалось тогда в ней. Даже от меня.

И вот в этом Великом Мраке я пребывал, не осознавая ни времени, ни своих размеров, ни своей мощи:

Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой...

Разумеется, я не замечал за собой каких-либо способностей. Пожалуй, только одно чувство, совсем не лермонтовское, владело мною: безотчетное чувство ничем не возмущаемого беспрерывного Покоя.

И так продолжалось миллиарды лет. А может быть, и больше. Кто знает? Некому было считать.

Взрослел ли я тогда? Мудрел ли? Набирался ли знаний и опыта? Да откуда?! Ничего этого не было и быть не могло. Я просто свободно парил в родной пустоте и ни о чем не думал, будто находясь в утробе Матери-Природы. Или она находилась во мне до поры до времени? Трудно сказать уверенно...

Ничего не производила моя аморфная энергетическая масса. Потенция моя, как потом выяснилось, была колоссальна, но меня это никакой гордостью не переполняло. Я оставался Могущественным Бездельником и Величайшим Никем.

Но, повторяю, мне было хорошо. Никаких забот! А вы же знаете, как происходит среди людей: если кому-то в жизни крупно повезло, то он всегда

будет бояться каких-либо перемен. Лишь бы его не трогали. Лишь бы подольше оставаться в состоянии безмятежного блаженства.

Но вот однажды (это случилось, уж не знаю, на каком миллиарде лет моего бесцельного существования) я вдруг почувствовал какое-то внутреннее беспокойство. Да, да! Именно — внутреннее. И именно — беспокойство.

Мне вдруг стало как-то одиноко и неуютно в моем доселе счастливом мраке. Человек сказал бы на моем месте, что у него будто сердце стало пошаливать от неясного волнения. Но у меня-то какое сердце?! А пошаливание я ощущал. То в одной части моего огромного «тела», то в другой. Будто что-то случайное бродило во мне, создавая некие неудобства моему положению в пространстве и вызывая прямо-таки человеческие ощущения боли.

Естественно, я стал сопротивляться этому вторжению в мою косную сущность. Я начал неуклюже ворочаться то в одну сторону, то в другую, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. Но они от моих действий только усиливались.

Откуда-то со стороны я почувствовал мощную притягательную силу, которая непреодолимо влекла меня к себе и, вероятно, являлась причиной моих «сердечных» неудобств. Я удвоил, утроил, удесятерил, утысячерил свое сопротивление и почувствовал, что начинаю быстро теплеть. Потом потепление переросло в сильный жар, и я — в с п ы х н у л!!!

Да, да! Я стал светиться!

«Да будет свет!» — сказал я тогда, как утверждает Библия. Но, как вы уже понимаете, я ничего не сказал. Ну, не мог сказать... Но свет возник, и я нашел, что он хорош. Еще бы! Ценой таких титанических усилий достался он мне!

Впервые в жизни я почувствовал, что значит р а б о т а т ь! Я занялся Делом. И восхитился результатом своего первого труда.

Но что же увидел я при ярком свете собственного свечения? Точку! Да, всего лишь точку. Она была едва заметна в черном пространстве. И я даже не увидел ее, а лишь ощутил то бесконечно малое местечко, к которому ни с того ни с сего стала устремляться вся моя возбужденная энергия. Вскоре я понял, что сопротивление бесполезно. Тогда я снял в себе всякое напряжение протеста, и Точка с гигантской скоростью понесла меня к себе.

Всей своей разгоряченной массой навалился я на нее со всех сторон. А она активно (и я бы даже сказал — благодарно) приняла мои объятия, быстро разогрелась сама и тоже вспыхнула. И мы с ней мгновенно достигли состояния наивысшего вселенского Оргазма.

Внутренние силы, доселе сдерживаемые сверхпрочной ледяной оболочкой, вырвались из Точки наружу, и произошел колоссальный, невообразимо мощный взрыв, озаривший пустое пространство жаром космического огня:

«... ну, я доложу вам, —
пламечко! —

— воскликнул значительно позже и по другому поводу Поэт, —

Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!»

Острые лучи пронизали мое тело. Я начал разлетаться во все стороны с неимоверной скоростью, увлекая за собой массы только что рожденной расплавленной породы, которая бешено вращалась, концентрировалась вокруг громадных затвердевавших глыб, придавая им шарообразную форму. Шары беспрерывно взрывались, образуя новые вихри породообразования.

Все в необъятном пространстве пришло в такое могучее движение, наполнилось таким громадным количеством событий, что я даже почувствовал в себе нечто подобное человеческому страху. Что я натворил? Что теперь будет? И все это лишь от моего случайного соития с какой-то совсем неприметной Точкой!

Вот он где, Первородный Грех-то! Вот оно, начало всех начал! Оно — в творении!

Я Творец! И... первобытный «грешник»... Я порождаю могучее движение масс. Моя порода наполняет пустое пространство. Я творю материю!

На смену первородному страху в меня вошла первородная радость. Отныне все что я ни сделаю будет первородным. Прекрасно! Моя жизнь наполняется содержанием. Я переполнен энергией. И должен ее теперь активно расходовать.

Конечно, мне не думалось тогда обо всем этом, да еще такими высокопарными словами. Слов пока просто не было. Но некая сверхинтуиция подсказывала моему формирующемуся сознанию, что мне предстоит совершить нечто грандиозное.

Между тем пространство продолжало наполняться газом, пылью, осколками и гигантскими телами, образуя мою Вселенную. Наблюдая ее стремительное расширение, я сообразил (ну, скажем, — почувствовал!), что этот процесс мне самому уже не остановить ни за что и никогда. Что он будет, возможно, вечным. То есть Природа не станет подчиняться мне, а будет действовать по своим законам. Отныне и до века...

Но мне все-таки надо взять на себя некие руководящие функции, чтобы моими законами воздействовать на Природу. Я надеялся, что мы поладим. В конце концов, кто из нас первичен? Я или Природа? Природа или Я? Думаю (теперь!), что мы грани одной сущности. Но Природа слепа, глуха и бесчувственна. А я уже наделен (кем?) и тем и другим, и третьим...

В суете творения быстро промелькнули миллиарды лет. Организовавшийся вокруг меня Мир был прекрасен! Но холоден... Несмотря на весь свой многоцветный блеск и внутренний жар, который не согревал Вселенную.

Мои детки — сверкающие гиганты — зажили своей самостоятельной жизнью и более не нуждались во мне. Это было обидно и как-то разочаровывало. Ведь большая работа, которую я к тому времени проделал, уже развила во мне способность определенным образом мыслить.

Я, конечно, не мог чувствовать усталости, но круг моих космических дел постепенно начал казаться мне уж слишком широким. И тогда я решил сузить его с тем, чтобы сосредоточить все внимание на чем-то менее грандиозном по физическим масштабам, но более значительном для моей «души». Но что это могло быть, я пока еще никак себе не представлял.

Долго и тяжело соображал я, что же такое мне сотворить. И наконец решил, что самое лучшее для меня теперь — это опуститься на какую-нибудь небольшую планетку и попытаться обустроить ее в качестве своего постоянного пристанища. Я сжал остатки своей рассеянной энергии до невероятно малых размеров и охватил ею поверхность совсем крохотной планеты, которую люди потом назвали Землей.

В то время на Земле тоже бушевали свои природные страсти. В ее недрах происходили мощные потрясения. На поверхность то и дело выбрасывалось из глубин огромное количество расплавленной, добела раскаленной породы. Небо проливалось на Землю грандиозными ливнями. Гигантские вихри носились во всех направлениях. Воды океанов бурно бесновались под действием ураганных ветров, подземных толчков и вырывающихся из недр

лав. Шла грандиозная по масштабам Земли мировая борьба стихийных сил Природы.

«И Дух Божий носился над водою...»

Честно говоря, неуютно мне как-то было носиться над этой беспокойной бездной. Действительно, была нужна какая-то устойчивая твердь. Надо было каким-то образом благотворно воздействовать на происходящие на Земле процессы. И я воздействовал! Но безуспешно...

То ли я уже потерял свою прежнюю энергетическую мощь. То ли она носила теперь иной характер воздействия и не могла противостоять косным силам Природы. Конечно же, я не мог в этом разобраться. Но надеялся, что, по крайней мере, оберегаю собой Землю от вредного влияния холодного и беспощадного Космоса.

Мое теперь уже способное мыслить образование как могло призадумалось. Пусть еще не словами, а некими образами, но все-таки... А почему, собственно, — «все-таки»? Образы — это же такая сила!

Образы, образования, образцы... Что же такое о б р а з о в а т ь на Земле? А надо нечто такое, что стало бы служить привлекательным Образом всего сущего на этой планете. О б р а з ц о м , так сказать! Но как этого добиться? Думал я, думал своим неповоротливо-глобальным умом, да так ничего и не придумал. И стал просто терпеливо ждать, когда улягутся на Земле природные страсти. Но ждал я, как мне кажется, достаточно активно.

Поскольку был я на Земле вездесущ, то знал буквально все, что на ней происходило: над водой, под водой, на поверхности земли и в ее глубинах. Одновременное внимание ко всем земным процессам нисколько не утомляло меня. Трудность моей задачи заключалась в другом: как, зная досконально все и обо всем, эффективно воздействовать хотя бы в чем-то одном и сотворить такое, что могло бы воздействовать потом во многом, но уже без моего участия. Как это произошло у меня с сотворением Вселенной.

О том, что О Н О такое должно было быть, я не имел ни малейшего представления. Не хватало образов, совсем не было слов и не было как бы опоры моим малоразвитым мыслям. Но было пока достаточно энергии. Я полагался на нее и без устали искал опору. И нашел ее довольно «скоро»: всего лишь через несколько тысяч миллионов лет.

Земля к тому времени заметно остыла, успокоилась. Над ее поверхностью то тут, то там стало часто проявляться чистое голубое небо. Ярко светило молодое Солнце, помогая мне изучать земные процессы. На полюсах Земли образовались белые шапки льдов. Стало больше земной тверди, то есть образовывались материки. На материках сформировались горы, равнины, реки, озера — одним словом, все то, что есть на Земле и сейчас. Но еще не было и намека на что-либо живое. Земля представляла собой идеальную пустыню. А я, как образование мыслящее, уже начинал испытывать жажду общения.

И вот однажды при ярком солнечном свете я обнаружил замечательный феномен: в скальном углублении на берегу океана трепетала под действием исходящих со дна пузырей какая-то серая студенистая масса. А когда я сконцентрировал вокруг нее свою энергию, как мог бы сконцентрировать внимание человек, приближая к ней свое лицо, масса эта затрепетала еще сильнее и приподнялась мне навстречу, озаряясь изнутри вспышками розового света. Я присмотрелся и увидел движение отдельных ярких частиц, которые, сталкиваясь, становились крупнее, порождали новые частицы, усиливая общее впечатление динамичного свечения.

Когда я удалял свое «лицо» от лужицы, то все в ней быстро меркло, и оставалось одно только студенистое подрагивание. Я стал часто забавляться

открытым феноменом. Еще бы — вдруг такое развлечение! Но через некоторое время заметил, что мерцание в студне становится более устойчивым, уже почти независящим от моей энергии. А потом и вовсе стало от меня независимым.

Браво! Значит, я сотворил-таки очередное чудо! Мое воздействие все-таки необходимо для зарождения чего-то. Посмотрим, что будет дальше!

А дальше случился сильный шторм, и океан слизнул содержимое лужицы. Вот тут-то нечто и началось! В теплых водах океана стали возникать миллионы, миллиарды светящихся точек. Вскоре светился весь мировой океан. А я сам себе гадал: что же все это значит? Еще одна вселенная в миниатюре? На крохотной Земле! Не сразу сообразил я тогда, что на Земле появилось то, что потом было названо людьми одним необъятным словом: Жизнь!!!

До этого величайшего события я думал, что уже давно сотворил жизнь, наполнив пространство огненными шарами-звездами и бесчисленными осколками твердой породы. Но это оказалось не так. Жизнь начиналась только теперь, и мне предстояло многому у нее научиться.

Но должны были пройти еще миллиарды лет, прежде чем светящиеся точки путем бесконечных вариаций и превращений не усложнились до бесчисленного количества разнообразных существ и в океанах, и на суше. Их было так много, микроскопических, малых, больших и огромных, и они так свирепо пожирали друг друга, что вскоре от их останков и продуктов пищеварения на материках образовались плодородные почвы, на которых буйно расцвела могучая и тоже достаточно агрессивная растительность.

Это было подобно тому взрыву, который образовал Вселенную. И, как тогда, я вдруг почувствовал что-то похожее на страх. Я понял, что и этот процесс самому мне не остановить никогда. Но будет ли он вечным при такой прожорливости и кровожадности населивших Землю тварей? И к каким еще жесточайшим формам жизни приведет этот *естественный отбор?*

Когда в океанской пучине и на суше расплодились различные безобразные чудовища, я заметил, что у меня и у самого стала проявляться склонность к периодическим перевоплощениям в какое-либо из них. И я перевоплощался! То в одно, то в другое, то в третье...

Я пытался познать жизнь этих чудищ как бы изнутри, находясь среди них. Но странное дело: они быстро распознавали во мне чужака и свирепо набрасывались на меня, рвали на части и пожирали мое тело. Конечно, я мог при этом не испытывать физических страданий, но тоже приходил в ярость и, появившись в новом облике, бросался в драку, тоже рвал их на части и глотал окровавленные куски.

Уже тогда меня переполняла великая обида: я дал им жизнь, а они!..

А что — они? Что они, если в их безмозглых головах пока еще не было и намека на какое-либо соображение! Это же мой просчет! Наконец я понял, что меня не оттолкнут от себя, наверное, только такие существа, которые, как и я, будут обладать способностью мыслить. Значит, я их и должен наделить этой своей способностью.

Я начал усиленно размышлять над этим, рисуя в воображении не слишком ясные образы разумного существа и представляя картины его будущей деятельности:

«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его»...

До чего же сказано красиво! Просто замечательно! Да жаль, не было у меня никакого своего образа. Пришлось подыскивать подходящий в среде невообразимых монстров. Долго искал, пока не увидел однажды, как обезьяна взяла в лапы длинную ветку, соорудила из нее петлю, встала на задние

лапы и этой петлей (спокойно так!) сорвала, не влезая на дерево, недоступный для ее роста плод.

Я возликовал всем моим существом! Но еще больше радости вошло в меня, когда другая обезьяна скорчила на своей морде гримасу, которая потом у людей стала выражать крайнее удивление, и весьма успешно повторила опыт своей товарки. Я почувствовал, что и на моем «лице» воссияла гримаса вселенского восторга: понял я тогда, что разумное существо на Земле наконец-таки появилось!

Правда, и теперь многие люди не хотят признавать, что их далекие предки произошли от обезьяны. Им кажется, что для такой роли она недостаточно красива. А по мне, так она — само совершенство. И я люблю ее так, как любят родители своего первенца, пусть даже и не очень симпатичного.

«И был вечер, и было утро: день»... уж не подсчитывал я, который от моего сотворения Мира. Но дела мои пошли с той поры веселее.

Лапа обезьяны постепенно становилась весьма искусной рукой. Скудный мозг разрастался и, как губка, впитывал мою мыслительную энергию. Обезьяна становилась человеком. А человек на моих глазах быстро накапливал опыт. Я же набирался опыта от него. Мы взаимно обогащали друг друга, но только я знал об этом, а он нет. Он пока не испытывал потребности во мне. И не подозревал о моем существовании. Но с некоторых пор с каким-то феноменальным упорством в трудные минуты поднимал голову к небу, будто ожидая оттуда поддержки и защиты.

Когда же я по старой привычке пытался внедриться в какое-либо человеческое племя, то меня почему-то и здесь упорно игнорировали, разоблачая во мне чужака. И опять, как и в зверином стаде, дело доходило до драки. Как и в древности, помимо моей воли в меня вселялся зверь, хотя я уже тогда отлично понимал, что слишком глупо с моей стороны мстить собственному живому творению за его несовершенство. Делай его более разумным и тогда добивайся взаимопонимания! Но как этого добиться?

Вот тогда-то и появилось спасительное С л о в о.

Его придумал не я, а сам человек. Я же от него Слово с радостью перенял.

«Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».

Мудро сказано! Но я бы сказал несколько иначе:

«Не хлебом одним должен жить человек, но всяким добрым словом, обращенным к ближнему».

А про себя лично я бы предложил такой вариант:

«Не энергией единой должен творить Господь Бог, но всяким добрым словом, обращенным к человеку. Да только почему-то не доходит до него мое Слово...»

Должно было пройти немало столетий, прежде чем у человека сложилось представление о некоем высшем существе, управляющем Жизнью, и прежде чем я сам узнал, что я — Б о г. Сам Человек об этом мне и поведал.

Правда, люди как-то сразу и усомнились в своих мыслях обо мне. Ведь *«Бога не видел никто никогда»*, — справедливо заметил еще святой Иоанн. Да, я величайший конспиратор! Все про меня знают, все обо мне так или иначе думают, судят, но никто никогда не видел. Могу явиться только во сне, да и то не всякому. Но люди снам не очень-то верят. А если являюсь я в реальном человеческом облике, то никто и не подумает, что я Бог. Людям обязательно подавай чудо.

О, если бы я умел творить чудеса! Я непременно сотворил бы на небесах свое грандиозное изображение, таким хотя бы, каким изображают меня худож-

ники. Пусть любуется потрясенное и благодарное человечество! И — прочь всякие сомнения на мой счет! Но, увы...

Сколько я ни пытался, обратясь в человеческий облик, заявлять о своем существовании и учить людей уму-разуму, все равно они недоверчиво меня воспринимали и жили по своим законам:

«Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!»

В лучшем случае люди относились ко мне как к блаженному. Во многих же других случаях до смерти забивали камнями, распинали на кресте, поднимали на дыбу и жгли раскаленным железом, травили дикими зверями и сжигали на костре.

А что же я?

Теперь, умудренный опытом тысячелетий, я уже не мог мстить человеку. Я мстил самому себе за несовершенство сотворенного существа, которое и исправить-то теперь был не в силах. Все теперь в жизни человека и в отношении его ко мне зависит исключительно от него самого. Люди активно и любят, и ненавидят друг друга, плодятся и умирают, причем по большей части не своей естественной смертью. А я мечтал о человеке бессмертном, как я сам, чтобы он был моим помощником и сподвижником на веки вечные. И я стал задумываться о своем собственном Сыне, которого бы родила мне, конечно, нормальная земная женщина. В результате на Земле и появился Иисус Христос.

Как мне это удалось? Да я и сам толком не представляю! Видно, произошло то самое непостижимое воздействие, которым я когда-то воздействовал на студенистую лужицу в каменистом углублении вблизи океана. Тут, в общем-то, кроется не моя величайшая тайна, а самой Природы. И я не уверен, что ЭТА тайна когда-либо будет разгадана.

К мысли о Христе я пришел, уже обладая тонкостью человеческого ума и образом мышления того времени. Дело в том, что я знаю о человечестве в целом и о каждом человеке в отдельности буквально все. Я знал, что где-то в глуши живет молодая красивая женщина, которая не может забеременеть, так как муж ее стар и немощен. Вот я и помог... Но так, что сына Мария родила все-таки от Иосифа, а не от меня самого, как утверждают древние книги. Однако я уверенно стал считать его именно своим сыном, Сыном Божьим. Хотя, конечно, все вы мои дети. Но Он-то все-таки особенный!

Мальчик получился достаточно впечатлительным и очень неглупым. Плохо только, что потом он уж слишком уверовал в свое воскресение. Да, он стал бессмертным, но только в сердцах верующих в него. Я, конечно же, не мог не быть на той безумной и бездумной казни моего Главного Сына. И страдал неимоверно, как может страдать только человек... Мой Дух пронизывал всех присутствовавших на казни, а предотвратить преступление — увы... — оказался не в силах...

Люди уверовали в божественное происхождение Иисуса. И надо признать, не напрасно! Уж скольким поколениям землян эта Вера помогает жить! Конечно, деяния Христа и его судьба молвой сильно преувеличены. Люди ведь всегда были падки на сенсации. Да и евангелисты здесь немало постарались. Однако и реальное, и надуманное невиданно крепко укоренилось в людском сознании. Что ж, могу гордиться: я все-таки к этому тоже «приложил руку».

Да и только ли Иисусом Христом могу гордиться я?! А целый сонм гениальных людей, которым я тем же способом помог появиться на свет? Ученые, писатели, поэты, художники... Всех и не перечтешь! Что делало бы без них

человечество? Было бы оно способно куда-либо двигаться? Нет, правы люди, когда говорят о *«божьей искре»* в том или ином о д а р е н н о м человеке! Другое дело, какое пламя возгорится в нем от моей искры: согревающее или испепеляющее?

На Земле любят сейчас всяческие рейтинги. Так вот, я бы во всемирном рейтинге великих людей на первом месте поставил именно Иисуса Христа. И уж конечно не потому, что он мой Сын. И не стану я называть имена тех, кто стоит сразу за ним. Зачем разжигать среди людей лишние страсти?! Страстей и без того у них предостаточно... Я знаю немало удивительнейших людей, вполне пригодных на роль нового Иисуса Христа. Однако таких, которые всегда готовы распять очередного Спасителя — увы! — оказывается гораздо больше.

Что есть Жизнь человеческая? Это постоянно действующее Распятие, затянувшееся на тысячелетия. Одна часть человечества распинает другую при огромном скоплении запуганных и растерянных обывателей. Иисус Христос на кресте — это собирательный образ страдающих людей. Момент снятия с креста еще не настал. И Воскресение, следовательно, еще только б у д е т ! Что принесет оно людям? Райскую жизнь на Земле?

Вот чем озабочен я! Вот что занимает меня изо дня в день, из года в год, из тысячелетия в тысячелетие.

«Нет той глупости, на которую не был бы способен человеческий ум», — утверждал умнейший из философов. И мне совершенно нечего ему возразить.

Не хватило у меня способностей создать универсально умную породу людей. А теперь убеждаюсь, что это и к лучшему. Кем бы они могли оказаться, эти мои слишком умненькие детки? Пожалуй, расчетливыми болванами, делающими все исходя из личной или «исторической» целесообразности. Отдельные человеческие судьбы их бы нисколько не волновали. Уничтожить полмира во имя какой-либо сумасбродной идеи? Пожалуйста! Сверхум позволял бы себе все. Он был бы начисто лишен каких-либо человеческих эмоций. И добро, и зло творил бы с одинаковым усердием.

Абсолютный ум плавно и естественно переходит в абсолютную глупость, замыкая круг возможностей Человека... Правда, круг этот постоянно расширяется, подбираясь к тайнам Верховного Бытия. То есть, ко мне. Ну а что же я? Универсален ли мой вселенский ум? Или я им вообще не обладаю? А только наделяю людей способностью мыслить?

Люди сделали из меня Бога, углубив мои природные мыслительные возможности и наделив своими эмоциями. Без их эмоций я тоже, вероятно, был бы безгранично рационален. Мой глобальный ум оставался бы глух к страданиям «простых» людей. Их судьбы нисколько не трогали бы меня.

А я не глух!

Я все слышу и все вижу.

Мне совсем не трудно настроиться на любого человека на Земле, чтобы проследить его жизнь и определить его дальнейшую судьбу.

«И мысли, и дела он знает наперед!» — сказал обо мне Поэт. И он прав. Поскольку мысль каждого человека — это в своем роде и моя мысль. Задуманное им н е ч т о известно и мне. Но тогда я, Господь Бог, становлюсь соучастником его деяний. Значит, и благородные дела, и преступления всего человечества становятся и моими благородными делами и преступлениями! Выходит, я с человеком заодно? А как же иначе! Могу ли я в таком случае как-либо осуждать его и наказывать? Имеет ли право Верховный преступник чинить суд над преступником мелким? Чтобы голова наказывала руки...

Да, среди людей это, к сожалению, происходит слишком часто! Но я-то Бог! Я всегда должен оставаться выше мелкой мстительности.

Кого же тогда надо было бы судить на Страшном суде? Заблудшее человечество? Или все-таки меня самого? Впрочем, никакого страшного суда не будет...

Круг снова замыкается, расширяясь до космических высот...

«Нет правды на Земле!
Но нет ее и выше...»

Однако человек продолжает ее искать. Ищу ее и я.

Нередко меня одолевают чисто человеческие ощущения.

Вдруг почувствую, будто мои «руки» и «ноги» закованы в тяжелые кандалы. И в такие мгновения меня охватывает ужас. Будто я уже никогда не стану свободным.

А то вдруг пригрезится, что я инвалид войны и «на погоду» у меня начинает ныть потерянная нога.

Я обливаюсь обильными слезами, когда мое сознание подключается к плачу великого множества матерей, оплакивающих своих сыновей, которые гибнут в различных локальных и мировых войнах.

— Господи Боже ты мой! — кричу я в отчаянии самому себе (научили тому люди...). — Доколе же ты будешь лишь беспомощным свидетелем бед человеческих?

В моей необъятной памяти часто вспыхивает то, чего, казалось бы, я и не знал никогда. Сказать по правде, это даже для меня бывает утомительно. Мой тяжкий крест — знать и помнить обо всем на свете, вплоть до последней мелочи.

Правда, я обладаю способностью и отключаться от всего мира. Тогда я ничего не вижу и ничего не слышу. Но в природе и среди людей в такие моменты, как ни странно, все идет своим чередом. Никаких сверхобычных событий не происходит. Будто я и не нужен вовсе... Даже обидно... Однако «отключка» позволяет мне немного морально отдохнуть, хотя и не избавляет от знания того, что происходило во время моего «отсутствия».

Да, масса моих знаний велика необъятно. Но аморфна и хаотична. И человеку стоит немалых усилий приводить ее в определенный порядок, черпая из меня все новые и новые законы Природы. В конце концов, он и меня откроет как самый сокровенный закон бытия, как открыл он закон всемирного тяготения и составил периодическую систему элементов. И я охотно займу положенную мне клеточку в системе человеческих знаний. Может быть, только тогда и организуется на Земле настоящая Жизнь, достойная Человека?

Я верую в это. Но бывают и у меня минуты жесточайшей подавленности. Тогда мне кажется, что я вообще ничего не знаю и ничем людям не могу быть полезным, а только, как студент, «зубарю» то, что дают они мне сами. Тогда я растерянно и незримо блуждаю среди людей, заглядываю всем в глаза и обращаюсь с немыми вопросами: «Кто я? Зачем я? Кто вы? Зачем вы здесь, на Земле?»

Вы сами уже успели подсчитать, что через каких-нибудь четыре-пять миллиардов лет (для меня этот отрезок времени не так уж велик!..) ныне пока еще ласковое Солнце станет таким жгучим, что испепелит все живое на вашей беспомощной планетке! Или вы к тому времени так эволюционируете, что приспособитесь жить на потрескивающей от жара земле рядом с кипящими океанами? Но и это вряд ли вас в конце концов спасет...

Так что же? Впереди неминуемая гибель? Что же тогда все мои старания? И что ваша Жизнь?

«Короткий миг луча дневного...»

Впрочем, зачем заглядывать на миллиарды лет вперед! Есть опасности и гораздо более близкие. А я, повторяю, не в состоянии их предотвратить.

Что я, например, могу поделать с шальными странниками Вселенной — астероидами, которые периодически поражают Землю, уничтожая почти все живое на ее поверхности! Один такой и сейчас в очередной раз несется к Земле, и я не знаю, промахнется ли он и на этот раз.

А губительное воздействие на Природу самих людей? А извечные трагедии розни между народами? Ох, тяжко мне все это носить в себе...

Увы, люди! — я и не всесилен, и не всеобъемлюще мудр, как это вы себе представляете.

Был бы я всемогущ, разве допустил бы существование на Земле иных верований кроме, как в меня одного? И разве мог бы существовать среди людей сам вопрос: «Веришь ли ты в Бога?»

Все бы не просто верили в меня, а были бы убеждены в моей реальности. И поклонялись бы мне, как древние люди поклонялись реальному Солнцу, которое являлось к ним каждое утро и щедро согревало.

Кажется, ни один человек не сомневается в том, что он произошел от своих родителей. Не сомневался бы он и в своем Главном Прародителе, который затеял весь этот круговорот Жизни.

Если бы я действительно был всемогущим Верховным Отцом, я бы многое исправил в жизни человека. И в нем самом.

Прежде всего, я избавил бы его почти от всех болезней, оставив только мелочи, чтобы он мог в минуты легкого недомогания немного пожалеть себя и с благодарностью выслушать слова сочувствия от своих близких и друзей. Смерть настигала бы человека только в глубокой старости и совершенно безболезненно, с естественно осознанной необходимостью ухода из жизни.

Я бы полностью исключил среди людей любого рода насилие и насильственную смерть. Неприятие того и другого было бы записано в самом генетическом коде человека, и он был бы совершенно неспособен причинять кому-либо зло. Представьте себе, могли бы тогда происходить на Земле какие-либо войны?

Избавил бы я человека и от соблазна себе в угоду причинять ближнему подлости. И не нужны были бы тогда ни суды, ни тюрьмы.

Я бы никому не позволил наказывать кого-либо от моего имени. Поверьте, это очень оскорбительно для меня. Не стал бы я наказывать людей за мелкие грехи, не докучал бы мелочной опекой, не тянул бы из них жилы постоянными притязаниями на благодарность мне за несодеянное мною добро.

Какое я имею право требовать от человека беспрекословного, ежеминутного и вечного повиновения мне?! Требовать полного отсутствия свободы! Тогда как сам я беспредельно свободен! Свободным должен быть и Человек, так как он — мой Сын!

«Как нелепо было бы утверждать, будто Бог невежественен, слаб и лжив! Так осмелимся ли мы сказать, что он жесток?»

Да, люди, я не жесток. Я прощаю вам даже то, что вы уже практически не верите в мое существование. Если кто-то в своей жизни неуклонно придерживается христианских заповедей, но не верит в меня, то за что же мне его наказывать? Пусть не верит! Лишь бы был он счастлив сам и дарил счастье другим.

Если бы я был всемогущий, разве позволил бы, чтобы во имя веры в меня пылали костры «пресвятой» инквизиции? И за что сжигали на них людей? За проблеск мысли! За желание хоть на миг вырваться из повседневной убогой жизни.

Не допустил бы я, чтобы недоверие среди людей переросло в оголтелую подозрительность, чтобы тупая жестокость вызывала миллионы страшных смертей в гигантских опухолях всевозможных освенцимов и гулагов.

Не хозяйничали бы на Земле душители мысли и душегубы, «помазанники божьи» всех мастей, тираны, диктаторы, вожди и генсеки. Я бы сумел их своевременно одергивать и обезвреживать, превращая в безобидных и ревностных слуг народа.

Я бы постарался настроить народы Земли на полное взаимопонимание. А для этого дал бы им всем один общечеловеческий язык, который по Библии и предполагался до Вавилонского столпотворения. Не стал бы я наказывать людей различием языков за такое грандиозное строительство. Наоборот, только гордился бы таким блестящим примером объединения народов в едином благородном устремлении ввысь.

«Гордыня — главное орудие, с помощью которого было воздвигнуто прекрасное здание общества».

А общность языка помогала бы благоустраивать это здание.

Я жажду благотворно влиять на судьбы людские, но, как ни странно, моя природа не наделила меня такими способностями. И от этого безгранично велика печаль моя... Страдания мои равноценны сумме страданий всего человечества. И только надежда на возрастание суммы счастливых мгновений спасает меня от полного отчаяния.

Человек основательно заразил меня собою. Мы будто слились в нечто единое целое, хотя и ощущаем различие уровней. Все у меня теперь от него, от Человека... Но нередко он меня просто потрясает своим отношением ко мне. Сегодня он воздвигает величественный храм в мою честь, а завтра с большим энтузиазмом его разрушает. То он меня восхваляет без всякой меры, то втаптывает в грязь. Сначала он впадает в страшный грех, потом самозабвенно кается, вымаливая у меня прощение. Один творит зло и мечтает о рае, другой мухи не обидит, но страшится ада.

И грустно, и смешно...

А ведь если судить по тому, что придумали люди о рае и аде, то первый оказывается необыкновенно унылым и скучным, так как там *нет проблем*. Куда интереснее покажется нормальному человеку в аду. Уж Сатана, если бы он действительно существовал, постарался бы мне в пику обеспечить грешникам райскую жизнь, но зато со всеми страстями и пороками, как это и происходит в реальной человеческой жизни.

Правда, Человек уже давно сам сообразил, что он и велик, и ничтожен одновременно. А я? Разве я во всем только велик? Или мое высокое положение не позволяет мне быть ничтожным?

Конечно! Мне ничего не нужно, у меня все есть. Мое все! Жертвуя что-либо человеку, я ничего не теряю. Следовательно, и жертвы как таковой не происходит. Это и избавляет меня от всякой мелочности. А человек живет в вечном страхе потерять то немногое, что имеет.

Неисчерпаемые тайны Природы притягивают его и разжигают жажду познания. Но Познание не согласуется с представлениями об истинной Вере. Строго следуя ее догматам, разве можно что-либо открыть! И человек, не чувствуя явно моей поддержки, готов от Веры отказаться. Ну и ладно! Слепая вера закабаляет человека, несет ему несвободу. А я против философии добровольно несвободных людей.

«Господь Бог изощрен, но незлобив», — говорил Великий Ученый. Для него превыше всего всегда была правда естественнонаучных истин. На пути к ней его не останавливала даже угроза уничтожения половины человече-

ства. То есть ум его уже приближается к абсолютному. Но и он, якобы веря в меня, надеялся на мою незлобивость и прощение. И я прощал его, ибо такая, в общем-то опасная, мудрость ученого вела к прозрению человечества и делала мудрее меня самого.

Только вот поможет ли мне когда-нибудь моя возрастающая Мудрость сделать людей счастливыми? Ведь Счастье — это только борьба за него! А достигнув будто бы счастья, человек все равно не надолго получает удовлетворение. Так как новые желания будут одолевать его беспокойную душу.

«Мы ужасаемся тому, что будем искать себя вечно и никогда себя не найдем».

Значит, любое совершенство или недостижимо, или означает... тупик, из которого надо поскорее бежать туда, где есть свежий ветер перемен.

И что же тогда его и моя мудрость? Поможет она когда-нибудь предотвращать катастрофы? Нередко мне кажется, что мудрость наша — всего лишь напоминание о возможности использования ума при решении той или иной проблемы. Что-то в роде гомеопатического раствора в объеме всего околоземного пространства. Только я не очень-то уверен в его целительном воздействии. Человеку требуется снадобье покрепче. А где его взять?

Может быть, из Космоса? Люди уже давно задумываются об этом, забывая обо мне. Что ж! Я все равно готов им помогать. Но как? У кого почерпнуть вселенской мудрости?

У кого! Тут есть над чем призадуматься. Земляне не теряют надежду на помощь далеких братьев по разуму, а я теперь занят... богоискательством...

Окинешь блуждающим взором бездну Всемирного Пространства, заворожишь себя его бесконечностью, манящей и недоступной красотой галактических скоплений, удаленных от Земли на миллионы и миллиарды световых лет, и подумаешь потрясенно: и это все сотворил один только я? Без Верховного Вмешательства? Может быть, нас много — таких творцов, как я? А Он — над всеми нами? Вокруг нас? А вокруг него (страшно подумать!) — Другой — еще более Верховный... И так до бесконечности?

И каждый из нас, Богов и Сверхбогов, творит свое Дело в величайшей космической тайне друг от друга. Не показывая себя нижестоящему Богу...

Человек беспомощно барахтается, запутавшись в паутине своих вечных проблем. А мы — Верховные! — лишь молчаливо взираем со своих непостижимых высот на его суету и страдания.

Эй! Боги Супервсевышние! Я взываю к вашему грандиозному могуществу и бесполезной мудрости! Вы пронизываете собой все необъятное Пространство и все знаете! Помогите мне! А я помогу моему земному человечеству!

Молчите! Вот и я по сути своего Дела молчу в ответ на беспрерывные вопли и стенания со стороны человека, исчезающе малой частицы Вселенского Бытия.

Но Мое Слово беззвучными волнами все-таки ложится на поверхность Земли и, надеюсь, не бесполезно растворяется в сознании людей. Кто знает, может быть, это и поможет мне со временем спасти их заблудшие души?





ВАЛЕРИЙ БОРОДИЧ

Откровенно хочу я признаться...

Бородичу Валентину Иосифовичу посвящается.

Осень

Лес затих, темнеет в восемь,
И холодный ветерок
Вновь принес сырую осень,
Не оставив лета впрок.

Пахнет дымом и туманом,
Преет желтая листва,
Ярким, пламенным обманом
Стал закат на склоне дня.

Небо хмурится печально,
Сдвинув брови серых туч.
Очень нежно и прощально
Гладит землю солнца луч.

Детский гомон старой школе
Обитаемость вернул.
Острый плуг
Пустое поле,
Словно жизнь, перевернул.

Лошадка

С детства очень люблю лошадей,
Откровенно хочу я признаться.
Да и кто не мечтал из детей,
На каурой верхом покататься?

Как-то видел — конь поле пахал,
Была долгой и тяжкой работа.
Обессилев он часто стоял,
Вся спина была мокрой от пота.

Я ему в перерывах таскал
Подкрепиться травы и картошки.
Уговаривал, нежно ласкал,
Свежим хлебом кормил из ладошки.

Покружив, улетел в небеса
Самолетик из школьной тетрадки.
Часто в зеркале вижу глаза
Этой мокрой уставшей лошадки.

Так привычно, металлом звеня,
У тарелок разложат нам ложки,
Но так хочется, чтоб и меня
Кто-нибудь покормил из ладошки.





ЗИНАИДА КРАСНЕВСКАЯ

Сестрица Аленушка и братец Иванушка

Сказки нового времени

Литература любого жанра начинается сказкой и кончается сказкой.

Назым Хикмет

Несколько лет тому назад мне довелось поучаствовать в одном любопытном издательском проекте. Его авторы задумали заново переписать известные детские сказки. Цель, которую они перед собой поставили, была проста и прагматична: максимально приблизить традиционные сюжеты к современным малышам, а заодно и вытащить на поверхность мораль, которая, как известно, в большинстве сказок не только распределена по всей канве повествования, но и чаще всего загнана в подтекст. Ну, разве что если у Александра Сергеевича Пушкина она обозначена достаточно четко. *«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».*

В первый момент я отнеслась к самой идее с большой настороженностью и даже поначалу затевала жаркие споры с проектантами-новаторами. Дескать, безобразие! Как можно коверкать старые как мир истории, упрощая их в угоду нынешнему примитивизму, и без того правящему бал в массовом сознании. Неужели же наша ребятня настолько отуплена заморскими мультиками, восклицала я с негодованием, что сами дети уже не в состоянии сформулировать для себя эту пресловутую мораль? Вот слушался бы Колобок старших, не перечил бы Бабушке с Дедушкой и остался бы жив себе и целехонек. Ну, и все такое, в том же духе.

Но постепенно втянулась в работу и даже почувствовала к ней интерес. А когда была поставлена последняя точка в последней сказке из тех, что были отданы на переписку мне, то я и вовсе вполне искренне огорчилась тому, что все так быстро закончилось. Но, как известно, конец одного — это одновременно и начало чего-то другого. Так вот, с тех пор я стала замечать за собой одну маленькую странность. Я вдруг начала вспоминать разные эпизоды из своей прошлой жизни, которые, на мой взгляд, тоже очень похожи на эти самые сказки с моралью.

Несколько таких сказочных историй и предлагается вашему вниманию, глубокоуважаемые читатели. Причем, несмотря на всю свою сказочность, в них фигурируют вполне реальные люди, многие из которых живы-здоровы и по сию пору. А потому никаких прототипов! Все мои сказочные персонажи носят те же имена и фамилии, что и в действительности. Разве что в одной из сказок я позволила себе, по соображениям сугубо этического порядка, ограничиться лишь именами.

Счастливый Принц

Знаю-знаю, среди ревнителей изящной словесности немедленно отыщется немало охотников, которые с ходу обвинят меня в самом что ни на есть откровенном воровстве. Так сказать, в плагиате чистейшей воды. Как можно, явственно слышу я их возмущенные голоса. С каких это пор стало позволительным красть у других, тем более, у классиков, названия произведений, которые у всех на слуху? А что такого, отвечу я с достоинством на ворох выдвинутых обвинений. Что из того, что у моего наилюбимейшего Оскара Уайльда имеется сказка с точно таким же названием? И написал он ее — всего ничего, каких-то сто с лишним лет тому назад. А если уж совсем точно, то случилось это событие в 1888 году, когда из печати вышла первая книга лирических сказок писателя с тем же названием, что и сама сказка, включенная в сборник: «Счастливый Принц».

Будто вы не знаете, дорогие мои, что в мировой литературе, как, впрочем, и в искусстве вообще, кочуют из произведения в произведение не только сюжеты (каких-то там десять или чуть больше универсальных сюжетов), но и почти такое же количество одинаковых для них названий. Можно подумать, что «Тристан и Изольда» так уж сильно отличаются от «Ромео и Джульетты», а название романа Джеймса Джойса «Улисс» блещет оригинальностью в сопоставлении с гомеровской «Одиссеей».

А потому оставляю все как есть. Тем более что герой первой сказки и в самом деле настоящий принц. Счастливый Принц, точь-в-точь, как у Оскара Уайльда.

Сказка началась давно. Конечно, не в седую старину, когда все события уже успевают подернуться флером романтической загадочности и даже превратиться в мифы, но все же... Итак, начало имеет вполне определенные временные рамки: февраль 1971 года. А сорок с лишним лет по нашим временам — это тоже срок, да еще какой немалый.

В тот год, как писал в свое время уже другой классик, осенняя погода стояла долго на дворе, и долгожданная зима наступила действительно лишь в средине января.

Наверное, поэтому так хорошо сохранился в памяти серый промозглый день, в который случилось появление в нашем трудовом коллективе Толи Петренко. Анатолия Ивановича Петренко, если уж говорить о моем герое по всем правилам.

Помню как всегда неожиданное и стремительное появление в нашей комнате начальника отдела, весельчака и большого остроумца Владимира Андреевича Коробского. Как сейчас вижу его высокую долговязую фигуру, застывшую у входа, его ироничный взгляд, которым он окидывает свое, в основном женское, воинство, слышу его насмешливый голос.

— Ну-ка, барышни, причепуритесь, да поживее! Тебя, Зина, это тоже, между прочим, касается! Сейчас я вам такого красавца доставлю, что закачаетесь! Между прочим, твой коллега, Зина! Переводчик с немецкого языка. Так что держитесь, девочки! И экономно расходуйте кислород, он вам еще может ой как понадобиться.

— Правда? Кто? Откуда? — весело загалдели мы, но начальник, насладившись произведенным эффектом, немедленно напустил на себя непроницаемую мину, с которой и скрылся за дверью. Что ж, он у нас был большим мастером театрального дела и тоже мог создать паузу, как самый высококлассный профессиональный актер, и держать ее ровно столько, сколько посчитает нужным.

Итак, начальник ушел, а мы все замерли в нетерпеливом ожидании. Какой такой сюрприз приготовил для нас неугомонный шеф? Неужели и вправду отыскал где-то красавца мужчину, которым решил разбавить наш преимущественно женский коллектив, как водится в отделах научно-технической информации? Впрочем, от кого-от кого, а уж от Владимира Андреевича можно ждать любых подвохов.

Но нет, никаких подвохов! Через какое-то время дверь отворяется, и в комнате с видом триумфатора снова появляется начальник, и не один!

Красавец! — пулей проносится у меня в голове. Мимолетного взгляда на высокого стройного парня, нерешительно замершего за спиной у Коробского, достаточно, чтобы раз и навсегда капитулировать перед такой красотой. Вылитый Жан Маре, и даже лучше. Конечно, лучше! В сто раз лучше! Да и что нам тот француз, которого все мы лицезрели лишь на экранах? А тут живой, из плоти и крови, герой лет тридцати (как выяснилось позднее, я точно угадала его возраст, ибо Толя родился в 1941 году), облаченный в строгий синий костюм, очень похожий на форму гражданских летчиков.

Начинается традиционная процедура представления нового члена коллектива, которого усаживают за соседний со мной стол и напутствуют следующими словами:

— Держитесь, Анатолий Иванович! У нас барышни цепкие, глазом не успеешь моргнуть, как окажешься в их сетях. Но если что, зовите на помощь. Я тут неподалеку, за стенкой. В соседнем кабинете.

Коробский снова исчезает за дверью, и Толя остается один на один с толпой незнакомых женщин, неловко щурясь под нашими откровенно восхищенными взглядами, похожими на вспышки софитов. Красавец!

Как это там, в сказке Оскара Уайльда, переведенной в свое время на русский язык Корнеем Ивановичем Чуковским?

«Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный рубин сиял на рукоятке его шпаги. Все восхищались принцем».

И действительно, нашим принцем восхищались все. Молва о красавце переводчике моментально разнеслась по предприятию, и к нам в отдел зачастили толпы посетителей, ранее не замеченных в особой тяге к знаниям, но внезапно ощутивших острую нехватку научно-технической информации. Приходили поглазеть на нового сотрудника, это факт. И все без исключения уходили с чувством глубокого удовлетворения, умиротворения и даже умиления. А как же иначе? Ведь красота... Да что там выдумывать, в конце концов? Великая Фаина Раневская уже все придумала за нас, и к ее словам в общем-то нечего добавить. *Красота — это страшная сила*. Воистину, все так!

Но когда красота сидит от тебя на расстоянии вытянутой руки, то острота ощущений вольно или невольно притупляется, правда ведь? Уверена, что консьержки Лувра, охраняющие зал, в котором выставлена прославленная Джоконда, уже давно перестали обращать внимание и на знаменитую Лизу, и на ее не менее знаменитую улыбку. Главное, чтобы картина висела на своем законном месте, а все остальные эмоции, восторги, охи, ахи — это все для посетителей музея, нескончаемыми потоками стекающимися что ни день к шедевру.

Вот так случилось и со мной. Конечно, красавец. А с другой стороны, очень милый, почти по-детски простодушный и даже в чем-то наивный парень с таким же по-детски незамутненным взглядом и доброй улыбкой, с которыми он смотрел на меня, охотно рассказывая о себе.

Есть такое английское слово латинского происхождения: *candid*. Кстати, оно присутствует почти во всех европейских языках. Недаром Вольтер назвал героя одной из своих философских повестей именно так: Кандид. Вариантов

перевода сего слова на русский язык великое множество: *искренний, откровенный, чистосердечный, прямодушный, простодушный, ничего не скрывающий, не прячущий камня за пазухой* и так далее. А еще *белый, светлый, светоносный,* причем и в прямом, и в переносном значениях. И все эти варианты вполне укладываются в характеристики натуры моего героя.

Уже через неделю я знала о Толе все. Ну, или почти все. Что он вырос в Таллинне, куда его семья переехала еще до войны, что у него две сестры и два брата, что у него старенькая мама, а отец умер вскоре после войны. А потому все они, братья, уже давно встали на крыло и сами строят свою жизнь, как умеют и как получается.

Лично он после семилетки пошел в горный техникум, а по окончании трудился на шахте в Кохтла-Ярве. Потом призвали в армию. После армии приехал в Минск и поступил в наш иняз, на факультет немецкого языка: попал в один из первых наборов переводческих групп, куда в те годы принимали исключительно парней. По распределению был направлен в распоряжение Аэрофлота. Так вот откуда этот синий костюм, догадалась я: его выдали Толе в качестве обязательной униформы. А он, споров с нее фирменные нашивки, еще несколько месяцев щеголял в этой форме у нас, пока не насобирал денег на приобретение уже сугубо цивильного костюма.

Работа по месту назначения новоиспеченному переводчику совершенно не понравилась. Во-первых, переводов как таковых было мало, зато бумажной писанины — хоть отбавляй. Да и денежное довольствие молодому специалисту назначили весьма скромное, совершенно не сопоставимое с тем, что получал, к примеру, летный состав. Промаявшись какое-то время в одной из аэрофлотских служб, Толя занялся поисками новой работы. И вот оказался на заводе. Он улыбнулся мне своими лучистыми глазами и добавил с какой-то обезоруживающей простотой:

— Надеюсь, здесь посытнее будет.

По всему чувствовалось, что материальная сторона бытия играла в его жизни далеко не последнюю роль. Из брошенных вскользь реплик делалось понятным, что Толя регулярно помогает матери и младшей сестре, которая жила вместе с ней и у которой были какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Впрочем, на эту тему мой новый сосед предпочитал не распространяться, ограничиваясь короткими фразами, типа «Вчера отправил в Таллинн бандероль с лекарствами для сестры», или «Выслал маме немного денег к празднику», или «Купил сестре то-то и то-то». И всегда в такие минуты выражение его лица делалось каким-то особенно размягченным и просветленным. Неподдельная теплота родственных чувств трогала и заставляла закрывать глаза на некоторую интеллектуальную неподготовленность коллеги.

Увы и ах! Но при всех своих потрясающих внешних данных Толя был, как бы это выразиться поделикатнее, немного простоват и при близком общении моментально проигрывал (во всяком случае, в моих глазах) специалистам, регулярно бывавшим у нас по долгу службы. Те, внешне не очень авантажные и довольно часто не вполне ухоженные (особенно это касалось холостяков, квартирующих в общежитиях), покоряли блеском ума, колоссальной начитанностью, широтой кругозора, невероятными познаниями в самых разных областях. Всего этого Толя был лишен начисто. Более того, его совершенно не занимали всякие там интеллектуальные споры и дискуссии, он не тяготел к абстрактным умозаключениям и никогда не баловался сложными философскими построениями. Вопрос о первичности материи и духа был, видно, давно и однозначно решен им в пользу материального, и на сим раз и навсегда поставлена жирная точка.

Но надо отдать Толе должное! Он никогда не лез во всякие заумные споры, предпочитая глубокомысленно помалкивать, сидя на своем месте. А потому никто и никогда не мог уличить его в откровенной глупости. А ведь прав был Наполеон, который в свое время дал весьма дельный совет ближайшим сподвижникам: *«Умейте слушать и будьте уверены, что молчание часто производит такое же действие, как и знание»*.

Если насчет знаний еще могли возникнуть кое-какие сомнения, то во всем остальном... Начнем с того, что наш Толя был самый настоящий денди. Всегда нарядный, как картинка, что (при его-то внешности!) производило совершенно убийственное впечатление на окружающих, особенно на представительниц слабого пола. Воистину, дамы складывались вокруг него штабелями. В любую погоду идеально наглаженный костюм, каждый день свежая рубашка, умело подобранный галстук, начищенные до блеска башмаки.

Как? Когда успел? — недоумевала я всякий раз, когда утром он появлялся на работе в очередной потрясающей рубашечке в полосочку или в мелкую клеточку, в модном кардигане из серого мохера, элегантный как рояль и неотразимый, как герой любовного романа. Ведь кто-кто, а я-то уж точно знала, что никаких любовниц, могущих на добровольных началах помочь нашему принцу начищать свои перышки, у него нет, не было и пока не предвидится.

Да и откуда им было взяться, горемычным, если Толя по окончании рабочего дня вихрем мчался в какое-то рабочее общежитие на другом конце города, которое принадлежало какому-то строительному тресту. Толя начал подрабатывать в общежитии воспитателем еще в бытность свою студентом, да так и застрял там в этом качестве, ибо работа воспитателя идеально решала для него пресловутый квартирный вопрос. Руководство треста выделило Толе крохотную комнатку на первом этаже, в которой он и обитал на виду у всех и вся. Каких таких женщин мог он привести к себе на ночь под неусыпным взором строгих бабусь, дежуривших на вахте в двух шагах от его жилища?

— Бегу! Опаздываю к своим уголовничкам! — кричал он мне на ходу, срываясь с места ровно в семнадцать ноль-ноль. — Зина! Будь другом! Сдай помещение вместо меня, ладно? У нас сегодня единый политдень. Ожидается присутствие трестовского начальства. А потому мне надо успеть ровно к шести. Иначе секир башка! Выручишь, да?

— Лети, мой голубок, лети! — меланхолично роняла я, складывая в сейф недописанные страницы переводов и сами тексты с прыгающими в разные стороны абзацами. Из чего сам собой напрашивался вывод, что материал сей раздобыли нелегальным образом, пересняв его на фотопленку с оригиналов отнюдь не в студийных условиях. Не скрою, последнее обстоятельство немного волновало кровь и казалось очень романтичным: в те далекие годы фильмы о разведчиках были чрезвычайно популярны в нашей стране. Ну, а о таком банальном явлении, как промышленный шпионаж, мы тогда и понятия не имели.

И еще пару слов в качестве пояснения. Дело в том, что на каком-то этапе нашей совместной работы с Толей наше общение с ним действительно стало очень близким. Я бы даже сказала, интимно близким. Поскольку мы оба имели допуск к работе с секретными документами, то именно нам и поручили перевод вышеупомянутых строго секретных материалов, обставив саму работу невиданными мерами предосторожности. Нас с Толей поместили в отдельный угол, который специально соорудили для этой цели, отгородив часть читального зала библиотеки. На двери повесили угрожающее объявление «Посторонним вход воспрещен», в комнату вкатили сейф, в котором мы обязаны были хранить плоды своего ежедневного труда. А чтобы мы совсем

не одичали наедине друг с другом, в качестве компаньона подсадили в комнату третьего, молодого особиста, который целыми днями мучительно искал себе хоть какое-то мало-мальски стоящее занятие. Помимо неусыпного надзора за нами двоими, разумеется. В конце дня мы, переводчики, по очереди должны были сдавать помещение под сигнализацию: довольно муторная процедура, отрывающая еще десять-пятнадцать минут драгоценного свободного времени.

Итак, что ни день Толя мчался к своим «уголовничкам», как он ласково называл вверенный ему контингент молодых строителей, чтобы успеть до восьми-девяти вечера переделать кучу воспитательских дел и заняться, наконец, делами личными.

Личные дела моего Счастливого Принца усердно тяготели к тому, что ныне называют емким словом «гламур». Само собой, в те годы такого слова в нашем языке не было, как и пресловутого слова «секс». Слов не было, это точно, но зато в избытке хватало и того, и другого.

Итак, едва у Толи завелись в кармане лишние рубли (чему в немалой степени поспособствовала и постоянная работа в качестве внештатного переводчика в Торгово-Промышленной Палате), как немедленно вокруг него завертелись друзья-приятели из числа так называемой «золотой молодежи». На нашем предприятии трудилось немало детей высокопоставленных чиновников, и многие представители славных династий, чьи фамилии что ни день звучали по радио и телевидению, регулярно отмечались у нас в комнате, преодолевая все препоны на их пути, чтобы только договориться с Толей заранее о планах на ближайший вечер. Судя по всему, всем этим «подснежникам», как полупрезрительно называли подобную публику за глаза, льстило присутствие в их компании красивого воспитанного парня, могущего, к тому же, с легкостью перекинуться парой слов на немецком или на английском с каким-нибудь случайно оказавшимся поблизости иностранцем, забредшим на огонек, скажем, в тот же ресторан «Минск» или в сверхпопулярный в те годы «Юбилейный».

Очень скоро Толя вполне освоился в новой для него среде, став стопроцентно своим среди своих. Что ни день он не без юмора повествовал мне, где и как они с приятелями «погудели» накануне. А еще он мог пространно и со вкусом обсуждать, в каком московском «комке» (комиссионка, по-простому; в те годы это слово в определенных кругах было не менее популярно, чем бутик сегодня) можно купить хорошую импортную технику и «офигенные шмотки», которых в Минске еще в глаза не видывали.

Во время совместных столичных командировок наши пути по окончании рабочего дня кардинально и бесповоротно расходились. Толя устремлялся на поиски модных джинсовых штанов и прочее, завершая поиски обязательным посещением святая святых — лучших московских ресторанов, какими в те годы числились «Метрополь» и «Националь». Как он попадал в сии питейные заведения, предназначенные, главным образом, для интуристов и крутой московской богемы? А кто, скажите мне, посмел бы остановить на входе красивого, как бог и элегантного, как фотомодель из последнего журнала мод, импозантного мужчину, небрежно роняющего на ходу что-то по-немецки? Швейцары расшаркивались перед ним и безоговорочно распахивали двери в любой ресторан.

— Знаешь, кого я вчера видел в «Национале»? — докладывал он мне с гордостью на следующее утро, пока я, еще не вполне очухавшись после нескольких часов сна, готовила свой электрофот к работе. — Высоцкого с Мариной Влади! Представляешь? На них все так глазели. Очень яркая пара!

На нем были темно-синие джинсы и свитер грубой вязки. Искусная имитация ручной работы. По-моему, мохер. На ней...

Я слушала молча. Мне похвастаться было нечем. Подумаешь, прорвалась в Вахтанговский на какой-то весьма средний спектакль! Да кому это интересно! Голос Толи журчал и убаюкивал, и так хотелось пристроиться где-нибудь в уголке и просто отключиться, чтобы добрать пару часиков недостающего сна.

— А в баре я носом к носу столкнулся с самим Леонидом Каневским... — Я выныривала из полудремы, услышав фамилию артиста, очень популярного в те годы по сериалу «Следствие ведут знатоки». — Весь такой импортный, в фирменном кожаном пиджаке. Очень даже недурно смотрелся!

Я окончательно просыпалась и включала электрофот. Вперед! Время не ждет! Чем быстрее мы покончим с делами, тем больше у нас останется свободных часов вечером: у Толи — для комков и хождений по всяким злачным местам, у меня... и у меня — для чего-нибудь.

А время между тем продолжало стремительно раскручивать свою спираль. Мало-помалу ряды «золотой» компании стали редеть. Молодые люди отсеивались по одному, удачно меняя беззаботную холостяцкую жизнь на статус женатого человека. Некоторые же счастливчики вместе с этим статусом приобрели еще и статус высокопоставленного зятя. Самая надежная гарантия от всяческих бед и напастей.

Ну, а ближайший приятель Толи «сиганул» так высоко, что и сказать о том вслух было страшно. Именно он и занялся вплотную устройством личных дел друга. Толе ведь уже катил четвертый десяток, и медлить с выгодной женитьбой было далее нельзя. Красота, как и все в этом мире, вещь преходящая: сегодня есть, а завтра, глядь, и нет ее. А потому любимое изречение римского императора Августа *'Festina lente'* («Поспешай не торопясь») едва ли в данном конкретном случае могло быть преподано в качестве дельного совета. Напротив! Надо было поторапливаться, и даже очень.

Уж и не припомню за давностью лет, на каком таком фуршете, суаре или пати Толю свели с дочерью одного очень важного совминовского чиновника. Как пелось в популярной песенке, девушки из высшего общества тоже страшатся одиночества. Закрутился скоропалительный роман, события развивались бурно и вообщем-то предсказуемо: буквально через считанные недели дело покатилось к законному браку. Но вдруг, к моему несказанному удивлению, Толя погрузился в непривычную для него задумчивость с легким оттенком грусти: совершенно не типичное для него состояние. По утрам он перестал шутить насчет своих «уголовничков», не делился больше подробностями очередного культпохода в очередной ресторан, молча корпел над переводами, время от времени с тяжелым вздохом переворачивая страницы толстенных словарей в поисках нужного термина. И чем меньше времени оставалось до назначенного торжества, тем чаще слышала я горестные вздохи за соседним столом.

Да, явно с моим Счастливым Принцем творилось что-то неладное. Но что? В душу к человеку ведь не залезешь, да и не любительница я была до чужих сердечных излияний.

И все же в один прекрасный день, в один погожий осенний день, как пишут про то во всяких лирических отступлениях, сердечную исповедь приятеля мне пришлось выслушать в полном объеме. Выслушать и снова лишний раз поразиться тому, сколь неисповедимы пути Господни, особенно в том, что касается любви.

Помню, мы сошлись после работы в одном автобусе, следующем в центр города. Толя с трудом протиснулся ко мне через толпу, битком набившую салон, и, став рядом, немедленно поинтересовался.

— Ты куда?

— В «Академкнигу». А что?

— Можно, я тебя провожу? Только давай выйдем пораньше. Погода хорошая, прогуляемся пару остановок. Что-то у меня сегодня голова тяжелая. Так не возражаешь против совместной прогулки?

Мы вышли возле цирка и медленно зашагали в сторону Круглой площади. Открывшаяся панорама осеннего великолепия завораживала. Толя молча окинул взглядом все это багряно-золотое пиршество красок и вдруг неожиданно выпалил, не глядя на меня.

— Зина! Посоветуй, что мне делать.

Я в недоумении уставилась на него, еще не вполне понимая, о чем идет речь. А Толю вдруг прорвало и понесло. Услышанная история впечатляла. Вкратце она была такова. Высокопоставленная невеста направила будущего мужа в совминовское ателье для того, чтобы тот заказал себе там свадебный костюм. В назначенный час Толя явился в ателье, где оформлением столь почетного заказа занялась сама заведующая, молодая стильная женщина, как и положено в заведениях подобного рода. Начальница и клиент посмотрели друг на друга, и, — вы не поверите! — в ту же самую минуту стрела Амура пронзила их сердца.

Понимаю, звучит немного старомодно: стрелы, амуры, все это изрядно попахивает нафталином. Сегодня так не пишут даже в сказках. И уж тем более так не думают и не говорят. Что ж, обойдемся без стрел, но то, что у моего доброго приятеля и коллеги случилась любовь с первого взгляда, это факт. И то, что любовь оказалась взаимной, это тоже факт. Подозреваю, что свою сосватанную из тогдашних верхов невесту Толя никогда и не любил по-настоящему. Ведь в этом знакомстве все с самого начала строилось исключительно на расчете, во всяком случае, со стороны жениха. Да и друзья-приятели изо всех сил, почти что на аркане тянули его, не шибко, впрочем, упирающегося, в этот брак, наивно полагая, что обычное человеческое счастье можно прикупить за материальные блага и за высокий статус. Но у Толи, несмотря на все его гламурные завихрения, душа еще не успела окончательно забронзоветь. Все же он оказался на редкость порядочным, мой Счастливый Принц.

Да и ни в каких таких советах он, по-моему, особо не нуждался. По всему было видно, что Толя уже все решил для себя и ему просто захотелось излить душу человеку, которому он абсолютно доверяет.

На свадьбе Толи и Альбины (так звали его избранницу) гулял весь наш отдел. Толя был неотразим в костюме, который изначально шился совсем для другого застолья. Да и вообще, то была очень красивая пара: таких сегодня изображают на обложках многочисленных глянцевых журналов. И все у Счастливого Принца было хорошо, и даже прекрасно. Правда, начало семейной жизни было несколько омрачено тем обстоятельством, что против Альбины на работе затеяли какие-то козни (видно, оставшаяся с носом соперница не преминула подключить свои связи), и в результате Толина жена была вынуждена оставить престижное место работы. Но поскольку она была профессионалом экстра-класса, то довольно быстро нашла себе новое место в индустрии тогдашней моды. И, как говорил мне Толя, ничуть не хуже. К тому же, сей неприятный эпизод с лихвой перекрылся другим, уже приятным событием: фортуна в очередной раз широко улыбнулась нашему Толе. Он выиграл по лотерейке «Москвич». Да-да, самый настоящий легковой автомобиль стоимостью в тридцать копеек, ибо именно столько стоили тогдашние лотерейные билеты, которые чаще всего нам навязывали в качестве

обязательного довеска к зарплате. На радостях наш счастливец проставлялся в коллективе целый месяц, и снова все было замечательно и прекрасно.

А потом у молодой пары родилась дочь, и веселье вспыхнуло с новой силой. Правда, меня к тому времени перевели в другой отдел, непосредственно к разработчикам, а потому, учитывая гигантские масштабы самого предприятия, видеться с Толей мы стали гораздо реже. Як казала мая бабка, гады у рады.

Толя прибился ко мне в печальные послечернобыльские дни, и обстоятельства нашего вторичного сближения были более чем грустные. У его дочери обнаружили лейкемию. Страшный диагноз поверг родителей в шок. Девочка таяла на глазах, а отечественные медики оказались бессильны помочь ей. Они с трудом выводили ребенка в состояние ремиссии (да и то только с помощью каких-то бешено дорогих импортных лекарств, которые всеми правдами и неправдами добывал Толя); при этом всякий раз честно предупреждали отца и мать, что ремиссия может быть весьма непродолжительной, а потом общее состояние больной будет только ухудшаться. Так, кстати, и было. Врачи разводили руками и в один голос твердили, что нужно пробиваться на Запад. Дескать, в Германии есть несколько клиник, где с подобными заболеваниями уже научились успешно справляться.

В отчаянии Толя кинулся по своим былым приятелям. Но про тех можно было сказать разве что словами классика: *иных уж нет, а те далече*. Наши высокопоставленные зятья как-то внезапно, сразу и бесповоротно возлюбили дипломатическую и внешнеэкономическую деятельность, а потому уже успели разлететься в качестве советников и бог знает кого еще по дальним и очень дальним странам. Хотя на дворе трезвонила на все лады перестройка, (*«катастройка»*, как справедливо обозвал ее Сергей Кургинян), но выбраться за рубеж самостоятельно, да еще с больным ребенком на руках, было по-прежнему архисложно. Тем более обычному человеку с улицы. Оставалась лишь одна надежда, последняя: непосредственное обращение в различные зарубежные фонды, занимающиеся благотворительностью. Такие фонды чаще всего, как правило, курируются женами глав государств. Вот к ним мы с Толей и начали строчить свои многочисленные слезные письма, причем мне была поручена самая ответственная часть — сочинение текста посланий.

Ежедневно, уже ближе к концу рабочего дня, Толя приходил ко мне в отдел, и мы, устроившись где-нибудь в уголке, приступали к сочинению очередной эпистолы. Глядя на его исхудавшее, мгновенно постаревшее лицо, на почти белую шевелюру, на высокую костлявую фигуру, я с трудом узнавала в облике приятеля Счастливого Принца. Сейчас он был скорее похож на другого известного литературного героя — на благородного идальго из Ламанчи. И почему-то при взгляде на былого красавца, сводившего с ума стольких женщин, невольно вспоминались проникновенные строки Федора Тютчева:

Кто с хлебом слез своих не ел,
Кто в жизни долгими ночами
На ложе плача не сидел,
Тот не знаком с небесными властями.

Что ж, с небесными властями супруги Петренко уже успели познакомиться. Сейчас предстояло знакомство с властями земными.

'Dear Madame!' — выводила я от руки (искренне надеясь на то, что даже такая мелочь, как написанное от руки письмо, сможет помочь растопить сердце потенциальной благодетельницы), обращаясь к Барбаре Буш, жене американского президента, которая как раз в 1988 году возглавила какой-то

там фонд, занимавшийся помощью детям Чернобыля. — *'I appeal to your generosity and to your maternal feelings'*. Ну, и так далее, в том же духе.

С десяток писем, адресованных женам глав различных государств, которых теперь с легкой руки какого-то безграмотного журналиста все упорно кличут «первыми ледями», хотя перифраз *the first lady* относится только к одной-единственной леди — жене американского президента и именно так и переводится на русский язык — *жена президента США*, так вот, с добрый десяток наших писем разлетелся по белу свету. И представьте себе, какое-то из них возымело действие, потому что Толе была, наконец, открыта виза, и он, оформив отпуск за свой счет, повез дочь на лечение в ФРГ.

Первый курс терапии принес весьма обнадеживающие результаты. Толя вернулся домой окрыленным и тут же поделился со мной своими дальнейшими планами. Времени даром он не терял и за месяц пребывания в Германии нашел какую-то австрийскую фирму, занимавшуюся грузоперевозками. Фирма в последнее время активизировала свою деятельность в восточном направлении и нуждалась, причем срочно, в хорошем переводчике, желательно из наших, в совершенстве владеющем немецким языком. Что ж, о лучшей кандидатуре австриякам и мечтать не приходилось. Мой приятель идеально подходил им по всем параметрам.

— Сама понимаешь, — попытался объяснить мне Толя свое скоропалительное решение, так стремительно и бесповоротно меняющее и его жизнь, и жизнь его семьи. — Из Вены нам будет ездить в ФРГ значительно проще, без всей этой изнурительной тягомотины с визами и прочее. Да и деньги мне пообещали неплохие. Во всяком случае, не сопоставимые с тем, что мы имеем здесь. А деньги нам сейчас с Альбиной нужны позарез. Кто знает, сколько еще потребуется сеансов этой треклятой терапии. Да и здесь черт знает что творится!

Здесь действительно творилось черт знает что. Но к счастью для Толи, он успел унести ноги еще до того, как начались знаменитые павловские реформы, в одночасье сделавшие всех нас нищими. А вскоре развалился и Союз, и началась совсем другая жизнь, в которой было уже не до сказок. Ибо самые страшные из них как-то ненавязчиво умудрились сделаться былью.

Через какое-то время я уволилась со своего родного предприятия и окончательно потеряла Толю из виду. В середине девяностых случайно встретилась в городе с тем самым ближайшим Толиным приятелем, который в свое время вытянул самый счастливый билет в брачной лотерее. Но времена изменились, и дипломат после всех политических пертурбаций, кардинально перекроивших карту Европы и Азии, оказался не у дел и сейчас прозябал в Москве в какой-то заштатной мидовской должности. Что ж, как говаривал генерал в одном старом армейском анекдоте: «А у маршала, внучек, свои внуки уже подросли». Но именно бывший сослуживец и поведал мне кое-что уже об эмигрантской судьбе моего Счастливого Принца.

В свою бытность в Вене дипломат наведал Толю, и то, что он увидел, было далеко не таким глянцевым, как рисовалось в фантазиях. Толя перебивался случайными подработками. Видно, фирма, в которой он начинал работать по приезде в Австрию, потеряла интерес к Востоку с его бесконечными криминальными разборками и переключилась на более безопасные маршруты, а следовательно, отпала необходимость и в услугах русскоязычного переводчика. Альбина устроилась посудомойкой в какое-то венское кафе. Помню одну подробность, застрявшую в памяти из того давнего разговора.

— Ты бы не узнала Альбину! — оживленно верещал дипломат. — Худая, неухоженная, с облупленным лаком на ногтях. Ничего от прежней гранд-дамы.

Я вспомнила элегантно стильную жену своего приятеля и почувствовала, как меня охватывает бешенство. Скажите на милость, какой у нас аристократ отыскался!

— Это не беда, что лак облупился! — отрезала я в ответ. — В двадцатые годы бывшие графини и княгини из русских мыли парижские нужники, оставаясь при этом графинями и княгинями. Ты мне лучше расскажи про их девочку. Как Лена?

— О, с ней все в порядке! Врачам удалось переломить недуг, и сейчас она здорова.

— Вот это действительно замечательная новость! — обрадовалась я. — А что до всего остального, то, как говаривала незабвенная леди Брэкнелл в комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», все это *'minor matters'*. Понимаешь меня? То есть ерунда — все эти ваши светские заморочки в сопоставлении со спасенной жизнью ребенка. А уж какую цену пришлось за это заплатить Толе и его жене, о том ведомо лишь небесам.

Мой старый знакомец лишь молча уставился на меня. Видно, не нашелся, что ответить. Да и то правда. Ведь он же, скорее всего, никогда не читал Оскара Уайльда, а потому вряд ли знал, как заканчивается сказка «Счастливый Принц». Помните?

«И повелел Господь ангелу своему:

— Принеси мне самое ценное, что найдешь в этом городе.

И принес ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу.

— Правильно ты выбрал, — сказал Господь. — Ибо в моих райских садах эта маленькая пташка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге Счастливый Принц будет воздавать мне хвалу».

На сим и сказочке конец. Ах, да! Про мораль забыли. Ну, да это совсем просто! Мораль ведь лежит буквально на поверхности. И ее давным-давно придумал вместо меня один восточный мудрец. *Любовь побеждает все.* И это в самом деле так!

Царевна Жар-птица

Что ж, коль скоро мы завели речь о принцах, то где-то рядом непременно должны быть и принцессы. Царевны, если по-нашему. Правда, что-то не припоминаю такой сказочный персонаж, как Царевна Жар-птица. Царевну-лягушку помню. Царевну Несмеяну и Царевну-лебедь — тоже. И Жар-птицу, конечно. Но чтобы такой странный симбиоз...

Но ничего не поделаешь. Все дело в том, что женщина, о которой я хочу рассказать свою следующую сказку, навсегда осталась в моей памяти именно царевной. Это — с одной стороны. А с другой — самой взаправдашней и по-сказочному прекрасной жар-птицей. Итак, Царевна Жар-птица.

Однако обо всем по порядку. Начало истории, впрочем, не предвещало никакой сказочности. В середине девяностых прошлого века меня прибило постперестроечной волной к одному высшему учебному заведению частного типа. Институт, созданный всего лишь пару лет тому назад, громогласно заявил о себе на рынке образовательных услуг, декларировав программу элитарного образования только для женщин. Дело это было тогда совершенно новым и, судя по первым наборам студенток, перспективным, а потому, когда меня пригласили в институт на преподавательскую работу, я с превеликой готовностью согласилась.

Среди тех, кто стоял у истоков нового ВУЗа, было немало весьма неординарных и даже очень ярких женщин. Пожалуй, именно их стараниями вспыхнул и так же ярко засверкал бренд института в первые годы его существования. Более того, возьму на себя смелость предположить, что с их уходом этот самый бренд вначале померк, а потом и вовсе закатился за горизонт, аки звезда, исчезающая с неба в предрассветный час. В этой славной женской когорте, несомненно, числилась и моя Царевна Жар-птица, которую в обычной жизни величают отнюдь не столь пафосно. Ибо ее настоящее имя — Пожидаева Антонина Ивановна.

Антонину Ивановну я заприметила с первых же дней работы на новом месте. Да и кто бы не заприметил! Разве что слепой. Красивая ухоженная женщина с лучезарной улыбкой на лице, которая отнюдь не казалась фальшивой или, тем более, вымученной. Так улыбаются люди, у которых все и всегда хорошо. Или которые, по крайней мере, умеют вести себя так, будто у них все и всегда хорошо. Ох уж это пресловутое американское *'Keep smiling'*, что вполне можно перевести на русский язык словами барона Мюнхгаузена из одноименного фильма в потрясающем исполнении Олега Янковского: *«Улыбайтесь, господа!»*

Сей простенький совет, как, впрочем, и все остальные советы на свете, однако проще дать, чем следовать ему самим. В противном случае все мы улыбались бы гораздо чаще, да и вообще смотрели бы на мир с большим оптимизмом. А то иной раз зайдешь в общественный транспорт и диву даешься: ни одной улыбки вокруг.

Настоящим божьим даром была наделена наша Антонина Ивановна, умевшая одним своим появлением мгновенно пробудить надежду на лучшее и незыблемую уверенность в том, что все у тебя будет хорошо и даже прекрасно. Ну, почти как у нее. Ей бы в психологи податься или в модные в те годы психотерапевты, которые заполонили тогдашние телеэкраны, коллективными усилиями усыпляя бдительность народа и его трезвомыслие.

Но нет! Моя Царевна Жар-птица занималась гораздо более прозаичным делом. Она возглавляла службу, в ведении которой находились все вопросы, связанные с тем, что в советские времена именовалось скучным словосочетанием «подготовка кадров». А проще говоря, Антонина Ивановна организовывала преддипломную практику студенток, радела об их потенциальном трудоустройстве, а по совместительству еще и вовсю «пиарила» сам институт. Ведь ее работа была сопряжена с постоянным хождением по самым разным организациям и фирмам, где, не сомневаюсь, появление молодой очаровательной женщины не оставалось незамеченным и немедленно закреплялось в сознании всех тех, кто с ней общался, ассоциируясь с названием самого ВУЗа. Что и непосредственно, и опосредствованно работало на его репутацию.

Я написала «молодой», и перо мое, то бишь компьютер, невольно замедлило свой ход. То был первый сюрприз, который преподнесла мне сказочная героиня. Однажды, когда я стала вслух выражать свои восторги в адрес, повторюсь, молодой и красивой начальницы отдела подготовки кадров, коллеги немедленно отрезвили меня в духе знаменитого шлягера Клавдии Ивановны Шульженко:

«Тридцать пять ей? Это бред! У нее уже внуки!»

Итак, выяснилось, что Царевна всего лишь на год или полтора младше меня, и у нее действительно уже есть внучка. Невероятно! В свои сорок восемь я чувствовала себя законченной старухой, в полном соответствии с заветами великого классика, который, напомню, навечно припечатал мать

Наташи Ростовой к позорному для всех женщин столбу, обозвав графиню «старухой», когда той едва минуло сорок четыре. Ничего не поделаешь, успокаивала я себя, вступив, по меркам Льва Николаевича, уже в период глубокой старости. Комплексов по поводу собственного возраста у меня не было, а в остальном... Что бы там ни твердили о том, что времена изменились, а вместе с ним поменялись и нравы, а сорок лет — это все же, как ни верти, бабий век.

И вдруг изо дня в день я вижу перед собой женщину, умудрившуюся быть не только красивой в свои сорок семь или сорок шесть с половиной (в конце концов, это еще можно понять, памятуя о том, как далеко ушла прикладная наука в деле сохранения женской красоты), но и по-настоящему молодой, без того пошлого заигрывания с собственным возрастом, которое вызывает у окружающих лишь насмешку. Это про таких дамочек раньше говорили: сзади — пионерка, а спереди — пенсионерка.

Продолжив эту цепочку сравнений, берусь утверждать, что моя Царевна Жар-птица тянула на комсомолку со всех сторон. Конечно, это вызывало зависть. И недоброжелательные ухмылки *as well*. А в каком женском коллективе, скажите мне, любят себе подобных? А уж не подобных на себя и вообще на дух не переносят.

А потому я приноровилась обожать свою героиню втайне от всех. Но стоило мне завидеть ее по утру в холле института с небрежно перекинутой через плечо модной сумочкой, в какой-то пестрой косыночке или шарфике, элегантно повязанном вокруг шеи или заколотом брошкой, как рот мой непроизвольно растягивался в глуповатой улыбке удовольствия от того, что встреча с Антониной Ивановной состоялась именно утром. День задался, говорила я себе и с легким сердцем шла в аудиторию. И самое удивительное — день действительно выдавался удачным. Гипнозом, что ли, владела моя Царевна, бог ее знает.

Летом 1997 года мне и вовсе выпал счастливый билет: меня назначили руководителем преддипломной практики студенток-выпускниц переводческого факультета. Общение с Царевной Жар-птицей стало весьма интенсивным: что ни день она проводила со студентками самые разные инструктажи и собеседования по поводу предстоящей практики, предоставив прекрасную возможность понаблюдать за ней непосредственно в рабочей обстановке. Наблюдения добавили новых красок в облик Царевны.

Пристроившись за спинами девочек в самом уголке аудитории, я методично помечала в блокноте моменты, касавшиеся меня как руководителя практики и одновременно с интересом слушала все то, что говорила Антонина Ивановна, обращаясь уже к студенткам. Со своей неизменной голливудской улыбкой она рассказывала им о вещах в общем-то достаточно тривиальных и даже скучных. Но тишина, стоявшая в аудитории, свидетельствовала о том, что Царевну не просто внимательно слушают, как это бывает на интересных лекциях. Ей, если хотите, внемлют со всем жаром и пылом вступающих во взрослую жизнь выпускниц.

«Пожалуйста, не забывайте о том первом впечатлении, которое вы произведете на своих работодателей», — журчал мелодичный голосок Царевны, завораживая своей певучестью и удивляя тем, что, оказывается, и самые банальные вещи могут звучать не банально, если, рассказывая о них, вкладываешь в свой рассказ душу.

Помнится, меня, на дух не переносившую новояз со всеми этими офис-менеджерами, дресс-кодами, паблисити, кастингами и прочее, ничуть не коробили подобные неологизмы в устах Антонины Ивановны. Кастинг? Ничего не поделаешь! Вся наша нынешняя жизнь — один сплошной кастинг. Дресс-код?

А что такого страшного? Достаточно посмотреть на Царевну, вещающую с кафедры, чтобы понять, что это такое. Предельно умеренный макияж, элегантно строгий костюм, белоснежная блузка, какая-то ненавязчивая бижутерия, очень уместная именно с этой блузкой и с этим костюмом. Поневоле вспомнишь слова ядовитого француза Жана Жене, написавшего в свое время: *«Обрести гармонию с вещами дурного вкуса — вот верх элегантности»*.

Не то чтобы бижутерия была дурного вкуса, нет! Но она была откровенно дешевой, а вот, поди ж ты! — смотрелась на Царевне Жар-птице просто умопомрачительно. И я, вздыхая с некоторой завистью и непроизвольно теребя свою бриллиантовую сережку, уже в который раз была вынуждена признать правоту универсальной истины: не в деньгах счастье. И уж точно, не в их количестве. Да и красота тоже не деньгами достается.

А наставления между тем продолжали сыпаться и сыпаться: как вести себя в коллективе, как разговаривать по телефону, как держать себя с незнакомыми посетителями, как правильно заварить и подать кофе, если о том попросит начальство, как сохранить одинаково ровный тон со всеми коллегами, даже если кто-то из них не вызывает у тебя особо теплых чувств. Скажете, пустяки? Мелочи?

Конечно, пустяки! Но как часто именно от таких пустяков и зависит успешное начало твоей трудовой биографии. Любопытно, но факт. Подавляющее большинство наших тогдашних выпускниц были приглашены на работу именно в те организации, где они проходили свою преддипломную практику. А там ведь были не только самые разнообразные коммерческие фирмы, но и вполне серьезные государственные учреждения, такие, как Внешэкономбанк, БЕЛТА, Беларусбанк, консульская служба МИДа. По долгу руководителя практики я побывала везде, где трудились наши девочки, и ни в одном учреждении не услышала нареканий в адрес выпускниц, ни в плане их профессиональной подготовки, ни в том, что ныне именуется весьма расплывчатым словосочетанием «корпоративная этика».

Скажу честно, лично для меня это понятие раз и навсегда переплелось в сознании именно с Царевной Жар-птицей. И своим поведением, и всем своим обликом она наглядно продемонстрировала студенткам, как должно вести себя профессионалу экстра-класса, без всяких там гендерных заморочек и прочей чепухи, на которую так падки современные феминистки. Думается, встреча с Царевной стала большой удачей для наших тогдашних выпускниц, вступавших в самостоятельную жизнь.

Каждодневное общение с Царевной Жар-птицей несколько приоткрыло мне завесу над некоторыми обстоятельствами ее личной жизни, правда, лишь слегка, вскользь и мимоходом. Так, наверное, раньше красавицы демонстрировали изящество собственных ножек, ненароком приподняв краешек платья, отчего моментально вскипала кровь у истинных ценителей женской красоты. Умение быть загадочной, умение не договаривать до конца — это ведь самое настоящее искусство женского обольщения, не правда ли? И те представительницы слабого пола, кто владеет сим искусством, о, они все без исключения великие соблазнительницы, эти женщины, начиная от приснопамятной Далилы, погубившей Самсона, и кончая современными бизнес-леди, тоже знающими толк в обольстительных чарах.

Оказывается, моя Царевна Жар-птица родом из южных краев: родилась она то ли в Ялте, то ли в Сочи, то ли в Новороссийске, уж и не припомню за давностью лет. Но хорошо помню, что родилась она в приморском городе. Там прошла ее юность, там на тот момент еще жили ее родители. Наверное, именно эти две великие стихии, море и солнце, напитали Царевну той сказоч-

ной энергетикой, которую она так щедро дарила сейчас людям. Судя по всему, детство Антонины Ивановны было счастливым и таким же безоблачным, как и небо над ее родным городом. О, все мы родом из детства! Как это там говорил Алеша Карамазов своим братьям в знаменитом романе Достоевского?

«И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье — все равно не забывайте никогда, как нам было здесь хорошо...»

По себе знаю, какой огромной живительной силой обладают хорошие воспоминания детства на дальнейшую жизнь человека. А ведь прав Федор Михайлович, на все сто прав.

«...Если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение».

Итак, с детством Царевны Жар-птицы было все более или менее понятно. Про свою же нынешнюю жизнь она предпочитала не распространяться. Скупо обронила, что живет с младшей дочерью, а старшая — уже замужем и живет отдельно. На этом в разговоре о личном была поставлена точка.

По всем недомолвкам моей героини выходило, что коротает она долгие зимние и короткие летние вечера одна. И нет рядом с ней никакого, даже самого завалящего принца. Ну, или царевича, если по-нашему. И куда эти мужики смотрят, негодовала я в глубине души. Ослепли они, что ли? Или просто боятся подойти?

Совместная работа несколько приблизила меня к объекту собственных восторгов. Во всяком случае, я почувствовала, что симпатия стала обоюдной. Антонина Ивановна, заметив меня, улыбалась уже не просто лучезарно, а лучезарно-тепло, почти по-домашнему, как улыбаются людям, которых действительно рады видеть.

А потом в один прекрасный день мне сообщили, что Антонина Ивановна от нас уволилась. Улетела Царевна Жар-птица в другую сказку. Трудно сказать, что послужило поводом для ее ухода. Хотя к тому времени ушли от нас уже и другие неординарные женщины, ковавшие общий успех дела. Так что можно сказать, что Царевна оказалась последней из могикан в этой череде уходов. Владелицу института, энергичную и несколько самонадеянную особу, скорее всего, подвела именно ее самонадеянность, ибо она всерьез решила, что не нужны ей рядом никакие яркие персоналии, затмевающие ее саму, и уж тем более всякие разные жар-птицы, невесть откуда залетевшие в ее сад-огород. А жаль! Видно, хозяйка предприятия мало читала в детстве сказок и плохо усвоила одну простую истину: то, что под силу волшебнице, простой смертной не дастся никогда. ВУЗ наш стал стремительно терять свои былые позиции, превратившись со временем всего лишь в еще одно учреждение, где можно получить диплом о высшем образовании. А в конце концов и вовсе почил в бозе. Увы-увы!

Где мораль? Да вот же она! Пожалуйте!

Берегите как зеницу ока своих жар-птиц, если вам повезло жить рядом с ними. И не верьте унылым скептикам, которые монотонно твердят, что, дескать, лучше синица в руке, чем какая-то жар-птица над головой. А уж если она, не дай бог! — еще и царевна, то и вообще не место ей в вашем огороде. На грядках ведь, как известно, не царевны, а пугала нужны, чтобы злоумышленники не «тырили» по ночам клубнику и огурцы с луком. Невдомек им, этим советчикам, привыкшим все переводить на прибыль, какой прекрасной может быть жизнь, когда в ней есть сказочные создания.

Грустный самурай

А не попытаться ли нам, мой дорогой читатель, погрузиться в восточную экзотику? Во всякие там ориентальные красоты и прочие чуждые нашему глазу прелести. Ведь, несмотря на всю свою внешнюю непохожесть на наш родной сказочный мир, восточные сказки, будь то арабские или китайские, или еще какие другие, вот уже которое столетие держат в плену своих хитроумных сюжетов и детвору, и взрослых. А потому рискну и предложу вашему вниманию одну давнюю историю про самурая. Зря, что ли, я переводила в свое время на русский язык японские народные сказки? Так что сюжет по теме у меня имеется, да и повод есть извлечь его из небытия. Я бы даже сказала, весьма серьезный повод, особенно если измерять его временными мерками. Итак, сказка про грустного самурая.

Осенью 1977 года руководство тогдашней Торгово-Промышленной Палаты БССР решилось на весьма смелый эксперимент, идея которого, впрочем, можно сказать, витала в воздухе тех дней. На базе имеющихся у них «мощностей и площадей» был объявлен набор в Общественный институт научно-технического перевода на только что созданный факультет японского языка. И даже сформированы первые две группы будущих студентов нового факультета. В число этих счастливчиков попала и ваша покорная служанка.

Как хорошо помнят люди старшего поколения, именно в те годы в отечественной прессе и на телевидении замелькало еще не вполне привычное для глаза и слуха словосочетание «научно-техническая революция». Нельзя сказать, что мы, то есть все те, кто имел отношение к этой самой науке и технике в тогдашнем Советском Союзе, проспали очередную революцию, как то яростно утверждают ныне иные хулители советского строя. Но, выражаясь языком осторожных политологов, некоторое отставание от стран «развитого капитализма» все же наметилось, и негативные тенденции в этом процессе были явно налицо.

Особенно доставала всех Япония. Она семимильными шагами стремительно уходила вперед, что ни день выбрасывая на мировые потребительские рынки всякие чудеса электронной бытовой техники, что уже по умолчанию означало лишь одно: коль скоро подобные чудеса рукотворны, то в случае чего они могут быть использованы не только на кухне или в салоне автомобиля.

Правды ради стоит сказать, что наши специалисты-патентоведы не растерялись и тут же весьма квалифицированно объяснили сей феномен «японского чуда». Дескать, в первые послевоенные годы предприимчивые япошки скупили все более или менее стоящие патенты по основным направлениям развития науки и техники. Кое-что доработали, усовершенствовали, доизобрели, и вот нате вам, пожалуйста! Наслаждайтесь результатами уже «ихнего» труда. А вот плодами умственных усилий — ни-ни-ни! Коварные самураи все без исключения собственные изобретения оформляли только и еще раз только на своем родном языке. Они и коротенькую аннотацию (или реферат, по-научному), вопреки всем международным нормам, диктующим использование для этой цели английского языка, писали иероглифами. Их коварность была столь безграничной, что даже важные приоритетные данные, как-то: дата подачи заявки на изобретение, дата публикации и прочее, то есть вся та информация, которая воспроизводится обычными арабскими цифрами, давалась этими пионерами научно-технического прогресса исключительно с помощью все тех же закорючек и загогулин. Не за что было зацепиться нетренированному европейскому глазу в таком тексте, и оставалось лишь бессильно разводить

руками да гадать на кофейной гуще, кто же является юридическим собственником нового изобретения и каковы сроки действия самого патента.

Словом, стратегическая цель ясна: надо любой ценой догнать и перегнать Японию, да и всех остальных тоже! Или уж, во всяком случае, памятуя один старый анекдот времен Никиты Хрущева, выбросившего в конце пятидесятых на-гора сей знаменитый лозунг, догнать и бежать рядом, чтобы твой соперник, не дай бог! — не заметил, что у тебя штаны в заплатках. Но в любом случае для реализации столь амбициозных планов нужно, в том числе, незамедлительно научиться читать и понимать эти треклятые восточные закорючки и загогулины. А потому все как один на курсы по изучению японского языка!

И вот от лозунгов, наконец, перешли к делу.

«Ты хотя бы изучи иероглифы, которыми они обозначают цифры, — напутствовало меня непосредственное начальство, выправляя в путь за раритетными знаниями. — Не волнуйся, никто не потребует от тебя переводить все тексты на манер того, как ты это проделываешь с англоязычной литературой. Но вот если бы ты научилась читать все то, что относится к приоритетным данным, разбираться в позициях на чертежах и хоть кое-как, через пень-колоду, переводить основные пункты формул изобретения, то мы бы тут же умерли от счастья, предварительно озолотив тебя».

Поскольку все же именно бытие определяет сознание, а не наоборот, то последнее обещание руководства, признаюсь, было особенно приятным, согревало душу и веселило плоть. Кстати, наше предприятие, находившееся тогда в зените своей славы (директору сравнительно недавно присвоили высокое звание Героя Социалистического Труда), откомандировало для изучения японского языка аж четверых энтузиастов научно-технического прогресса: троих переводчиков и одного инженера-радиофизика, вбухав за нашу предстоящую учебу весьма даже кругленькую сумму денег, ибо обучение было, во-первых, платным, а во-вторых, весьма недешевым. К сожалению, довольно скоро половина из нашей четверки отсеялась, и до финиша доковыляли только мы с моей коллегой Галиной Михайловной Бартошевич. Впрочем, вожделенные дипломы предстояло получить только в мае или в июне 1980 года. До этого нужно было еще дожить: ведь предстояло целых три года напряженных и весьма интенсивных занятий.

В конце октября (или в начале ноября?) 1977 года наш первый набор студентов-японистов собрали, наконец, всех вместе. Руководство ТПП в лице Натальи Ивановны Березкиной, возглавлявшей в те годы службу переводов в Промышленной Палате, представительной, строгой и одновременно очень доброй женщины (царствие ей небесное!), долго и внушительно вещает нам с трибуны о важности и значимости затеянного предприятия. Нам говорят о том, как нужны стране наши знания, как ждут от нас реальной отдачи уже в ближайшие годы. Разумеется, обещают горы золотые всем тем, кто удостоится чести сотрудничать с Палатой уже в качестве переводчиков японского языка. Ну, и все такое, как водится на всяких солидных собраниях и заседаниях.

Потом начинается обсуждение уже сугубо практических вопросов: расписание занятий, деление по группам, выборы старост. И, наконец, апофеоз всего мероприятия — нам представляют педагога, специально выписанного из Москвы, которому предстоит натаскивать великовозрастных студентов по совершенно новому для них предмету. На авансцену выходит невысокого роста крепыш, по лицу которого разлита жутчайшая меланхолия. Просто вылитый Вертер, вознамерившийся немедля свести счеты с жизнью прямо на глазах у своих будущих учеников.

Да что там Вертер в единичном, так сказать, числе! Все теноры мира, певшие и поющие партию одноименного героя в опере Жюля Массне, даже они не в силах выразить и сотой доли тех страданий, которые, судя по всему, выпали на долю нашего разнесчастного сэнсэя. *«О, не буди меня, дыхание весны...»* — звучит у меня в ушах мелодия знаменитой арии из второго действия оперы, однако властный голос Березкиной возвращает меня из мира грез в день сегодняшний.

— Юрий Михайлович Бобрович! — объявляет Наталья Ивановна тоном искушенного в своем деле шпрехшталмейстера, представляющего зрителям известных дрессировщиков, клоунов и воздушных акробатов. Так и хочется зажмурить глаза в предвкушении смертельно опасного трюка под самым куполом цирка. Прямо как у Александра Розенбаума:

Все зрители давно на месте,
И начинать уже пора.
Я в этом цирке — шпрехшталмейстер,
Я объявляю номера.

Только вот сдается мне, что на сей раз под самый купол цирка придется вскарабкиваться уже не воздушным гимнастам, а нам, сирым, прожившим бог знает сколько лет! — без знания столь необходимого всем японского языка.

И вот наступает день, вернее, вечер (ибо форма обучения — вечерняя), когда наша группа собирается на первое занятие. Я в качестве новоиспеченной старосты старательно заношу в выданный мне журнал посещаемости студентов всю дополнительную информацию о своих однокурсниках, как-то: образование, место работы, домашний адрес и прочее. Тороплюсь успеть, ибо журнал вместе со всеми необходимыми сведениями об учащихся должен лечь на стол преподавателя в самом начале урока. В аудитории шумно: все немного взвинчены в предвкушении первой реальной встречи с этим самым японским языком. И одновременно какая-то бесшабашная легкость витает в воздухе, словно собравшиеся школяры сбросили с себя кто сколько лет вместе с грузом всяких разных житейских забот и проблем и снова окунулись в незабываемое студенческое прошлое.

Звонок. Почти одновременно со звонком распахивается дверь (уж не стоял ли товарищ Бобрович все это время под дверью, мелькает у меня шальная мысль), и на пороге аудитории появляется наш сэнсэй. Все та же вселенская скорбь во взоре. Он медленно обводит глазами аудиторию, потом также медленно идет к столу, кладет на него свой портфель, еще раз внимательно смотрит на нас (ну, а мы так просто едим его глазами), негромко откашливается и произносит первое слово. На японском, разумеется.

— Коннитива! — И после некоторой паузы уже по-русски: — Здравствуйте!

Я поспешно кладу журнал на стол.

— Арригато! — любезно кивает мне Юрий Михайлович.

Ага! Это, значит, по-японски «спасибо», тут же, прямо по ходу действа, соображаю я и отбиваю подачу, но уже на английском.

— Don’t mention it! (Дескать, не стоит).

Начинается перекличка.

— Баркова-сан, — медленно озвучивает сэнсэй первую фамилию из списка и внимательно смотрит на будущую специалистку в области научно-технического перевода с японского языка. БГУ, физик.

— Бартошевич-сан, — продолжает знакомиться с нами преподаватель, добавляя после каждой фамилии пока еще чуждое для нашего слуха оконча-

ние «сан» — «Интеграл», переводчик. Володин-сан, — физик, БГУ, Гайнулина-сан, патентовед, Академия наук.

— Кара-сан, — вслушиваюсь я в мягкий, негромкий голос и попутно отмечаю про себя, что с такой «японоговорящей» фамилией девушке только и заниматься японским языком. Самое то! Кличковская-сан, Кузнецова-сан, Кухаев-сан, Першин-сан, Сурмач-сан, Ханина-сан...

Я закрываю глаза и вижу перед собой лица своих «японских» однокурсников. Кажется, все это было только вчера, а между тем, с того далекого вечера минуло уже почти сорок лет. Изрядный срок, особенно с учетом скоротечности нынешнего времени. Живы ли те, кто откликнулся на первый призыв нашей Торгово-Промышленной Палаты и снова решился сесть за парту? Ведь возрастной разброс студентов (сужу по своей группе) был весьма значительным: от недавних выпускников (Кузнецова, Володин, Баркова) до вполне солидных дядечек и тетечек, занимавших вполне солидные должности (тот же Кухаев-сан, руководивший целым научным отделом в Институте ядерной физики в Соснах, кандидат наук и все такое).

И что их всех подвигло на такую авантюру, размышляла я, разглядывая исподтишка своих новых сокурсников. Ну, наша «интеграловская» четверка, с этим все понятно: откомандировали на учебу в приказном порядке и оплатили ее из фондов предприятия. Но ведь многие пришли сюда, чтобы учиться — о, диво дивное! — за собственные деньги. И немалые! Это сегодня мы привыкли к платному обучению и воспринимаем его как должное. А в те далекие годы такой поступок воспринимался почти как одиозный. Надо же! Хочет во что бы то ни стало изучить японский язык и даже готов платить за обучение из собственного кармана.

Понятно, некоторых прельщала возможность сотрудничать впоследствии с Торгово-Промышленной Палатой в качестве внештатных переводчиков японского языка. Такая перспектива сулила приличные дополнительные доходы будущим японистам. Но зная строгие критерии отбора специалистов для подобного сотрудничества, которыми руководствовались подчиненные Натальи Ивановны Березкиной, можно было заранее сказать, что не многим удастся проскользнуть сквозь густое сито этого отбора, даже при наличии столь вожделенного диплома.

Ну, с Мишей Володиным все ясно. Тот песни сочиняет, непременный участник почти всех бардовских фестивалей, очень популярных в те годы повального увлечения бардовской песней. А еще Миша мечтает переводить японскую поэзию, даже читал нам пару танок в собственном переводе, и вообще, он большой поклонник восточной культуры. А вот моей соседке по парте, симпатичной глазастой шатенке Мирре Ханиной, это зачем? Она и так в Торговой Палате — звезда номер один. Единственный в Минске специалист, занимающийся переводами с венгерского языка. Уж ей ли жаловаться на нехватку заказов! И платят за работу по первому разряду (в скобках замечу, что венгерский язык входил вместе с японским в группу языков повышенной сложности с коэффициентом сложности «2», то есть работа оплачивалась по двойному тарифу).

Кстати, именно Мирра, не только глазастая, все подмечающая и все замечающая, но и очень остроумная и веселая женщина, именно она и запустила в обращение прозвище для нашего препода: «грустный самурай».

— Ты только взгляни на него! — прошептала она мне как-то раз, придвигаясь поближе, когда жарким майским вечером Юрий Михайлович вдруг извлек из портфеля веер и стал, по своему обыкновению, методично обмахиваться им, создавая вокруг себя зону живительной прохлады. — Самый настоящий самурай! Только очень уж грустный.

Мне же, не шибко знакомой с самураями, как с грустными, так и с веселыми, наш преподаватель некоторыми странностями своего поведения скорее напоминал приснопамятного героя веселой кинокомедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» в блистательном исполнении Иннокентия Смоктуновского. Подобно Деточкину, он тоже довольно регулярно исчезал куда-то, всякий раз объясняя свои постоянные отлучки тяжелыми и непреходящими болезнями многочисленных родственников. Наверняка подвизался в качестве переводчика-японоиста на каких-нибудь столичных мероприятиях, в которых принимали участие и представители Страны Восходящего Солнца. Дело нужное, конечно, а вот неказистые объяснения, которыми Юрий Михайлович в обязательном порядке сопровождал каждый свой очередной отъезд на два-три дня в Москву или Питер, откровенно веселили всех.

Ведь большинство студентов были значительно старше своего молодого сэнсэя, и, как говорится в таких случаях, на мякине нас было провести трудно. А вообще-то, мы его любили и даже баловали, в том смысле, что старались изо всех сил и прикладывали максимум усилий чему-то там научиться и хоть как-то оправдать и его нешутейное рвение научить нас всему или почти всему, что он знает сам.

Не все, конечно, не все! Вот я, к примеру, три года учебы числилась в рядах «хорошистов» с плавным наклоном в сторону крепкой «тройки». Напутствие боссов сыграло-таки свою роковую роль в моих более чем скромных успехах. Выучив все цифры и пару сотен терминов, относящихся к области полупроводниковой и электронной техники, я посчитала свою миссию выполненной и даже перевыполненной. В самом деле! Я же не собираюсь переводить какие-то там танки! А в Торговой Палате с меня и англоязычной литературы хватит. Помочь же при случае разработчику разобраться с чертежами или прочитать заглавие — приобретенных знаний хватит с лихвой!

Кстати, многие термины так прочно засели в моей памяти, что я и по сей день хорошо их помню и изредка веселю студентов всякими забавными историями, связанными с японской терминологией. Вот, к примеру, одна из них. Однажды, когда я по своим переводческим делам оказалась в Торговой Палате, знакомая редактор обратилась ко мне с неожиданной просьбой:

— Зинаида Яковлевна, помогите разобраться. Мы тут в Москве заказывали перевод японского патента для Академии наук. Вот прислали, а заказчики с возмущением вернули его обратно. Говорят, бред какой-то! Никакой радиоэлектроники, одни сплошные кровати и лежанки.

Я глянула на титульный лист и возликовала душой. Слава богу, никакого позора не предвидится, ибо название уже понятно. Да, всего лишь два иероглифа и несколько букв катаканы (этой азбукой японцы пишут заимствованные, чаще всего, англоязычные, слова), но никакой мебели: «Полупроводниковый прибор». По всей вероятности, речь в тексте идет о технологии изготовления какого-то электронного устройства, потому что уже в первом абзаце замелькало ключевое слово для описания подобного технологического процесса: «подложка» («кибан» по-японски). Оно, кстати, тоже состоит из двух красивых иероглифов, один из которых буквально переводится как «дерево», а второй — как «ложе» или «основание». Заглянула в перевод и обомлела: незнакомый мне московский коллега ничтоже сумняшеся сохранил первозданность значений и пустил по всему тексту поэтический перифраз «деревянное ложе». Да уж! Ложе, как ни крути, ассоциируется совсем с другими вещами, весьма далекими от полупроводников. То-то академики и впали в праведный гнев.

А я с тех пор часто привожу этот случай на занятиях по переводу в качестве примера того, как надо правильно дифференцировать значение термина

в конкретном контексте. Впрочем, скорее всего, москвич просто никогда не имел дела с переводами научно-технической литературы. Знай себе переводил про всякие красоты Фудзиямы и про шелест тростника над гладью вод. Все же, повторюсь, в те годы ощущалась большая нехватка специалистов в области научно-технического перевода, тем более с японского языка. Вот парня, видно, и привлекли по случаю, соблазнив неплохим гонораром.

Итак, очень скоро в группе определились не только крепкие троечники, но и самые настоящие звезды, поражавшие своими успехами сокурсников и даже самого сэнсэя. Тот с растроганной улыбкой на лице по-восточному лаконично комментировал очередной блестящий ответ Барковой-сан или Сурмач-сан, которые вдохновенно чертили на доске иероглифы, составляя из них витиеватые фразы на безукоризненно правильном японском языке, и чувствовалось, что в этот момент он по-настоящему счастлив. Как педагог, разумеется. Впрочем, чаще всего Юрий Михайлович предпочитал обходиться коротким кивком головы, сопровождая его таким же коротким резюме: *спасибо, достаточно*. Скуп был на похвалу наш сэнсэй, это правда.

Кстати, с этим «достаточно» тоже связано много смешного. Дело в том, что по-японски слово звучит, как бы это выразиться поизящнее, слишком смело. Я бы даже сказала, очень смело, ибо мгновенно навевает отнюдь не самые благостные ассоциации. А если уж совсем откровенно, то ассоциации, главным образом, были матерными, ибо японское слово идеально вписывалось в тот раздел русской лексики, который по-научному именуется «арго». К слову, в японском таких слов, словно нарочно взятых из нашего отечественного арго, полным-полно. Как тут не поверить иным изыскателям на ниве филологии, которые вполне серьезно утверждают, что русский мат имеет исключительно восточные корни.

И в этой связи еще одна история, не связанная напрямую с японским языком и, тем не менее, вполне уместная в сказке про грустного самурая. В году 1966-м или 1967-м, в самый разгар так называемой «культурной революции» в Китае, на одном из очередных съездов КПСС в отчетном докладе политбюро была дана развернутая оценка этому событию. С отчетным докладом выступал Леонид Ильич Брежнев: был он тогда еще здоров и энергичен, ничего общего с тем «полудурком», которого потом стали усиленно изображать некоторые особо ретивые юмористы, веселя невзыскательную публику. Видно, получили на то отмашку сверху, позабыв о том, что грех ведь смеяться над больным человеком. Впрочем, грех было и держать несчастного старика у власти, вопреки всем его просьбам об отставке. Но это уже другая тема. А на момент описываемых событий Брежнев был вполне здоровым и, ей-богу! — не самым худшим руководителем страны за всю ее историю. К тому же, судя по всему, в обычной жизни был он остроумным и смешливым человеком. Что и подтверждается следующим примером. Дойдя до пресловутого словечка «хунвейбины», Леонид Ильич неожиданно споткнулся (я эту сцену наблюдала по прямой телевизионной трансляции из Дворца съездов) и сконфуженно умолк. Но проклятые хунвейбины не дались нашему генсеку и во второй раз. И тогда он обвел лукавым взглядом зал, обреченно взмахнул рукой и бросил: «Ну, да что там стараться понапрасну. Всем ведь и так понятно: от известного русского слова». Зал в ответ разразился дружным хохотом и бурными, долго не смолкавшими аплодисментами.

Возвращаясь же к нашей группе, скажу: аплодисментов не было. А вот хохот был всегда, отчего несчастный сэнсэй то краснел, то бледнел, мгновенно покрывался испариной и хватался за свой драгоценный веер. Кончилось все тем, что он и вообще перестал произносить сакраментальное слово вслух,

предпочитая писать его на доске иероглифами. Но нас, великовозрастных шалунов, было уже не остановить. При каждом удобном случае очередной отвечающий (ясное дело, из второго эшелона студентов по успеваемости) не упускал возможности вслух озвучить очередную матерную ассоциацию под веселый смех остальной аудитории. Причем исключительно в русском произношении, да еще невинно закатывая при этом глаза. Дескать, а что я? С меня взятки гладки. Это ведь японцы так пишут.

Хорошее было время! И не потому, что оно «было». Просто так приятно было снова почувствовать себя беззаботным студентом со всеми атрибутами суматошной студенческой жизни. Включая и обязательные веселые и шумные сборища после каждого экзамена, на которые наш сэнсэй поначалу стеснялся ходить. А потом, ничего, пообвык к «взрослому» юмору старших товарищей, втянулся и стал неотъемлемым членом компании. И тоже с удовольствием слушал песни Миши Володина, которые тот с готовностью пел нам под гитару в сопровождении нестройного хора уже изрядно охмелевших однокурсников. Лепота!

Как ни странно, мы сплотились в очень дружный коллектив, который не так уж часто складывается и во взаправдашней студенческой среде. Нынешние молодые, как мне кажется, исходя уже из собственного опыта общения со студентами, несколько обделены тем, что ранее на высоком языке агитпропа именовалось «духом коллективизма и товарищества». Сегодня ведь превалируют индивидуалистические тенденции, и не только среди молодежи. Слишком уж мотивированно «нынешнее племя», слишком нацелено на успех, причем с обязательной материальной составляющей. Плохо это или хорошо, это уже другой вопрос.

Помнится, как-то раз на семинаре, посвященном переводу поэзии, я процитировала студентам пару строк из Байрона и попросила сделать подстрочный перевод прямо на месте.

O! Talk not to me of a name
Great in story!
The days of our youth
Are the days of our glory.

(Ах, не говорите мне о тех, кто прославил свое имя в истории: дни нашей юности — вот дни нашей славы).

Перевели. Но судя по реакции аудитории, никого из присутствующих вдохновенные строки поэта не задели за живое. Подумаешь, юность! Эка невидаль! Подождите, голубчики, подумала я тогда даже с некоторым оттенком злорадства. Вот состаритесь, и тогда, быть может, вам откроется вся великая мудрость этих слов, кстати, прочувствованная самим Байроном в еще очень молодом возрасте. Но то ведь гений, в самом деле.

После вручения нам дипломов каждый новоиспеченный японист получил возможность проявить себя в новом качестве. И многие проявили. Та же Баркова-сан на пару с Кличковской-сан на долгие годы вперед сделались верными помощниками Торговой Палаты в том, что касается переводов с японского. Активно сотрудничали с Палатой и многие другие выпускники. Но у большинства японский язык так и не стал определяющим делом их жизни. Миша Володин вдруг стремительно охладел к культуре Дальнего Востока и столь же стремительно (вот что значит творческая натура!) запылал интересом к индуистской философии. Мирра Ханина сразу же после окончания института вместе с мужем и детьми выехала на ПМЖ в Соединенные Штаты, одномомент-

но осиротив Торгово-Промышленную Палату БССР и лишив ее возможности осуществлять переводы с венгерского языка непосредственно в Минске. Моя коллега Галя Бартошевич, чутко уловив ветер перемен и сопутствующую ему конъюнктуру на рынке труда, помчалась в тогдашний Нархоз получать третье высшее образование (неутомимая душа!), на сей раз экономическое. И именно этот третий диплом и определил ее дальнейшее качество, в котором она и пребывает по сей день, возглавляя, как экономист, какую-то службу на нашем ТВ. Наш любимец сэнсэй, как ни странно, решил осесть в Минске и даже женился на одной из своих студенток. К сожалению, не из нашей группы. Хотя и у нас были пылкие воздыхательницы (да еще какие!) и ревностные почитательницы его разнообразных талантов. Но, видно, не судьба. Что касается автора сих строк, то у меня японский язык сохранился в памяти лишь на уровне тех нецензурных ассоциаций, о которых говорилось выше. Нет, вру! Лет двадцать тому назад, еще до повального увлечения нашими гражданами евроремонтом, я, помнится, в квартире своих приятелей расписала японскими иероглифами дверь, ведущую в комнату уединения: всякие там восточные сентенции и афоризмы. И хотя по каллиграфии у меня тоже была всего лишь крепкая «тройка», не скрою, получилось очень эффектно. До сих пор храню в памяти один из тех перлов: «Варуй ато, ва ей», что в буквальном переводе означает: «Минет плохое и наступит хорошее». Дай-то бог!

Некоторое время после шумной выпускной пьянки, затянувшейся почти до утра, мы старательно поддерживали связь: перезванивались, собирались, хотя бы раз в год. Правда, с каждым годом ряды участников встреч редели, что и понятно. На горизонте уже забрезжил сумбур девяностых: все и вся сдвинулись со своих мест, и многим стало уже просто не до восточной экзотики. Своя появилась в избытке. Словом, как говаривал когда-то товарищ Бендер, лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Много лет в одном из ящиков письменного стола я хранила журнал нашей группы. Он стал для меня своеобразным вещественным доказательством того, что были, да, были! — эти три безоблачных года в жизни каждого из нас, так неожиданно подаренные нам самой судьбой. Изредка, когда журнал попадался мне на глаза, я бережно перелистывала пожелтевшие страницы, вчитываясь в адреса и телефоны, которые наверняка у многих уже успели стать иными. А потом и журнал куда-то запропастился. Наверняка был выброшен за ненадобностью в ходе очередной генеральной уборки. Вот и остается разве что вспоминать строки из старой песни Миши Володина.

Так долго в гости собирались,
Что адреса порастерялись.

А что? Все правильно! И звучит ничуть не хуже, чем какой-нибудь там японский афоризм. И для морали вполне сгодится. Только вот нужна ли в этой истории мораль? *This is the question.*

Сестрица Аленушка и братец Иванушка

Днями, копаясь в интернете в поисках нужной мне информации, случайно наткнулась на душераздирающую новость из раздела так называемой криминальной хроники. Молодой тридцатишестилетний мужчина, успешный, деловой, симпатичный (если судить по фотографии, услужливо размещенной рядом с публикацией), убил собственную жену, настоящую красавицу (опять

же, если судить по фотографиям), а потом застрелился сам. Причина более чем банальная: молодая женщина полюбила другого мужчину и даже собиралась оставить мужа ради этого «другого». Вот так нелепо и страшно ушли из жизни двое молодых красивых людей, осиротив единственного ребенка, который, к счастью, на момент родительской ссоры был у бабушки. Чем не шекспировские страсти, только, — увы и ах! — при явном безналичии Шекспира.

Что ж, самое время вспомнить, что великий Стендаль тоже, между прочим, нашел сюжет для своего лучшего романа в разделе криминальной хроники одной из тогдашних провинциальных французских газет. А в итоге на свет появился бесспорный шедевр мировой литературы — роман «Красное и черное». Времена, что ли, были другие, когда, перефразируя Ахматову, писатели могли из любого сора создавать и лепить свои шедевры. Или нравы не те? А ведь если подумать хорошенько, то обязательно придешь к единственно неизбежному выводу, а именно: сильные чувства, мы же ныне страшно боимся (или стесняемся?) собственных эмоций, обнажают все потаенные и скрытые пружины, движущие жизнью. После чего талантливому автору остается лишь одно: взять в руки перо и воссоздать социальную панораму того общества, в котором и произошла та или иная трагедия.

Не знаю почему, но меня эта стопроцентная «бытовуха» из интернета вдруг неожиданно настолько зацепила и даже опалила накалом совсем не придуманных страстей, что не отпускала от себя несколько дней. Однако, покопавшись как следует в завалах собственной памяти, я все же, хоть и с некоторым опозданием, поняла причину своей непонятной, на первый взгляд, чувствительности. Просто трагедия, разыгравшаяся в одной из минских квартир, вдруг очень больно напомнила одну давнюю-давнюю историю, которая когда-то разворачивалась на моих глазах. Словом, предлагаю еще одну сказку, и на сей раз, исключительно и только про любовь. Правда, в отличие от большинства сказочных историй, в которых все «любови» обязательно имеют счастливую развязку, моя сказка — это сказка о несчастной любви. Но что делать? Перефразируя слова поэта, скажу так: какое время на дворе, таковы и любовные истории, случающиеся в этом времени.

Итак, я начинаю, как поет несчастный герой «Паяцев». На излете семидесятых годов прошлого века, то ли в 1978-м, то ли в 1979 году к нам в отдел на должность патентоведа была назначена новая сотрудница. Недавняя выпускница МИЭТа (Московского института электронной техники), одного из самых престижных в те годы ВУЗов Советского Союза, к тому же, как выяснилось чуть позже, обладательница красного диплома плюс золотой медали за курс средней школы. Новенькая поначалу показалась мне живым воплощением того, что можно коротко определить как «синдром круглого отличника». Эдакая всезнайка в юбке, категорически не приемлющая чужого невежества. Высокомерная, иронично насмешливая, с вечно скучающей миной на лице, должной, судя по всему, продемонстрировать окружающим, что его хозяйка уже вчера успела подзабыть все то, что остальным предстоит узнать только завтра, она как-то сразу и, как мне показалось на первых порах, бесповоротно не вписалась в наш сравнительно небольшой и преимущественно женский коллектив.

Слишком умна, рассеянно размышляла я, разглядывая точеную фигурку новой сотрудницы и любуясь фарфоровой белизной ее миловидного личика. Таких нигде не любят, и они, как правило, везде не ко двору, особенно, повторюсь, в женских коллективах. Впрочем, вслушиваясь в звонкий голосок, в дружелюбные интонации, с которыми она беседовала с разработчиками, зачастившими что ни день на консультации именно к ней, я невольно уважи-

тельно отмечала про себя, как разительно меняется в лучшую сторону Лена (так звали нашу новенькую), когда дело касается дела. Предельный лаконизм, никакого пустословия, что не мешало ее ответам на задаваемые вопросы быть исчерпывающе точными и понятными. Более того, она буквально на лету схватывала суть проблемы и моментально выдавала практический и весьма дельный совет по любой обсуждаемой теме.

А еще я видела, как Лена буквально на глазах расцветала, пускаясь в сложные интеллектуальные дискуссии, касающиеся всяческих там инноваций в области электронной промышленности. На ее щеках тут же вспыхивал легкий румянец, глаза загорались неподдельным интересом, звонкий голосок звучал еще звончее и радостнее, завораживая слушателей своими серебристыми обертонами. Словом, невооруженным глазом было видно, что ей ужасно нравятся все эти «умные» разговоры, до которых так неохочи в своем большинстве представительницы слабого пола.

Спустя много-много лет я трудилась над переводом романа Барбары Картланд «Поцелуй в Риме» (кстати, одним из лучших в огромном литературном наследии этой плодовитой писательницы, прославившейся своим безукоризненным вкусом в том, что касается изложения самых разных любовных историй). И вдруг в моей памяти сам собой возник образ Лены первых лет моего знакомства с ней. Так похожа была на нее главная героиня романа, молоденькая провинциальная барышня по имени Алина. Юная провинциалка тоже более всего на свете обожала интеллектуальные беседы со своим отцом, а после его смерти очень страдала из-за того, что ей больше не с кем поговорить о серьезных вещах.

Я дошла до следующего пассажа, и перед моим мысленным взором возникла тысячу раз виденная картина: Лена сидит за письменным столом в окружении кипы папок, справочников, реферативных журналов и внимательно слушает своего визави, подперев хорошенькую головку рукой, а напротив — очередной ведущий специалист, с энтузиазмом рисующий ей какие-то технические дебри, интересные и понятные только им двоим.

«Леди Лэнгли с удовольствием слушала разговоры двух самых дорогих ей на свете людей. А когда они заканчивали очередную дискуссию, то она непременно говорила им, что очень гордится тем, какие у нее умные муж и дочь.

— Дорогой, тебе не кажется, что нам следует вести себя осмотрительнее, — сказала она как-то раз мужу. — Иначе мы рискуем вырастить из дочери самый настоящий синий чулок. А ты же знаешь, как боятся мужчины слишком умных женщин и как они сторонятся их общества.

— Ну, если женщина действительно умна, — беззаботно отмахнулся от своей половины мистер Лэнгли, — то она никогда не станет демонстрировать мужчине собственное превосходство, даже если тот откровенный тупица и болван».

Что правда, то правда. Лена была терпелива и снисходительна и никогда не позволяла себе высокомерия в своих собеседованиях с технарями, которых можно было бы при желании и уничижить, ибо далеко не все из них блистали энциклопедическими познаниями даже в пределах своей специальности.

Впрочем, Лене участь синего чулка никак не грозила. Она на момент своего прихода в наш отдел была уже не только востребованным специалистом, но, что еще важнее! — и счастливой новобрачной. Ее избранником стал молодой и весьма перспективный инженер, работавший с ней ранее в одном КБ. Женя, выпускник нашего БГУ, был на пару лет старше своей жены и уже успел существенно продвинуться по карьерной лестнице: ведущий специалист, начальник сектора.

То была красивая пара, я бы даже сказала, изысканно красивая пара. Помню, как-то раз я возвращалась домой после работы, сидя (совершенно невиданная вещь в те годы вселенского столпотворения на Курасовщине, когда на «Интеграле» случалась очередная пересменка) на удобном месте возле окна. И вдруг на одной из заводских остановок я увидела Лену и Женю. Они стояли чуть поодаль, от основной массы народа, приготовившейся уже штурмовать долгожданное транспортное средство, и о чем-то оживленно беседовали между собой, невозмутимо поглядывая на толпу. Какая изысканная пара, подумала я, глядя на высокого светловолосого парня в модном джинсовом прикиде и на его изящную и тоже светловолосую спутницу. *Характер нордический*, мысленно процитировала я Ефима Копеляна, озвучивавшего своим неподражаемым глуховатым голосом биографии вождей Третьего рейха в культовом телесериале тех лет «Семнадцать мгновений весны», и невольно улыбнулась собственным сопоставлениям. Характер нордический, воспитание арийское, корни — стопроцентно славянские.

Вообще-то, лично у меня с этой парой всегда ассоциировалось другое слово, английское *prosperity* во всех его многочисленных оттенках и значениях: *процветание, преуспевание, богатство, состоятельность, успешность* и так далее. В самом деле! Прекрасное образование, прочное экономическое положение, крепкий и надежный тыл в лице тогда еще здравствующих родителей с обеих сторон, ум плюс желание трудиться и, не побоюсь столь пафосного умозаключения, приносить пользу стране. И как результат, все атрибуты этой самой успешности, достигнутой исключительно честным путем: продвижение по службе, новенькая кооперативная квартира, собственный автомобиль, что по тем временам и вообще было большой редкостью. Омрачало лишь отсутствие деток. Подозреваю, именно это обстоятельство и побудило Лену оставить практическую инженерную работу, которая ей, кстати, очень нравилась, и перейти к нам в патентную службу с ее ворохом бумаг и бесконечной писаниной. По всей вероятности, настоятельные рекомендации врачей возымели свое действие. Ведь труд разработчиков интегральных схем сопряжен с постоянным и длительным пребыванием в так называемой гермозоне, что в общем и целом негативно сказывается на здоровье будущих мам. И в самом деле, врачи оказались правы, и через какое-то время после смены вида деятельности Лена родила здоровенькую девочку. Тут бы и сказке конец, но это в том случае, если сказка — счастливая. А наша же сказочка еще только-только в самом начале.

После декрета Лена вышла на работу еще более похорошевшая, да и характер у нее поменялся кардинально. Женщина стала мягкой и покладистой: воистину таяла, как воск в руках. Куда подевались былая надменность во взоре и легкая саркастическая улыбка, вечно блуждавшая на ее устах! Прежнюю высокомерную гордячку словно подменили. Она вдруг сделалась разговорчивой, перестала презрительно щуриться, когда в ее присутствии диктовались новые кулинарные рецепты или велись жаркие споры о том, как сварганить себе юбку-банан из двух метров ткани. Во время обеденных перерывов Лена оживленно и с явным удовольствием обсуждала с другими молодыми мамашами всякие приятные разности, касающиеся взращивания малолетних отпрысков: первая реакция дочери на ясли, как повела себя Люся в группе, что говорит, как спит, что любит на завтрак, как связать на круговых спицах комбинезончик для трехлетки и где раздобыть супердефицитные в те годы колготки для малышей. Даже беглого взгляда со стороны было достаточно, чтобы тут же вынести окончательный вердикт: да, эта молодая красивая женщина счастлива. Очень счастлива! Ведь она любима, у нее замечательная

семья, у нее есть ребенок, и вообще, все у нее хорошо и даже прекрасно. Беда, как водится, пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. Точнее, ее вообще не ждали ниоткуда.

Как-то раз во время очередного обеденного перерыва Лена обвела взглядом комнату в поисках собеседницы, с которой можно было бы потолковать о своем, о женском, и — увы! — не нашла никого подходящего. Стояла пора летних отпусков, и большая часть наших молодых мамаш благополучно грелись на солнышке вместе со своими юными чадами. Пришлось довольствоваться разговором со мной, очень далекой от проблем воспитания подрастающего поколения. А потому пластинку сменили, и Лена завела разговор о культуре. Точнее, об историко-культурном наследии нашей республики. Я уже была в курсе того, что к ним в гости нагрянула двоюродная сестра мужа по линии матери, с которой Женя не виделся целых шестнадцать лет, если не больше, то есть он помнил свою кузину только ребенком. Чем не сюжет для какого-нибудь латиноамериканского сериала? Впрочем, кто о них был наслышан в те далекие годы?

Сестра (если мне не изменяет память, ее тоже звали Леной) жила где-то в Забайкалье (по-моему, в Чите), работала стюардессой (что уже по определению означает, что Бог не обделил ее красотой), недавно вышла замуж и вот прилетела в Минск то ли исключительно для того, чтобы повидаться с родственниками, то ли по служебным делам, уж и не помню за давностью лет. Зато хорошо помню, что объявившуюся после долгой разлуки родственницу встречали с помпой и, учитывая наличие личного транспорта, немедленно бросились знакомить с достопримечательностями отчего края. Первым делом, естественно, свозили на свидание с тетушкой, в Любань, где учительствовали родители Жени, потом в Брест, где жили родители Лены, потом на Нарочь, потом в Вильнюс и Каунас (как-никак, тоже не чужие для нас места). Наконец, дошла очередь и до Новогрудка с Миром.

И вот Лена, зная, как я люблю Новогрудок, как при первой же возможности стараюсь бывать в этом городке, в котором и по сей день живет и здравствует моя старая студенческая подруга Татьяна Николаевна Левкевич-Рагула (она всю жизнь проработала преподавателем английского языка в тамошнем торгово-экономическом колледже), принялась с энтузиазмом делиться со мной подробностями очередного путешествия. Она оживленно рассказывала мне, как фотографировались они, все трое, на фоне полуразрушенного в те годы Мирского замка, как осматривали усыпальницу князей Святополк-Мирских, как отметились в мемориальном музее Мицкевича, и прочее, и прочее.

Я слушала ее обстоятельный отчет о «культурной командировке» и вдруг почувствовала, как в душу мою невольно закрадывается тревога. Отчего? Почему? Словно внезапно налетело откуда-то невидимое облако и накрыло все вокруг. Я непроизвольно глянула в окно. Но нет, все в порядке. Как сказал поэт, *«небо чисто, под небом места много всем»*. Откуда же это неясное, смутное предчувствие беды? И почему вдруг мелькнула тень в умных Лениных глазах? Да и что-то нарочито веселое было в ее голоске, которым она живописала мне восторги уже второй Лены по поводу увиденных красот.

— А что, ваша родственница еще долго собирается торчать в Минске? — почти грубо перебила я собеседницу и, чтобы загладить собственную бестактность, добавила, что умные люди на Востоке говорят так: как бы ни был красив гость, но все же самое красивое у него — это спина.

Лена грустно улыбнулась моей шутке и неопределенно пожала плечами.

— Не знаю, — ответила она, старательно отводя глаза в сторону. — У нее еще тут какие-то дела.

Впервые в разговоре со мной она не назвала гостью по имени, удовольствовавшись обычным местоимением.

Шарада (или, как теперь любят говорить, пазл) сложилась в моей голове моментально, и я сама поразилась банальности своего открытия. Надо же, как все примитивно просто! И одновременно страшно! Судя по всему, Ленин муж и его двоюродная сестра, встретившись после долгой разлуки, воспылали друг к другу отнюдь и не только родственными чувствами.

Дальнейшие события развивались с калейдоскопической быстротой, но ситуация успела зайти уже слишком далеко и являла собой стопроцентный цугцванг, то есть каждый последующий ход лишь усугублял положение, ничего не меняя в лучшую сторону. Из Любани незамедлительно приехала мать Жени. О чем именно она толковала со своей племянницей и сыном, бог весть. Но только в тот же день племянница отбыла в Читу. Или все же в Омск? Не помню. Но, как говорится в таких случаях, точка невозврата была пройдена, и Женю понесло, или он сам понесся, не разбирая дороги, вскачь и напролом.

Понимал ли он, что делал? Вполне ли отдавал себе отчет в том, что сам, своими же руками рушит собственную жизнь? Кто знает? И кто теперь скажет? Одно не вызывало сомнения: то была не просто любовь, но некая всеобъемлющая, поистине роковая страсть к женщине, сметающая на своем пути все преграды. И всякие увещевательные афоризмы типа *«Пусть разум держит страсть в узде»* моментально превращались в пустые слова, и только. Да, в том, что это была именно страсть в ее чистом, так сказать, первозданном виде, сомневаться не приходилось. Знаю, с ним беседовали его друзья, в том числе и школьные, пытались урезонить коллеги и бывшие однокурсники, сочувственно, не педалируя ситуацию, вело себя начальство. Все оказалось тщетным.

Почти сразу же после отъезда сестры Женя ушел из дома и вскоре подал на развод, а потом и вовсе стал бесчинствовать, явив миру недостойные и неожиданно низкие черты своей натуры. Но недаром сказано в Библии: прости их, Господи, ибо не ведают, что творят. Он, обычно щедрый и не суетный в том, что касалось быта, вдруг сделался заземленно меркантильным, жадным и по-бабьи мелочным: отсудил у Лены комнату, потом разменял квартиру и подселил к бывшей жене посторонних людей, превратив еще недавно уютное семейное гнездышко в заурядную коммуналку. Со стороны складывалось впечатление, что он методично и последовательно мстит всему свету, ополчившемуся против его любви, избрав непосредственным объектом своей мести ближнего. Ну, это как водится.

Лена почернела от горя, но достойно несла свой крест, не жалуясь и не опускаясь до избитых обвинений и упреков в адрес человека, с которым, как ей казалось еще совсем недавно, они прошагают вместе до гробовой доски. Прямо как в венчальной клятве: *«И пока смерть не разлучит нас».* Но жизнь продолжалась, и надо было как-то жить и работать, растить дочь, делая вид, что ничего страшного не случилось. Просто развелась с мужем. Эка невидаль в наши-то дни!

Точка в этой невеселой истории, скорее смахивающей на античную трагедию в духе Софокла и Еврипида, чем на обычную сказку, была поставлена через пару лет. А если быть совсем уж точной, то 17 сентября 1986 года. Хорошо помню по-осеннему пасмурный, какой-то безрадостный день, совершенно не типичный для погожей поры бабьего лета. В комнату вбегает школьный друг Жени, с которым я в те годы трудилась в одном подразделении, и подскакивает к моему столу. Я отрываюсь от очередного перевода, смотрю на белого как мел Володю, и страшная правда накрывает меня с головой.

— Женя умер! — выкрикивает он мне, и я вижу, как дрожат у него губы. — Покончил жизнь самоубийством, представляете? Только что позвонили из милиции. Вчера вечером поехал после работы к себе домой, в Малиновку, а по пути зашел на новостройку и сиганул вниз с девятого этажа. Все! Разобрался, наконец, со всем!

Вместо морали. Минули годы. Все участники и свидетели той давней трагедии благополучно успели состариться. Прошлое покрылось патиной промелькнувших лет, былые горести и страдания подзабылись, кровоточащие душевные раны затянулись. Словом, все поросло быльем. Дочь Лены и Жени уже давно стала взрослой самостоятельной женщиной, у нее своя жизнь, в которой (очень надеюсь на это!) нет места всяким античным страстям. Да и чего сегодня стоят слезы Медеи или страдания Эдипа? Право же, несерьезно все это! Разве нельзя разобраться в собственных чувствах без крови, без леденящих душу преступлений и запоздалых раскаяний? Мы ведь, как озвучено устами ребенка в одной симпатичной рекламе, современные люди, и у нас повсеместно приветствуются свободные отношения.

А потом случайно натолкнешься в интернете на коротенькое сообщение из криминальной хроники, и тебя вдруг осенит: оказывается, ничего не изменилось со времен Ясона, умыкнувшего из Колхиды вместе с золотым руном и красавицу Медею. И все наши страдания и переживания остались точно такими же, как и несколько тысяч лет тому назад. А все потому, что человек, живой человек, из плоти и крови, он ведь для любви приходит в этот мир, разве не так? И ради любви каждый из нас, сам о том не подозревая, способен на все.

Как это там пела в свое время великая Лидия Русланова?

Я опущусь на дно морское,
Я поднимусь на облака.
Я все отдам тебе земное,
Лишь только ты люби меня.





МАРИЯ КОБЕЦ

Одно спасенье — слово

Слово

Средь запахов лесных,
От хвойного покрова,
В дыхании весны
Восторженное слово.

Средь завирух зимы,
Когда мороз суровый,
Средь скучной кутерьмы
Отдохновенье — слово.

Когда, устав в пути,
Отчаяться готова,
Тогда опять — прости,
Одно спасенье — слово.

Матуле не спится

Снова быстрой синицей
Прилечу я к матуле...
Что-то маме не спится,
Хоть давно все уснули:

Все волненья, тревоги,
Как от них ей отбиться?
И забот слишком много —
Снова маме не спится.

Материнского дома
Окнам вечно светиться!
Словно к месту святому,
К ним иду причаститься!

У березы за хатой
Багровеет зарница...
Может, я виновата,
Что матуле не спится?

Ласточка

Ласточка, быстрая птица,
Может, поможешь ты мне,
Тайной прошу поделиться,
Прощебечи хоть во сне:

Ты подскажи — я поверю,
Край заповедный — он где?
Там доброта и доверье
Дверь не откроют беде.

Вольная ты, словно ветер,
Ведаешь, верно, ответ:
Есть ли хоть где-то на свете
Счастье мое?
Или нет...

Сон

В раздумье радостном весны
И в майском гуле беспокойном
Мне снятся радостные сны,
Зарницы между веток хвойных.

Мне снится лодка на реке,
Седой легенды облаченье,
Моя рука в твоей руке,
Воды неспешное теченье.

И шепот трав там не стихал,
Расцветом розовым напетый,
И ты ладонь мою держал
Во сне, твоим теплом согретом...

* * *

Горькая осенняя любовь
Утолить не сможет давней жажды,
Не расправить для полета вновь
Крылья, поврежденные однажды.

Позднее и горькое питье
В кубке вместо спелого нектара,
Как отрава, тянет в забытье.
Кажется, живешь впустую, даром...

После будней серых, митусни
Вылить бы всю горечь за ворота.
Сердцу очень хочется весны,
Лебединой песни и полета!

Перевод с белорусского Любови ТУРБИНОЙ.



НАТАЛИЯ КОСТЮЧЕНКО

Возраст и я

Эссе

Мы вступаем в различные
возрасты нашей жизни,
точно новорожденные,
не имея за плечами никакого опыта,
сколько бы нам ни было лет.

Ф. Ларошфуко (1613—1680) —
французский писатель

Меньше года осталось до того юбилейного дня, когда «песочные» часы жизни спокойно, но безоглядно и неумолимо, равномерной тоненькой струйкой убывающего времени отсчитают мои пятьдесят.

Возраст чем-то напоминает несамостоятельное, неопытное дитя, которое с момента своего рождения пытается удержаться за руку ведающей все на свете матери — времени.

Мать и дитя — время и возраст. На первый взгляд, такие родственные, неразрывно связанные друг с другом категории. Но различие между ними не имеет аналогов в сотворенном по неким непостижимым для человеческого сознания законам мире. Подобно заданному маршруту возраст всегда отмеряется началом и концом. Время же ни начала, ни конца не имеет. Есть лишь замкнутый цикл смены времен года: за летом идет осень, затем зима, за зимою — весна и опять лето. Иллюзия бессмертия... И беспрерывного движения по кругу...

Все еще отношусь к своему возрасту легко, без страха и сожалений. Может быть, потому, что нередко слышу комплименты? Кто его знает, каким окажется мое восприятие возраста, когда в зеркальном отражении увижу навсегда утратившее свежесть, изрытое старческими морщинами собственное лицо. Что, если возраст, словно острое лезвие, полоснет по моей, внезапно протрезвевшей душе? Покажет время.

До сих пор для меня возраст отождествлялся с определенными способностями воспринимать то, что окружало и с чем соприкасалась. Каждый возрастной период был неким своеобразным, мало похожим на предыдущий, континентом ощущений и чувств.

В ту блаженную пору, когда еще не умела читать и хоть сколько-нибудь рационально мыслить, я будто невидимой пуповиной была связана с истинным, не искаженным ни своим, ни чужим знанием, многомерным и многогранным миром. Его краски казались ярче и плотнее, звуки — отчетливее и тоньше, а волнение, вызываемое ими, потрясало душу. Тогда, в детстве, меня окружали не просто небо, деревья и травы, а Небо, Деревья и Травы. Все имело другое величие, другую масштабность и словно благовествовало о том, что мир существует для меня и, может быть, даже возник ради меня. Я ощущала, улавливала это не умом, не мыслями, а кожей. И исполненная

доверия к этому сотворенному для меня миру, не сомневалась: ничто и никогда не сможет омрачить мою радость.

Но когда эта радость при первом же, пусть даже и детском, испытании, из-за незначительного, на сегодняшний взгляд, удара вдруг разлетелась на крошечные осколки, я поняла, что мир существует не только для меня одной. Что на земле есть множество других людей. И каждый из них имеет такое же, исключительное право на этот мир.

Неожиданным потрясением стало осознание того, что им, людям, по большому счету, нет никакого дела до меня, и, растерявшись, я вдруг почувствовала себя одинокой, незначительной и уязвимой. Так, наверное, появляется на свет, словно цыпленок, вылупливающийся из яйца, робкое и неокрепшее, только-только начинающее сомневаться и думать «я», и вместе с ним — «эго».

Тогда, искренне оправдывая и воспринимая как справедливое это свое «эго», я не догадывалась, что придет время учиться распознавать почти каждый из его многочисленных оттенков и, вывернув изнанку мною же искусно упрятанной от посторонних глаз его порочной сущности, до изнеможения, «до крови» сражаться с ним. И с каждой, пусть даже самой незначительной победой над своим «эго», вглядываясь в других людей, я больше и больше буду понимать: все мы похожи в главном. И эта похожесть — естественна. Потому что общий «архетипный» опыт коренится в каждом из нас, притом достаточно глубоко. Индивидуальное как бы погружено в него. И такая широко распространенная схема (нет человека, который бы в те или другие моменты жизни не воспринимал мир по ней!) — «я» — центр, а по периферии — «они», то есть народ, — сегодня стала для меня неприемлемой. Ведь «я» — это тоже «они». И все мы похоже радуемся в детстве, мечтаем в молодости и печалимся, когда стареем. Пусть простит меня читатель, но смею думать: аналогичное тому, что чувствовала в том или ином возрасте я, где-то в другом уголке земли чувствовал немец, француз или африканец.

Поэтому, описывая пусть незначительные, но особенные, острые по ощущениям ситуации и события, произошедшие со мной, может быть, где-то в глухой белорусской деревушке, и в помине не знавшей ни одного иностранного гостя, я не сомневаюсь, что тот же немец, француз или африканец поймет меня, вдруг обнаружив что-то созвучное моим чувствам и как будто знакомое в собственной душе.

В детстве мне казалось, что небо над моей любимой деревней с ее невысокими хатами простиралось во всю ширь земли. Днем оно было то безоблачным, бледно-голубым, то в причудливо клубящихся облаках. Вечером — насыщалось тревожащими душу, сгущающимися красками: от сине-фиолетовых до багровых. Ночью небо становилось таинственным и влекущим, особенно когда на нем проявлялись звезды.

Бывает, во время бессонницы отчетливо видишь то яркое и невозвратное, что когда-то взволновало и до конца твоей жизни удержится в памяти.

Вот я, брат и родители в нашем первом совместном «ночлеге» на днепровской, песчаной, поросшей молодыми вербами косе... Папа переправил нас сюда с берега на лодке. Соорудил из лозовых веток шалаш.

Догорал костер. Вчетвером, рядышком, мы лежали на душистой, свежескошенной траве и смотрели в черневшее небо. И те впечатления от звездного неба во мне ярче и яснее, чем от первого поцелуя, поступления в институт и даже чем от тех минут, когда впервые, на самолете, взлетела в его бескрайние просторы. Я вспоминаю то ночное небо с гораздо большим волнением, чем многие другие важные события моей жизни.

Тогда я не могла отвести глаз от мерцавших, завораживавших внеземной красотой больших и маленьких звезд, черкающих темноту метеоритов, пролетавших самолетов, а может быть, даже и спутников. Папа тихо, загадочным полушепотом рассказывал о планетах, непостижимости для нашего познания и бесконечности вселенной, о вечности. И мне казалось, что я смотрела в космос из колыбели земли. И космос чувствовал меня, безмолвно мигая звездами. В такие минуты открывается тайна: если в небо смотреть долго, теряешь границу между ним и землей. Или звезды опускаются, или ты поднимаешься к ним и втягиваешься, втягиваешься бездонной далью...

О, какое же это было счастье — находиться рядом с самыми близкими тебе людьми и, лежа под открытым, бесконечным, полным загадок небом, вдыхать запахи трав и реки.

Днепр с его обрывистыми берегами, в которых ласточки делали свои норки-гнезда, с его плесами, песчаными косами и отмелями, со старицами и заливными лугами был самой красивой, самой главной рекой на земле, потому что он был моей рекой. Мне нравилось смотреть на проплывавшие мимо ракеты, катера и баржи, на стремительно наворачивавшуюся, слизывавшую с берегового песка свежие следы волну, на стайки мальков, замиравших в прозрачной, прогретой солнцем песчаной отмели. Любила вкус днепровской воды, тогда еще вполне чистой, которую черпали прямо из реки кепкой или панамкой и, тут же, процеживая через свой головной убор, пили. А еще нравилось, присев на берегу, смотреть вдаль, в ту сторону, куда несла свои воды моя река. К морю. Представляла, как она ширится и набирает силу. И думала, что вот так же будет шириться, устремляясь в будущее, и набирать силу моя жизнь.

Память... В ней все: и запахи, и звуки... И даже вкус пищи... Случается, что какое-нибудь одно, пусть даже мимолетное, ощущение вдруг возвращает тебя в детство. Причем настолько живо, настолько осязаемо, что воспоминание словно становится реальностью.

Как-то, немного приболев, я заварила полынь и бессмертник. Запах, горечь этого отвара так не нравились в детстве... Бабушка выводила меня в сенцы, протягивала кружку с этим горьким лекарством и уговаривала сделать глоток. Я морщилась, отпивая невкусный отвар. Горечь... Помню то неприятное ощущение... Делала глоток через силу.

Сегодня с волнением вынимаю из полотняного мешочка сухую траву, собранную летом. Заливаю кипятком и с благоговением, трепетом настаиваю.

Как пахнет... Родным... Чувствую присутствие бабушки, которой уже более двадцати лет, как нет. Делаю глоток... Замираю от ощущений... И нет ничего слаще этого горького напитка.

К сожалению, то, что в детстве волновало меня, тонкое, слитое с невидимой первоосновой бытия, постепенно стало угасать. И с возрастом это угасание становилось все заметнее.

Пришло время, и постучался в мой еще неискушенный, неопытный мир «эрос», чтобы стать властителем эмоций и страстей, заглушая тихую, нежную мелодию детских чувств. И эти страсти и эмоции требовали душевных сил, всех, без остатка. Серебристый голос детства звучал все тише и глуше.

И вот теперь, прожив почти полвека, я слышу уже другой голос. Он делает все ровным и почти безэмоциональным. Хотя еще по привычке восклицаю: «Как чудесно!» или «прекрасно!», но редко чувствую это чудесное и прекрасное. Новый, зрелый голос быстро гасит редкие всплески радости,

не позволяя ожидать от судьбы чуда, как бы благополучно ни складывалась жизнь.

Может, в этом мире, сплетенном из всех открытий и достижений человечества, дороже всего маленький бесплотный сгусточек детской души?

Я редко снюсь себе в теперешнем возрасте. Мои сны как будто отказываются воспринимать настоящий возраст и застряли в прошлом. Иногда, во снах, я совсем юная и, радуясь, вижу живыми и полными сил своих дедушку и бабушку, а также многих из тех людей, которых больше нет на этом свете. И нередко, как в молодости, волнуясь от переполняющих меня чувств, тороплюсь на одно из своих первых, далеких, которым больше никогда не повториться в реальной жизни, свиданий.

Человеческая жизнь словно вращается вокруг молодости. Молодость — «осевое время» человека. Только в молодости тебе дается безусловная вера в себя, предощущение значительного, непременно счастливого будущего, скрывающего невероятные, мыслимые и немыслимые возможности. Тайна твоей судьбы пока еще не раскрыта. Поэтому все, что впереди, манит и привлекает. И ты чувствуешь свое особое предназначение, избранность.

В детстве я предвкушала молодость, нетерпеливо ждала ее прихода (вот вырасту большая!), а сейчас с грустью думаю о ней. И хотя молодость, как принято считать, обладает полнотой сил и возможностей, я с горечью тушу последние угольки ее былого, дерзкого и самонадеянного высокомерия.

Впереди — старость. Ее приближение остро чувствую, видя, как стареют, теряют физические силы самые дорогие для меня люди — мои родители. Иногда, мысленно примеряя их старость на себя, боюсь самого страшного — разлуки. Удивляюсь, что так недавно, чуть ли не вчера, им было столько же лет, как мне сегодня, а теперь еще более короткий, можно сказать, ничтожный промежуток времени отделяет мой возраст от их. Вот он где, жестокий и необратимый закон ускорения! Уже не тянутся, а все быстрее пролетают зимы и весны. Теперь ты не только обретаешь в этом неудержимом беге жизни, но и теряешь. И с каждой очередной потерей все чаще задумываешься о смерти. Мысли о ней вызывают щемящую, необъяснимую тоску, некий холод, который сосет изнутри.

Больше всего боюсь потерять близких. И этот страх, безотчетный, подсознательный, почти все время со мной... А в те минуты, пусть и редкие, когда он неожиданно становится пронзительным, перед глазами возникают эпизоды из жизни — обыденные, ничем не примечательные, — но которые теперь, с возрастом, воспринимаются как главное и самое дорогое. Вот мама, еще молодая, укладывает перед зеркалом в строгую прическу свои длинные русые волосы... Папа, сидя на диване, при свете бра читает газету. Лицо у него сосредоточенное, чуть нахмуренное, серьезное. Мне не хочется ему помешать, ведь комната родителей — зал — проходная, и только через нее можно попасть в крошечную прихожую, ванную, кухню. Иду мимо него на цыпочках, тихонько, чуть ли не крадучись, чтобы не отвлекать... Вспоминается и наша с братом шестиметровая комнатка-спаленка с диванчиком и креслом-кроватью, одноместной раскладной партой, за которой я, школьницей, готовила уроки, и с двумя книжными полками на стене. Эта маленькая, небогато обставленная квартирка-полуторка до сих пор снится и кажется мне уютнее, чем нынешняя, просторная, с тщательно продуманным интерьером.

Давние, полузабытые эпизоды возникают перед глазами и исчезают быстро, словно в немом кино. И хотя во всплывающих в памяти мгновени-

ях ничего особенного не происходило, они для меня бесценны. И я люблю до боли, до слез тех, кто предстает в этих мгновенных картинах: маму, отца, брата...

Иногда думаю, до чего же уязвима человеческая жизнь, сколько всего угрожает ей. Ее защищает только тонкая нежная кожа да маленький язычок дверного замка. И еще — оконное стекло. Оно, правда, вообще не защищает. Недаром говорят: хрупкое, как стекло... А вокруг — полный опасностей мир. Телевизор посмотришь: где-то наводнение, ураган, цунами, астероиды летают, звезды взрываются, а там война, террористический акт, кого-то убили... Нет-нет да и промелькнет мысль: как хорошо, что не меня, не ближних моих. И каким призрачным и неустойчивым покажется вдруг благополучие твое и твоих родных. Оказывается, смерть всегда наготове, рядом, постоянно дышит в затылок... Только ей одной позволено поставить точку в конце твоего земного пути. И только о ней никогда не хочется думать. Кажется, пока о ней не думаешь, ни с тобой, ни с теми, кого ты любишь, ничего не случится.

Но вот уходит знакомый человек. Не близкий. Его, конечно, очень жаль. И вдруг в подсознании, где-то очень глубоко в тебе вспыхнет и потухнет мысль, даже не мысль, а импульс какой-то, совсем не похожий на сострадание: «Не я!» — «Пока не ты», — соглашается смерть. Однако у чьей-то, пусть даже чужой, могилы больше боишься не за себя, а за того, кто дорог.

С каждой утратой и вызванной ею жгучей, невыносимой болью — стареешь. Да и сами мысли о смерти — первые вестники приближающейся старости.

Хотя, наверное, умение быть старым — особое искусство. В старости больше не требуешь от мира того, чего он не может тебе дать, и обретаешь важнейшее из чувств — смирение. Смиряясь, становишься ближе к Богу. А в этом, может быть, и есть главный смысл человеческой жизни?

Старость — это постоянная встреча с прошлым, которое уже не мечтает, а взыскует, спрашивает с тебя, тычет тебе в глаза, в душу твоими ошибками, слабостями, пороками и упущенными возможностями. Старость, может, для того и нужна, чтобы спросить с тебя за молодость. Ты уже не имеешь возможности сказать: я многого достигну, многое сделаю... Все перед тобой: вот оно, смотри, что ты сделал, чего достиг. Не из-за этого ли мучительного ощущения несостоявшегося так не любят старость?

Кто-то считает старость унизительным состоянием, напрасно отведенным человеку природой отрезком жизни.

А может быть, старость — это проверка на мужество? Ты становишься немощным, сужается твое окружение, в какой-то степени ты начинаешь чувствовать себя одиноким и неотвратимо приближаешься к черте, за которой — мрак неведения. Нет у тебя ни красоты, чтобы очаровывать, ни силы, чтобы противостоять.

И все же, по-видимому, неспроста дан человеку этот сложный, последний, но, возможно, самый главный в его жизни период. Время остановиться и время задуматься. Время жатвы и время покаяния. А по большому счету — момент истины.



ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

«Я ўсё спазнаў: і радасці, і гора...»

Когда я работал на Белорусском радио в редакции литературно-драматических программ и надо было сделать поэтическую передачу для всесоюзного радио, пришлось задуматься, кто из поэтов и чьи стихи нам более подходят для этого? Выбор пал на Сергея Граховского. Почему? Несмотря на немолодой уже возраст, поэт писал много и широко печатался. Был конец восьмидесятых прошлого века, шла перестройка, многих интересовала судьба бывших репрессированных в тридцатые годы писателей. Граховский был одним из тех, кому пришлось испытать все мытарства так называемой исправительной лагерной жизни, видеть ее изнанку со всеми уродствами. Поэт охотно согласился выступить перед всесоюзной аудиторией. При записи на магнитофонную ленту во вступительном слове он прямо и без обиняков заявил: «Я бывший узник ГУЛАГа, отсидевший за колючей проволокой десять лет...» Такая прямота и откровенность тогда меня, признаться, немного обескуражили. Хотя о репрессированных тогда говорилось много и без каких-либо дозировок, журналисты ухищрялись сначала сделать тысячи ловких, как им казалось, дипломатических оговорок, а потом уже переходили к рассказам о незаконных арестах, издевательских допросах и судах, на которых подсудимые получали внушительные сроки. И трудно было понять из таких передач, по какому праву творилось тогдашнее беззаконие и вакханалия, кто был зачинщиком всего этого. Как будто журналисты не знали из рассекреченных документов, что в тридцатые из Кремля к руководителям республик ежегодно поступали разнарядки на количество человек, которые должны были быть обвинены как «враги народа» и приговорены к расстрелу или тюремному заключению. И нередко в радийных передачах вопрос о том, кто же виноват в том, что пострадали миллионы невинных людей, как-то был смикширован, заретуширован и проходил незамеченным. К этому привыкли радийные работники. В том числе и я, сотрудник редакции литературно-драматических передач. И вдруг громогласное заявление-откровение С. Граховского, что он — бывший «узник ГУЛАГАа»! Я решил, если оно не понравится работникам всесоюзного радио, они знают, что делать в таких случаях, — вырежут.

К счастью, все обошлось! Передача прозвучала целиком и полностью и имела огромный резонанс. А поэт — тысячи писем со всех концов тогдашней нашей необъятной страны. К слову сказать, нашлись и отозвались некоторые из тех, кто вместе с ним тянул зековскую лямку. Они рады были услышать уверенный и полный жизненного оптимизма голос своего собрата по несчастью. И к тому же — продолжающего писать стихи. Многие знали, что он сочинял «стишки», но чтобы они прозвучали на всю страну! Такого не ожидали. Поэтому были по-хорошему удивлены и желали поэту новых успехов. Надо было видеть сияющего от радости Сергея Граховского, рассказывающего обо всем этом в нашей редакции. И тогда, и сейчас, когда время

поэтической передачи уже настолько отдалилось, что вряд ли кто из радиослушателей и помнит ее, да и поэт ушел в мир иной, все равно мне не давал и не дает покоя вопрос: какие чувства владели им, когда он с какой-то особой интонацией, почти с вызовом, даже с некоторыми оттенками гордости и злобы, воскликнул перед микрофоном: «Я — узник ГУЛАГа!». Конечно, он сделал это не для позерства, не для того, чтобы вызвать у радиослушателей восхищение, мол, столько маялся за колючей проволокой, а вот какие задушевные и дерзкие стихи пишет сейчас! И все-таки? В своеобразной исповеди, совсем недавно найденной его дочерью в архивах отца и опубликованной на страницах газеты «Літаратура і мастацтва», оценивая свое раннее творчество, поэт говорит: «Это была (тут и дальше перевод с белорусского мой. — В. М.) только проба сил, ученичество, первые шаги для самого себя. Но в 1936 году кто-то зачислил меня в серьезно «опасные» литераторы и отправил аж на 10 лет перевоспитываться на лесосеках и погрузке далеко от дома и родных мест». Да, из-за стихов Граховский мыкался по бериевским лагерям, оставил там свои самые лучшие годы и молодость. В связи с этим возникает несколько щепетильных и заковыристых вопросов: не каялся ли поэт и не проклинал ли минуты, когда из-под его пера появились злополучные строки, за которые и пришлось расплачиваться такой дорогой ценой? Не сожалел ли он о том, что в детстве под воздействием какой-то гипнотической силы или чего-то другого, случайно и ошибочно стал на литературную дорогу, приведшую за колючую проволоку? И вообще, что способствовало тому, что его, сельского паренька, привыкшего помогать матери по хозяйству, как будто вдруг, ни с того ни с сего потянуло в поэзию, заставило целыми часами просиживать над строчками и рифмами? Сергей Граховский признавался: «Как только начал понимать слово, очаровала колыбельная, она приносила удивительную явь и волшебные сны. Потом до слез, до пронзительной боли трогали сердце зау-нывные песни о жатве, с подголосками, с невыплаканными женскими страданиями. Длинными зимними вечерами тревожили и пробуждали фантазию страшные и веселые сказки и стихи. Певучесть поэтической строки, звонкое созвучие образного слова, неожиданное сравнение и мысль вели в свет мечтаний и фантазии. Из уст малограмотной мамы услышал: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя» и «В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли». А в школе зазвучало: «Магутнае слова, ты, роднае слова! Са мною ты ў яве і ў сне: Душу мне затрэсла пагудкаю новай, Ты песень наўчыла мяне!..» И так хотелось самому высказать то, что не вмещалось в сердце, что окрыляло душу самыми лучшими надеждами. Я начал что-то писать в молодняковском стиле и осмелился послать в редакцию журнала «Беларускі піянер». В другом месте поэт продолжает: «Ждал, ждал ответа, каждый раз с надеждой глядел на почтальона, а он мне так ничего и не принес. Только в конце июля соседка показала мне свежий номер журнала и безразлично спросила: не мое ли стихотворение напечатано? Глянул я и чуть не обомлел: «На змену Ільічу», а внизу подпись «піянер Сяргей Грахоўскі». Вначале творческого пути молодому автору повезло с литературными учителями. Работая в Бобруйске на деревообрабатывающем комбинате, он часто встречался со своими старшими товарищами по перу: А. Зарицким, В. Виткой, Б. Микуличем, Х. Шинклером. Они обсуждали свои произведения, выступали со стихами в рабочих клубах, бичевали прогульщиков и прославляли рабочих-ударников. Как видим, ничего особенного с ним не происходило. Паренек почувствовал любовь к слову, которая переросла в любовь к стихосложению. Без чего он уже не представлял свою жизнь. В таком случае, как же он относился к поэзии, оказавшись в лагере, под бдительным

оком конвойных? Сочинял ли стихи? Ведь не секрет, что татарский поэт Муса Джалиль, во время войны попав в фашистский плен и находясь в камере смертников Маобитской тюрьмы, известной изощренными пытками и зверствами, едва ли не самой суровой в гитлеровской Германии, смог с помощью подпольщиков под самым, что называется, носом ищеек-надзирателей раздобыть карандаш и бумагу и создать большой цикл стихов. А наш поэт-подпольщик Валентин Тавлай, брошенный режимом Пилсудского в Лукишские застенки, за неимением пера и бумаги, «записывал» свои стихи в память. А потом, когда отполыхала Великая Отечественная война, переехав в Минск и работая в музее Я. Купалы, обращался к артезианским глубинам своей памяти, извлекая из нее строки и строфы. В своей исповеди С. Граховский пишет: «И там я не перестал мечтать о литературе. Не имея возможности писать стихи, я бормотал отдельные строфы и строки, а во время Великой Отечественной войны, в бараках и на лесосеках, писал боевые листки, патриотические обращения и читал их друзьям по общему несчастью и горькой судьбе».

Нужно заметить, что признаваясь в этом, поэт немного недоговаривает. Если внимательно читать его документальную повесть «Зона молчания», в которой он рассказывает об ужасных условиях пребывания в лагере, осужденных как мужского, так и женского пола, видно, что каторга, быт и жизнь каторжан, которые Ф. Достоевский показывает в знаменитом романе «Записки из мертвого дома», не идут ни в какое сравнение и могут показаться курортным времяпрепровождением по сравнению со сталинскими лагерями. В ГУЛАГ отправляли не для того, чтобы перевоспитать человека, если он действительно был в чем-то виновен, а для того, чтобы как можно быстрее уничтожить его морально и физически. Непосильным трудом, издевательствами и постоянным унижением человеческого достоинства. Чего только стоит жизнь в брезентовой палатке на сорокаградусном морозе. Стихи у Граховского стали появляться, когда он немного обжился, привык к лагерной муштре и когда происходили случаи, которые с особенной болью отзывались в его душе, рождали мысли и он не мог не облечь их в стихотворную форму. В прозаической документальной повести «Зона молчания» мы знакомимся со стихотворением, своеобразным реквиемом, который поэт посвятил трагической смерти певицы Герты Варламовой, хрупкой интеллигентной женщины, которую из-за какой-то мелочной склоки отправили на лесоповал. Чтобы получить мизерный паек, она должна была выполнять дневную норму. Стараясь хотя бы немного облегчить участь узницы, зеки оставляли ее возле костра. Однако это ее не спасло. Вскоре она попала в лагерный лазарет. Как ни боролась за ее жизнь молоденькая интеллигентная доктор-москвичка, больная таяла и угасала на глазах. Хотя смерть в лагере была обычным явлением, уход из жизни певицы глубоко затронул душу поэта. Из нее, как ему казалось, сами собой выплыли строки, полные скорби и горечи:

Февральские ветры свистят, как когда-то,
За стеклами бьются испуганной птицей.
На смятой постели холодной палаты,
Метаясь в бреду, умирала певица.

Стоит ли говорить о художественных достоинствах и недостатках как этой строфы, так и всего стихотворения, приведенного в повести? Дело здесь не в этом. А в том, что патриотические строчки, которые поэт создавал, как будто по «социальному заказу», во время войны, он не запомнил и не привел даже в документальной повести. А стихотворение, где говорится о медленном

и мучительном угасании певицы, видимо, настолько было ему дорого, что он сохранил его в памяти и смог воспроизвести через несколько лет.

Все это дает право утверждать, что С. Граховский, если употребить спортивный термин, поддерживал себя в творческой форме, что очень важно для поэта. И, конечно, делал это не из каких-то меркантильных расчетов и выгоды, а потому, что этого требовала его душа. Сергей Граховский, как праздника, ожидал дня, когда сможет выйти на свободу. Это случилось, когда окончилась война. Он вернулся в родную Беларусь и три года учительствовал в Урецкой средней школе Слуцкого района, преподавал русский язык и литературу. При повторном аресте и по прежнему обвинению был выслан на вечное поселение в Новосибирскую область. Только через шесть лет, после исторического двадцатого съезда партии, на котором был развенчан культ личности Сталина, поэту были возвращены все гражданские права и он стал работать на Белорусском радио. Одновременно начинается другой, если так можно сказать, приход в поэзию. Это было непростое, переломное и ответственное для него время. Перед ним стоял гамлетовский вопрос: быть или не быть ему поэтом? Эти сомнения постоянно терзали его душу, не давали покоя ни днем, ни ночью. Нужен был дельный совет, который мог дать не просто умный, а разбирающийся в жизненных перипетиях и в поэзии, пишущий человек. Им стал народный поэт Беларуси Петрусь Бровка. Вот как рассказывает об этом Граховский: «Я возвратился в Минск и привез несколько стихов. Сначала думалось, что после таких длительных путешествий я очень отстал от литературной жизни и от новых течений современной поэзии, нужно было кому-то показать свою работу... И вдруг встречаю Петруся Бровку — председателя Союза писателей. Депутата, лауреата Государственной премии. Он подошел и согрел теплыми объятиями и дружеским словом.

— Садись, рассказывай, где был, что делал, как жилось.

Не каждый так умеет говорить, слушать, как слушал Петрусь Устинович: в его глазах и на лице отражались радость и мучения, заботы и тревоги, казалось, он видит все воочию. Наконец спросил:

— Что думаешь делать? Если нужна будет помощь, заходи!

Я признался, что все эти годы писал, что-то имеется с собой, но опасаюсь, что моя писанина ничего не стоит.

— А ты прочти, со стороны оно видней.

Я никогда так не волновался, как тогда, читая несколько стихов, привезенных из далеких путешествий:

Я ўсё спазнаў: і радасці, і гора,
Я з сотні рэк пакаштаваў вады,
І ноч у ноч мне сніўся светлы горад
І не даваў спакою ўсе гады.
Ён клікаў, уставаў цудоўнай явай,
Далёкі, але блізкі мне такі.
На ўсіх шляхах, за кожнай пераправай
Яго ўспаміналі землякі.

Петрусь Устинович слушал внимательно, сосредоточенно.

— Не стоит прибедняться. Нисколько ты не отстал. Пишешь не хуже других. Скажу Велюгину, чтобы взял эти стихи в «Полымя».

Встреча, как видно из беседы, оказалась счастливой и судьбоносной. Поэт считал, что его возвращение в поэзию благословил П. Бровка. В августе того же года на страницах журнала «Полымя» был опубликован цикл стихов С. Граховского. Появились его произведения в журналах «Маладосць»

и «Беларусь» и на страницах газет «Літаратура і мастацтва» и «Звязда». Для поэта это событие стало вторым рождением в литературе после многих лет путешествий, как привык он говорить о своих злоключениях. Граховский понимал, что после всего, что с ним произошло, лишь бы как писать он не имеет права, что за каждую строку он несет ответственность перед своей совестью и перед читателями, и каждое его слово должно быть согрето сердцем и служить народу.

На одном из съездов Союза писателей в своем выступлении М. Шолохов заявил, что советские писатели пишут по велению своего сердца. А дальше утверждал, что сердца писателей принадлежат партии. Конечно, были и приспособленцы, которые, не имея таланта, но, благодаря умению пускать пыль в глаза, пользовались доверием и щедро награждались орденами и премиями. Поэтому и пели панегирики, нужные верхам, восхваляли благоденствие и богатство, якобы существующие в стране. Это и понятно. Но каким образом С. Граховский, недавний узник ГУЛАГа и «враг народа», как его именовали все кому не лень, мог написать глубоко прочувствованные и задушевные строки, пронизанные оптимизмом и жизнеутверждением? Разве из его памяти выветрились, ушли в небытие все оскорбления и унижения, которым он подвергался в бериевском лагере и ссылке? Не слишком ли деликатно сказано об этом в приведенных строках: «Я ўсё спазнаў: і радасці, і гора, я з сотні рэк пакаштаваў вады». Возможно, поэт лукавит, кривит душой, обманывая себя и читателей? Ничуть! Он честен перед собой и всеми нами. Конечно, душа его была в ссадинах и кровоподтеках от незаслуженных обид. Но он не затаил злобы на власть. Не в его характере было носить камень за пазухой. Он по-настоящему был рад, что очутился на воле, жил вместе со всеми как равный с равными. А то, что ему «сніўся светлы горад, клікаў, уставаў цудоўнай явай», разве это не правда? Разве он не мечтал за колючей проволокой о дне, когда сможет пройтись по Минску, встретить друзей, так, как встретил П. Бровку. Нет, С. Граховский не забыл прожитое и пережитое, не старался подладиться под кого-то и угодить кому-то. Вместе с тем, хорошо знал и понимал, что не время ворошить прошлое, бередить душевные раны. Да и кого волновала чужая лагерная жизнь и личные обиды?! Людей интересовали ежедневные изменения и события. А их было много. После смерти «корифея всех наук и отца всех народов» жизнь входила в привычные берега, шла своим чередом. Налаживалась и личная жизнь С. Граховского. Он стал работать на Белорусском радио. Можно было навсегда забыть о «волчьем» билете.

Тем временем стали возвращаться поэты и прозаики, репрессированные в тридцатые. Сергей Граховский с огромной радостью встретил А. Александровича, А. Звонака, С. Шушкевича, Я. Скрыгана, П. Прудникова, А. Чернышевича, З. Бирало, И. Василевского, М. Хведоровича, Н. Чернушевича. Правда, потом уже, увидев друг друга на улице или в Союзе писателей, они не особо расспрашивали о том, как там и что было. Больно было бередить раны, каждый хотел забыть об ужасах и зверствах, перенесенных ими в лагерях и ссылках. Годы, проведенные в лагерях, Граховскому казались сном, бредом или какой-то болезнью, которой он переболел, как в детстве корью. Но он чувствовал, что былое не оставляет его, присутствует в душе и памяти, идет по пятам, преследует везде и всюду. От него невозможно было, как от наваждения, избавиться. Со временем С. Граховский понял, что самое лучшее лекарство и спасение от всего этого — работа и стихи. Появились окрыленность и душевный подъем, словно у него открылось второе дыхание. Над стихами он мог просидеть ночь напролет и не чувствовать усталости. Однако невозможно было стереть из памяти унижения, которым он подвергся

и переносил за колючей проволокой и в ссылке. Хотелось как-то избавиться от всего этого. Но как? Сами по себе вспоминались светлые мгновения, проблески, которые встречались и в лагерной беспросветной мгле. Они помогли выжить и согревали своим теплом и сейчас. Одним из таких светлых мгновений была встреча поэта с девушкой Алей, которая впоследствии стала его женой. Встретились они в лагере. Со временем С. Граховский узнал, что Аля родом была со Псковщины. Отец ее был смолокуром. Два года она занималась в пединституте, потом уехала работать учительницей в сельскую школу. В начале войны копала окопы и траншеи. А когда подошли немцы, лесными тропами вернулась домой, благо что он был неподалеку. Через несколько дней пошла в милицию, чтобы оформить прописку, и не вернулась. Под конвоем ее отправили в камеру областной тюрьмы. Дали бытовую статью, и она попала в лагерь, где отбывал срок С. Граховский. Встреча их стала судьбоносной. Будучи опытным зеком, он опекал, нередко выручал молоденькую заключенную. Ей посвящал лучшие стихи в минуты творческого озарения, конечно, делая намеки на обстоятельства, известные и дорогие только им, двоим. В немного завуалированной форме поэт обращался к любимой:

Чаго маўчыш? Я ведаю, што ты
Не рада ні спакою, ні дастатку,
А каб вярнуць даўнейшыя гады,
Ты пачала б ізноў усё спачатку.

Ізноў прайшла б са мною след у след
І сцежкі, і нялёгкія дарогі,
Каб у жыцці ўсё было як след —
І смех, і боль, і шчасце, і трывогі.

Своей половине Граховский будет посвящать самые лучшие, задушевные строки в разные годы своей жизни. Каждый раз поэт не забывает подчеркнуть главные черты жены — верность, преданность семье. Иногда в стихах он обращается и к другим женщинам, но говорит уже о другом, например, о том, что многие из них в юности свято верили в комсомольские идеалы и все свое душевное горение и помыслы отдавали им, не зная, что их обманывают опытные ловкачи-карьеристы. Тем не менее, и тогда, когда правда всплыла наверх, эти женщины не разуверились в том, чему когда-то отдавали «душевные порывы». Вот как сказал об этом поэт:

Ты ганарышся сталымі сынамі,
Ты замуж аддаеш сваіх дачок,
Але і сёння побач з ардэнамі
Ляжыць маленькі кімаўскі значок.

Прочитав такие строчки, можно подумать, что автор чего-то опасается и заранее старается «прикрыть» свои тылы. А вдруг те, кто его держал и истязал на своеобразном «конвейере» допросов и изуверских дознаний, вновь начнут по-новому плести интриги и предъявлять обвинения? Такие опасения у С. Граховского были. Разве после отсидки его не схватили и не сослали на вечное поселение в Сибирь? Но жизнь и события показывали, что возврата к прошлому нет. Надо сказать, что в полный голос о том, что он и его друзья узнали в лагере, поэт почти не писал. А если и начинал припоминать, то, конечно, осторожно и с оглядкой, чтобы не навредить близким, с кем жил в лагерной брезентовой палатке в глухом и темном лесу, где вместо электрического освещения всю ночь полыхали огромные костры. Так было и в стихот-

ворении, посвященном В. Межевичу, с которым он оказался в одном лагере. Вот как рассказывает об этом С. Граховский в автобиографической повести «Сезон молчания»: «Мы, человек тридцать, заняли верхние нары. Под нами настылые доски. От постелей мы отвыкли давно: что на мне, то и подо мной, в чем хожу, в том и сплю, тем и накрываюсь. Тюремный пол был сухой, а тут сидишь на мокром. Ветер хлопает промерзлым брезентом палатки, в узком проходе снуют, толкаются похожие на кожанов[1] тени, щемятся к печи, как черные когти, тянут к теплу скрюченные пальцы. Это ожидает и нас. Мы впятером, друзья по воле и этапам, прилегли вместе. Нам сегодня ничего не дадут: сухой паек давно съеден, а тут нас еще не поставили на котловое содержание, вот и хавкаем, посапываем носами, чтобы меньше думать о хлебе. Мой сосед — бывший корреспондент «Известий» Володя Межевич. Кровь стучит в висках, мысли ни на минуту не дают покоя: что тут нас ожидает, что будет завтра, через месяц, через год?»

Какая чудовищная картина! Даже прочитав такое, нельзя не содрогнуться от ужаса. А вот что говорит поэт в стихотворении, посвященном В. Межевичу:

Ты помніш калючыя сінія зімы?
Ты помніш глухія сігналы адбою?
Ты помніш разлукі?
І толькі Радзіма
Была неразлучна са мной і з табою.

Здавалася ўсё засталося ў мінулым,
І мы анікога ў свеце не мелі,
Мы клікалі... Ноч азывалася гулам,
І белыя сосны ў трывозе нямелі.

Есть разница в том, что сказано в автобиографической повести и в стихотворении? В повести мы имеем дело с горькой и беспощадной правдой. А вот в стихотворении обо всем сказано несколько обтекаемо и размыто. Конечно, тот, кто знал, через какие испытания прошли автор стихотворения и тот, кому оно было посвящено, мог догадаться, почему так говорит об этом поэт и на что намекает. Можно ли упрекать его за такую осторожность? Ни в коем случае! Нужно иметь в виду, в какие годы было написано стихотворение. Оно увидело свет в первом сборнике поэта, который вышел в 1958 году. А документальная повесть «Зона молчания» написана где-то в конце восьмидесятых и напечатана в начале девяностых прошлого века. После возвращения из ссылки нечего было и думать о том, чтобы говорить о злодеяниях, допущенных в тридцатые годы. Если бы поэт и рискнул сказать что-либо похожее, это был бы напрасный труд. Ни одно печатное издание не взялось бы опубликовать его. Ибо даже намек на какие-то простые бытовые неурядицы и сложности воспринимался властями как вражеские происки. Цензура могла придраться даже к такой безобидной строке, как: «І мы анікога ў свеце не мелі». Граховский хорошо знал законы и запреты в современной ему жизни. И без ложной скромности признавался в повести «Зона молчания»: «Я отбыл три четверти своего «червонца», в формуляре почти не было задолженностей, и мне выдали пропуск бесконвойного. Чувствую, кто-то из вас упрекнет: «Э-э, дружок, тебе везло, умел приспосабливаться, не столько вкалывал на работе, сколько придуривался». А неужели если бы не вылез из леса и загнулся, было бы лучше? Знаю из собственного опыта — ни один, даже самый сильный, весь срок, даже половину, не выдерживал на лесопо-

[1]Кажаны (бел.) — летучие мыши.

вале и погрузке. «Стахановские» бригады Ложкина, Карогодина, Яфанова заносили на красную доску, кормили на сцене, чтобы все видели, давали по маленькой белой булочке. И никто из этих «стахановцев» не дотянул до конца срока. Всех вывез Костров с фанерными бирками на ноге. Выжили только те, кому хотя бы немного повезло прокантоваться на легких работах. Не судьба ли выбрала их свидетелями народной трагедии?»

Вот этот опыт не позволял С. Граховскому лезть на рожон.

Да и какой мог быть от разоблачительных стихов прок? Кривить душой поэт также не хотел. Радовался и наслаждался жизнью, по которой истосковался и которая кипела вокруг него. Недаром первому сборнику стихов поэт дал символическое и многозначительное название «Дзень нараджэння». Знакомясь со стихами, вошедшими в него, нельзя не заметить, что они созданы вполне сложившимся поэтом. В них нет и следа какого бы там ни было ученичества. Видимо, оно пришлось на время, когда он писал юношеские стихи и потом принимал активное участие в лагерном самодеятельном кружке, где приходилось на ходу сочинять частушки, импрессии, разные каламбуры. И это помогало оттачивать как техническое, так и поэтическое мастерство, искать единственно нужное для каждой строки слово, заботиться и следить за культурой речи. Выход в свет книги стихов С. Граховского стал событием не только для поэта, но и для нашей литературы. Редкий случай, когда первая книжка была такой цельной, глубоко продуманной, с отшлифованными строками и строфами. Поэт как-то сразу занял свое, по праву надлежащее ему место в поэзии. И произошло все это настолько естественно и просто, будто было предопределено заранее.

Стихи поэта были написаны в традиционной манере. Он не гнался за новизной формы, не старался найти какие-то невероятные образы и метафоры, которые приводили бы в замешательство не только рядовых читателей, но и поэтических гурманов и эстетов. Стихи его были прозрачными, доходчивыми, несложными по своему построению и художественному исполнению. Чаще всего С. Граховский обращался к природе, годам своего детства, затрагивал волнующие явления современной жизни, писал и любовную лирику. Кажется, что поэт постепенно забывал о прошлых кошмарах, с головой входя в новые заботы и творчество. И вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучало разоблачение культа личности Сталина, потрясло страну и особенно тех, кто был незаконно репрессирован. Появилось произведение «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, рассказы В. Шаламова, разоблачающие лагерные преступления, стихи А. Жигулина, воспоминания и мемуары военачальников и дипломатов. Не мог молчать или говорить вполголоса и С. Граховский. Какие из его стихов на тему лагерной жизни появились первыми, сейчас сказать трудно. Но особенно запомнились строчки, в которых поэт с определенной долей иронии говорит о своих перипетиях не только на «зоне», но и об отношении к нему тех, кто сопровождал его везде и всюду:

Мяне выхоўвалі,
Мяне захоўвалі,
Я то з'яўляўся, то знікаў,
Мяне вадзілі
І ахоўвалі,
Хоць я нікуды
Не ўцякаў.

Мяне ўзважвалі і мералі,
Здымалі

Ў профіль і анфас,
Але ні разу
Не праверылі
Душы наяўнасць
І запас.

Это стихотворение стало в творчестве поэта почти программным, настолько емко, афористично и удачно сказал он о том, что годами жило в его душе, не давало покоя, заставляло просыпаться среди ночи и убеждаться, что во сне его посетили очередные кошмары. Не сразу, а со временем обратился поэт и к судье, который отмерил ему когда-то десять лет лагерей:

Васіль Сымоныч Карпік,
Ну, як жывецца вам?
Ці атрымалі карпа
І балычка з тых крам,
Што ў тупіках схаваны,
Без шыльдаў і вітрын
Для важных і абраных
Чыноў і велічынь?

Как чувствовал себя этот жалкий Карпик, читая стихотворение, не известно. А может быть, он не дожил до появления стиха в печати, ушел в мир иной по старости лет или же попал, как и некоторые его коллеги, в ГУЛАГ и сгинул. Был случай, когда Граховский встретил в лагере одного из бывших тюремных служак. Следователи докладывали ему о том, выбили ли они из очередного подследственного признание вины или оплошали. Так вот этот начальник, что сотнями отправлял в лагеря, сам очутился за колючей проволокой и, согнувшись в три погибели и пуская слезы в три ручья, просил зека Граховского, как старожила, помочь ему. И что вы думаете? Бывший подследственный помог своему «благодетелю» всем, чем только мог. Таким человеком был С. Граховский. Может быть, доброта и помогла выжить ему в нечеловеческих условиях. Не чувствуется злобы и в стихотворении, где говорится о судье-сатрапе. Поэт знает, что виноват не Карпик, который давал ему срок, а система, которую обслуживал этот иуда. В заключение поэт обращается к нему: «І не хавайце вочы, відаць, хто вы такі... Скажыце, вас уночы не будзяць мерцвякі?»

Есть среди стихов и поэм Сергея Граховского и другие, не менее удачные произведения, изобличающие различных сатрапов и любителей балычков, которые пахнут «человечиной». Но поэт не зациклился на этой теме, не сделал ее главной в своем творчестве. Он выговорился, очистил, что называется, душу от скверны и немного успокоился. В республике начинались стройки всесоюзного значения. Возводился Полоцкий нефтеперегонный завод и Гродненский азотно-туковый комбинат, строилась Березовская ГРЭС. Поэты ехали в командировки, изучали работу лучших бригад и создавали поэтические репортажи. Конечно, отозваться высокохудожественными произведениями на рабочую тему мало кому удавалось. Репортажи в большинстве случаев получались барабанные, поверхностные, без малейшего проникновения в душу и характеры молодых современников. Поехал на стройку и С. Граховский. Чем она заинтересовала его? Рабочими-ударниками, романтикой и внешней экзотикой? Он неделями и месяцами жил на строительстве Полоцкого нефтеперегонного завода и написал стихи, представляющие собой своеобразный лирический дневник, в котором нашли

отражение его раздумья, радости и тревоги, а также и гордость за молодое поколение и республику, которая становилась индустриальной. В стихах чувствуется пульс времени, тесная связь и единение с родной землей. Поэт воспевает и прославляет рабочий героизм и рабочие будни, которые входят особыми страницами в летопись знаменитого уголка нашего края, где жила просветительница Евфросиния Полоцкая. В лучших строках поэта далекое прошлое соединяется и переплетается с днем сегодняшним. Но современным реалиям поэт уделяет больше внимания, чем прошлому. Это и понятно! Идет невиданное строительство на берегах Западной Двины. Поэту дороги молодые современники, приехавшие на строительство со всех концов нашей республики. Нелегко приходится строителям. Им надо не только возводить новые дома и корпуса, но и учиться:

Гартаюць ля акна дзяўчаты
Падручнікі па сапрамату:
У кожнае свае разлікі —
Сягоння трэба здаць залікі.

А заўтра новы дом здаваць
У лік наступнага квартала.
І кожным нервам адчуваць
Супраціўленне матэр’ялу.

Эти две строфы взяты из добротно сделанного, хорошо сработанного стиха, посвященного нефтестроевцам. Читателю интересно проследить: а что же будет в произведении дальше? Стихотворение заканчивается следующими словами: «Нашчадкі будуць вывучаць, з якога мы матэрыялу». Что имел в виду поэт? Скорее всего, одно: советская молодежь — особая молодежь! Она будто скроена из какого-то такого материала, что ей нипочем огонь и холод, бураны и ураганы! Эти сентенции в духе песни военных времен: «Русского пуля боится, русского штык не берет!». Не изменило ли здесь чувство меры требовательному и всегда взыскательному к себе поэту? Не лучше ли было поэту говорить о душах нефтестроевцев, о том, что давало им силы преодолевать невероятные трудности. Но, в конце концов, к чему эти замечания? А к тому, что, может быть, поэт «обрюзг и одрях»? Нет, ничего подобного с ним не случилось! Он по-прежнему оставался чутким к чужому несчастью и беде, возмущался любой несправедливостью, происходившей в его присутствии. Нередко брался за перо. Например, стихотворение о плачущей женщине:

Жанчына плача на прыпынку,
А ёй не робіцца лягчэй,
Хоць і бягуць, бягуць слязінкі
З яе заплаканых вачэй.

Остро ставится в стихах Сергея Граховского экологическая проблема, которая ныне в полный рост встает перед жителями всей планеты и требует неотложных решений и действий. Например, ядерное загрязнение окружающей среды. Защита жизни на планете — вопрос не завтрашнего, а сегодняшнего дня. По сути, мы живем в аду, не зная, какие продукты и какую воду употребляем, чем дышим, от чего наши болезни и недомогания. Мало полезного делается и для уничтожения радионуклидов. Ко всему этому, находятся горячие головы, призывающие использовать в сельском хозяйстве загрязненные земли. Об экологической угрозе, ужасающем состоянии наших рек, озер

говорит Граховский. Публицистическая заостренность и страстная интонация придают разговору актуальность и современность ее звучания:

Крыніца захлынулася ў прадонні,
Пяскі забілі гарлавіны рэк,
На берагі Пцічы і ціхай Проні
Бязлітасна ступіў суровы век.

Как известно, после хрущевской «оттепели» кремлевский барометр начал показывать похолодание. Это не могли, конечно, не почувствовать многие, в том числе и С. Граховский. Он помнил, как его арестовали во второй раз и отправили в сибирскую ссылку. Он не опускал рук, но вел себя крайне осторожно и был готов к любому повороту судьбы. Не о тех ли днях пишет поэт в своем последнем эссе, похожем на исповедь, отрывки из которого мы уже приводили выше: «Дважды порывался выступить в прошлом году на пленумах Союза писателей, но так и не хватило смелости. Причины различные. Время от времени оглядываюсь: давнишний патологический страх пугает и теперь. Не много ли это? Можно ли так? Вся страна изучала «трилогию», неизвестно кем написанную, ее сразу перевели на все языки и издали массовыми тиражами (три книги Л. Брежнева. — В. М.). Умные и уважаемые люди произносили такие панегирики, что честнейшим из них, наверно, и сейчас стыдно за свое криводушие. Они безошибочно целились и попадали в самое яблочко, призывали всех писателей учиться мастерству на примере этой же «трилогии». А как мы научились по десять раз подхватываться на разных собраниях и заседаниях, совмещая политику с гимнастикой». Не эти ли переживания и сомнения нашли отражение и в стихотворении, где поэт говорит о том же самом откровенно и бескомпромиссно:

Уранні, ўдзень і па начах
На люднай вуліцы і дома
Нязводны страх, пякучы страх
У скроні б'ецца метраномам.

Машына недзе загудзе,
Магчыма, “хуткай дапамогі”,
Дрыжу, хоць і ніхто не йдзе,
Апроч нязводнае трывогі.

Тем временем в Кремле и во власти произошли очередные изменения, и в стране начался так называемый застольно-застойный период. Но никто уже не мог остановить колесо истории, тем более, повернуть вспять. Разве только замедлить его поступательное движение. Граховский взялся за прозу. Обратившись к прошлому Беларуси, он написал документальную повесть «Рудабельская рэспубліка», по которой был поставлен спектакль, а потом и снят кинофильм. Увидели свет и другие прозаические произведения. Но основным своим занятием он считал поэзию. Лучшим стихам этого периода характерна эмоциональная насыщенность. Но поэтическая эмоциональность С. Граховского не имела ничего общего с чувствительностью, которая у менее опытных поэтов переходит в слезливую сентиментальность. В стихах Граховского она соединена со значительным смысловым наполнением. Помогает этому и умение автора написать стихотворение так, что при чтении возникает впечатление, будто в нем имеется определенный сюжет. Сюжет не событий, а развития поэтического замысла, чувств. На такое способны мастера, пол-

ностью овладевшие секретами своего ремесла и умеющие говорить не о преходящем и временном, а о вечном:

Куды сплываюць твае слёзы,
Што нашы маці пралілі?
З іх сталі плачкамі бярозы
На ўсёй знявечанай зямлі.

Когда однажды попросили А. Ахматову поделиться впечатлениями о творчестве автора заменитой поэмы «Страна Муравия» и книги про бойца «Василий Теркин» — Александра Твардовского, она сказала, что очень уважает поэта, но не в восторге от его стихов, мол, в них нет тайны, которая якобы обязательно должна в них присутствовать. Не известно, знал ли об этом критическом высказывании Твардовский и ответил ли на него. Возможно, поморщился, мол, что знает о настоящей жизни эта дама, продолжающая купаться в салонных воспоминаниях? А может, посчитал обыкновенной завистью? Но Ахматова в чем-то была права. Как будет прав и тот, кто скажет, что в стихах замечательного в общем и в целом поэта Сергея Граховского можно усмотреть тень некой прямолинейности. Читая его стихи, иногда складывается впечатление, что над строками и строфами не нужно задумываться, будто автор высказывает то, что читатель знает наперед. Похожее замечание осторожно и деликатно сделал однажды критик В. Бечик. Как отреагировал на замечание поэт, неизвестно. Но судя по тому, что стихи нисколько не изменились, было видно — поэту поздно переделываться. Он продолжал создавать стихи в том самом духе, стиле и манере письма, как делал это и раньше:

Як мы хлусілі! Як хлусілі!
Па звычцы хлусім і цяпер.
Спявалі Гімн і галасілі,
Калі нас бралі за каўнер.

Нежданно-негаданно подоспела горбачевская перестройка, которую поэт встретил восторженно и с ликованием, уверенный, что возврата к былым временам нет и не будет. Граховский, как и большинство из нас, не знал, во что эта перестройка превратится и чем все закончится. Но время для него было плодотворное. Он написал свои автобиогафические повести-исповеди, может, даже в пику той «трилогии», о которой гневно отзывался. В своих повестях он рассказал о том, что изведал не только в бериевских лагерях, но и когда вышел на свободу и учительствовал в школе, а потом снова был арестован и сослан в Сибирь на вечное поселение.

Представляя тот ад и тернии, через которые прошел Сергей Граховский, невольно сжимаешься и цепенеешь от ужаса и удивления, какие испытания, невзгоды, унижения, дьявольские оскорбления может вынести человеческая душа, нисколько при этом не опуститься, а наоборот, закалиться до такой степени, что, кажется, нет на этом свете уже ничего такого, перед чем бы она не устояла и чего бы не одолела. С. Граховский чем-то похож на античного Антея, которому стоило в минуты слабости дотронуться до земли, как его тело наливалось новой силой, а душа — мужеством. Поэт прожил долгую жизнь. Ему было за девяносто. Он несколько раз перенес инфаркт. Но жажда жизни была настолько сильной, что каждый раз поэт вставал на ноги, вновь брался за перо, вновь пропуская события, большие и малые, через свое сердце, отыскивая нужное и полнокровное поэтическое слово при оценке тех или иных событий и жизненных явлений. Поэт не юлил, не заискивал, не старался

угодить высокому начальству. Он жил, горел, не давал покоя ни себе, ни тем, кто был рядом, делал нужное дело, ошибался, больно ушибался, но всегда вставал, чтобы идти дальше. Поэт в последнем, кажется, прощальном слове признавался, что скажет, когда его «паклічуць архангелы на страшны суд»:

Грашыў я, як і ўсе грашылі,
Хлусні паверыў, як і ўсе,
І д'ябальскай маліўся сіле, —
Лічыў, што радасць прынясе.

В Библии сказано: вначале было Слово. И Слово было Бог. Для Сергея Граховского слово стало судьбой. Словом он исповедовался, ему молился и завещал его, святое и намоленное, своим потомкам, когда говорил о нем в последний раз:

Навекі слова застанецца,
Як жаўранак у сіняве,
І ў свеце рэха азавецца ,
Што Беларусь яшчэ жыве.





СЕРГЕЙ ГРАХОВСКИЙ

Стихи из неволи

Я видела эти самодельные записные книжечки с самого раннего детства. Повзрослела и узнала, что там стихи, написанные отцом в лагере (1937—1946). Равнодушно заглядывала в них, больше любуясь их старинностью, и откладывала чтение «на потом», на «когда-нибудь». Благо, что отец писал и издавался много, выступал по радио и телевидению часто.

А в конце 2002 года это «когда-нибудь» наступило. И я стала искать знакомые книжечки, нашла их далеко не сразу в БДАМЛМ (Вопіс 4, справа 40 — запісныя кніжкі з вершамі). Дома у нас остались после отца 20 русских стихов, которые он сам выбрал. Видимо, считал их лучшими, и они рассказывали об истоках нашей семьи. А всего их было около 80, и еще добавилось несколько написанных после лагеря, уже на «легальных» страницах.

И вот столетний юбилей Сергея Ивановича Граховского (25.09.1913—11.12.2002). Поэт, прозаик, публицист, переводчик, драматург, автор произведений для детей и юношества, блестящий и неутомимый пропагандист белорусской литературы, которую он знал, как свою среду обитания, как семью. Сергей Иванович был знаком практически со всеми белорусскими литераторами 20-го столетия — фундаментального века становления белорусской литературы.

И я, наконец, окунулась в эти книжечки. Они прекрасно сохранились. Стихи записаны аккуратным и экономным почерком, сначала отцом, а потом, с 1943 года, моей матерью. Представить себе, как люди в войну, в лагере могли не только переписать, но и сложить стихи, — черезвычайно сложно. Смертность там в эти годы была сопоставима с фронтовыми потерями. Сверхчеловеческая физическая работа, голод, холод и, мягко говоря, чудовищная антисанитария.

Это был способ сохранить себя, душу, приподнять ее над адом, не дать превратить себя в червя, ползающего по помойкам, или в зверя, готового зарубить соседа. Я не однажды читала, что человек, пробывший в заключении 10 лет, выходит (если выходит) навсегда сломленным. Но из всех правил есть исключения.

Почти все стихи этого периода написаны по-русски. Во-первых, русскоязычная среда («Унжлаг» — посреди России), во вторых, боязнь, что найдут, обвинят в национализме и добавят срок. Даже после лагеря, работая в школе Слуцкого района, отец скрывал, что знает белорусский язык. После 50-го года он по-русски стихов больше не писал.

Стихи, предлагаемые вашему вниманию, — патриотические, лирические и, я бы определила их как стихи-дневники, стихи-письма. Они сочинялись часто в уме, на ходу, на лесоповале, погрузке-разгрузке. Не было возможности у автора работать над словом, совершенствовать форму и рифму. В них нет окружающего ужаса, униженности и безнадежности. Они о красоте, любви, нежности, о жизни, о родине, о надежде. Они писались для себя, для души, для любимых. Ему и в голову не могло прийти тогда, что через 60—70 лет они попадут на страницы солидного, уважаемого журнала, что они придут к белорусскому читателю.

Татьяна ГРАХОВСКАЯ

Моя Беларусь

Уснуть я долго не могу
С бессонницей борюсь,
Я кровь увидел на снегу
И в ранах Беларусь.
Встает над Родиной моей
Из свастики дракон,
И жизнь отцов и сыновей
Поставлена на кон,
Дрожат столетние дубы
На берегах озер,
И плач пастушеской трубы
Зовет на главный сбор.
Горит родная Беларусь,
И, сдерживая стон,
К лесному сходятся костру
Сыны со всех сторон.
Святая истина проста:
Смирить отвагой боль,
И шепчут жесткие уста:
«Радзіма — наш пароль».
Тропинки снегом занесло,
Зарозовела высь,
И мстить за каждое село
Отряды поклялись.
Трещали на морозе льды,
Струился снег в овраг,
Отважных мстителей следы
Не разгадает враг.
Коричнево-кровавый сброд
Развеется, как дым,
И будет мой святой народ
Вовек непобедим.

03.1942 г., 3-й ОЛП

* * *

Стучатся ветры у порога,
И листья падают во тьму.
Скажи мне, как найти дорогу,
Дорогу к сердцу твоему.

Погаснут звезды до рассвета,
И может быть, тогда пойму,
Что песня и признанье это —
Дорога к сердцу твоему.

Я не касался уст устами,
Лишь видел дрожь усталых плеч,

Казалось, мечены крестами
Пути разлук и наших встреч.

Заносит их снегами вьюга,
Я, как в горячечном бреду,
Искал, искал свою подругу,
Но, видно, так и не найду.

В багрянце осени начало,
А в небе звездные пути...
Летели листья. Ты молчала,
Я думал, как тебя найти.

14/IX. 1942 г., 24-й ОЛП

Детство

Где-то в детстве моем комариная бестолочь бродит,
Где-то в детстве моем осыпается розовый сад,
Как надежда, багровое солнце восходит,
Совершая великий священный обряд.
Где-то в детстве моем соловьиная трель начиналась,
И линяли ресницы от зноя июньского дня,
Где-то детство мое пролетело, как робкая шалость,
В конопляном дыму щебеча, улыбаясь, звеня.
Где-то в ветхих сенях серебрится под крышей, как иней,
На изогнутых удочках старая серая пыль,
Только некому думать и вспомнить о сыне
И соседкам рассказывать детства забытую быль.
Где-то плачет весна, и на вишнях, посаженных нами,
Огрубела кора, затянуло травой водоем.
Кто там ходит теперь молодыми густыми садами
И не знает о нас, и не вспомнит о детстве моем?
Это, кажется, только начало суровой дороги,
Но мерещится где-то конец неизвестный ее,
Не в вишневом саду, не на старом отцовском пороге,
Где беспечную песню лелеяло детство мое.
Где когда-то на солнце подсолнухи вяли и зрели,
Под грозою качались крутые поля ячменя,
Где когда-то меня услыхали, впервые узрели
И уже никогда не увидят меня.
Только память моя
Словно тень за бродягою бродит,
Спотыкаясь, цепляясь, идя невпопад.
Начинается день, и багровое солнце восходит,
Позолотой осыпав разросшийся сад.

1—2.05.1944 г.

Предчувствие

Студеные ночи мечтать напролет,
По звездам гадать безымянным,
Что кто-то еще незнакомый живет
Под сердцем твоим неустанным.
И снится тебе голубая весна
И девочка в синем платочке.
Ты тянешься, ищешь, а где же она,
Еще не рожденная дочка?
Под лунным лучом по ресницам твоим
Сползает слеза за слезою.
Не плачь, дорогая: не нам же двоим
Пришлось горевать под грозою.
Пусть розовых ручек бессмысленный взмах,
Пусть первый каприз и улыбка,
Как счастье, придут, и ты скажешь сама,
Что это была не ошибка,
Что это — начало грядущих дорог,
Не пройденных ровно и прямо.
Ты счастье узнаешь, взойдя на порог,
Услышав отчетливо: «Ма-ма!»

Январь 1945 г., Унжлаг, 3-й ОЛП

Колыбельная

Бледные звезды в окне,
Таня пригрезится мне.
Ночь голубая и тишь.
Что ж ты, родная, не спишь?
Падает луч голубой,
Сердцем я вечно с тобой,
Нет у тебя ни тревог,
Пройденных нету дорог,
Мы же с тобой не одни,
Вырастешь скоро и ты,
Сбудутся наши мечты.
Я не свожу с тебя глаз.
Будь ты счастливее нас.
Спи, моя доченька, спи,
Жизнь только не торопи...
Ветер в окошко стучит,
Птица ночная молчит,
Месяц плывет голубой.
Мы неразлучны с тобой.

28/III.1945, 3-й ОЛП Унжлага

Прощание

В мареве оранжевого света
Мы молчим. Проходит все как сон,
И стоят, как тени минаретов,
Вышки часовых со всех сторон.
Мы молчим. Ложится снег на плечи,
Нас накрыла северная ночь.
Разве можно словом человечьим
Нас утешить или нам помочь?
Разве можно вымолить пощаду,
Разве можно это все понять?
Мы молчим. Нам ничего не надо,
Но у сердца сердце не отнять.
Я уйду в глухую ночь и слякоть,
За барьеры страшной темноты.
Зарыдаю, не умевший плакать,
Только так, чтоб не видала ты.

Март 1945, 3-й ОЛП

Сон

Я вижу снег у вашего крыльца,
И за окошком — бледная лампада.
Там подрастает дочка без отца,
Не замечая вьюг и снегопада.
Бушуют ели темные в снегу,
В ветвях шуршат испуганные птицы.
А я не сплю, я сон твой берегу
И не смежаю влажные ресницы.
И, может быть, для счастья твоего,
Которое надежду мне пророчит,
Я берегу и слезы, и огонь
Среди холодной и бессонной ночи.
Быть может, в стужи иль грозу,
Надеясь и мечтая о немногом,
Я верю, что когда-то доползу
К родному незнакомому порогу.
Приду усталым дряхлым стариком,
Глотая слезы горьким комом
И больше не мечтая ни о ком,
Я подойду к ступеням незнакомым.
Не будет ветер елями скрипеть,
А может, вспыхнут свечи на каштане,
За дверью кто-то будет петь,
И это будет выросшая Таня.
Я постучусь несмело, как чужой,
Сюда меня всю жизнь вела дорога.
Ты подойди и двери мне открой,
И приюти, как странника чужого.

Посмотришь ты без радости следа,
Открыв окно в густую зелень сада:
«Вы, гражданин, попали не сюда,
И что вам здесь, не понимаю, надо».
Я молча повздыхаю у окна,
Сочту на шторах выцветшие розы,
И буду счастлив: «Вот она!»
И образ твой застелют слезы.

17/I.1946 г., 3-й ОЛП

Последнее письмо

Т. В. Г.

Прошли дожди, а небо голубое,
Лучи дробятся в капельках воды.
Я шел и шел на ощупь за тобою,
Я звал тебя, искал твои следы,
Не замечал провалов и размоин,
Срываясь, падая, цепляясь и скользя,
Надеялся и был всегда спокоен,
Ведь надо жить, когда и жить нельзя.
Я сам себя обманывал, писал,
Словами нежными моля и называя,
Молил того, кто в темноте бросал,
Сухие губы до крови кусая.
Я звал тебя, а ты была не та,
Хранил твои истлевшие бумажки,
Молчала ты. Я думал — занята,
И осыпались поздние ромашки.
Хотелось мне понять и оправдать
Твое молчание, тебе придумать скидки,
И я, надеясь, шел туда опять,
Где выдавали письма и открытки,
И уходил последним всякий раз,
Не ожидал обычного ответа:
«Да вряд ли есть кому писать у вас».
И начал думать: «Очевидно, нету».
Но мне твердил рассудок: «Не спеши».
Я не спешил, но и не мог дождаться,
А кто-то мне советовал: «Пиши».
И начинал ехидно улыбаться.
Как тяжело остаться одному
Самим с собой и со своей судьбою,
Ненужным низачем и никому,
Забытым и отверженным тобою.
Но это все случается тогда,
Когда нагрянут горе и разлука.
В твоих следах осталась лишь вода,
И стала жизнь непонятой наукой.
А я надеялся, то верил, то гадал,
Готовился к упрекам, укоризне.

Я мало жил, а горя увидал,
Что хватит на четыре жизни.
Припоминал ошибки и грехи,
Но не припомнил, только верил свято,
Как в исповедь, в щемящие стихи,
Припрятанные в обшлагах бушлата.
От одиночества спасаясь, как от смерти,
Не год, не два, а лесять лет,
Я вдруг увидел на твоем конверте
Расплывшийся и пожелтевшиий след.
Дрожали руки. Что же ты писала?
Что ждешь меня, что просишь дать ответ...
А что ты думала, когда меня бросала
И обо мне твердила: «Был, но нет».
Я перечел, и вспомнилось не сразу,
Что ты когда-то тоже солгала,
И слово каждое и фраза
Теперь до боли мучила и жгла.
Я комкаю письмо, я становлюсь как камень.
Зачем теперь забытому оно?
Ведь все ушедшее твоими же руками
Разорвано и сожжено давно.
Судить друг друга строго мы не будем,
Ведь каждый сам себя же осудил,
Обиды и упреки все забудем.
Прости меня, а я тебя простил.

28.04.1946 г., 3-й ОЛП

Ожидание

А снега нет и нет. Шершавая земля
Насквозь промерзла и оледенела,
Ночные ветры ноют и сверлят
И душу, и измученное тело
Глухая ночь: ни отблеска, ни зги,
И этот мрак до боли осязаем,
Он проникает в сердце и виски,
Извилины и вены прогрызая.
Я жду и жду в нетопленной избе,
Почти в бреду, почти в немой горячке,
Тянусь к тебе, мечтаю о тебе,
И все плывет, как в корабельной качке.
Приди в мой сон и двери отвори,
Пусть будет он тревожный и недолгий,
Об осени в рябиновой Твери,
О сквозняке у набережной Волги.
Пусть прошумят кержатские леса,
Промчатся облака, разорванные в клочья,
Приснится робкий смех и чистая слеза,
Уроненная новогодней ночью.
О, эта ночь осенняя долга:

Ни огонька, ни звездных многоточий,
Как молодость в ошибках и в долгах,
И мне спастись от них не хватит мочи.
Мне — горевать до старческих седин,
Прислушиваясь, обещая, веря...
Рассвет бледнеет. Я опять один
У окон, заколоченных фанерой.
Быть может, и глядели на меня
Чужие люди, спрашивали, звали,
Но в их глазах не увидал огня,
И не встречал похожую на Валю.
Опять темно, вновь наступает ночь,
И эта тьма темнее черной ваты.
Лишь только ты сумеешь мне помочь,
Утешить, как утешила когда-то.
Течет слезинкой алая звезда,
И этот мрак разорван ею.
Мне чудится — подходят поезда
С твоим теплом и ласкою твоею.
Быть может, бред горячечный исчез,
И я тебя, как жизнь, схвачу в охапку,
А жизни нам отпущено в обрез,
И та измята, скомкана, как тряпка.
Но мы пройдем сквозь стужи и снега,
Сквозь мелочей неодолимый ворох.
Но только ты одна мне дорога,
И этот мир с тобою только дорог.

21/XII.1946 г., Уречье

* * *

Отсчитывает сердце каждый такт,
Еще удар — и сердце к сердцу ближе.
А может быть, мы встретимся не так,
Как я мечтаю, думаю и вижу,
Быть может, в неустанные смычки
Ударит необузданная вьюга,
И все же воспаленные зрачки
Во тьме отыщут трепетного друга.
И пять шагов навстречу пробежав —
Последние шаги десятилетий,
Восторга крик, к твоим губам припав,
Свою судьбу отыщем на планете.
И только здесь, уйдя в глухую тьму,
У этого пустынного причала
И ты поймешь, и я пойму,
Что это — новой истины начало,
Что у порога жизни мы не так
Мечтали встретить новогодний вечер.
Отсчитывает сердце каждый такт:
Еще удар, еще удар до встречи.

24/XII.1946 г., Уречье



УОЛЛЕС СТЕГНЕР

Принцесса в башне

Рассказы

«Лето — это маленькая жизнь», — бодро распевали когда-то под гитару наши туристы, сидя у ночных костров. Эта короткая строчка из песни известного барда Олега Митяева, уже давно ставшая расхожей фразой, невольно приходит на ум, когда начинаешь примерять сравнение ко многим другим обстоятельствам и коллизиям окружающей жизни. К примеру, что мешает нам сказать так: рассказ — это маленькая жизнь? Особенно, если речь идет о хорошем рассказе, написанном, к тому же, хорошим писателем. Таким, как американец Уоллес Стегнер, с творчеством которого читатели журнала «Нёман» уже имели возможность познакомиться на страницах седьмого номера за 2010 год, где была опубликована повесть Стегнера «Записки орнитолога о птицах Западного побережья». Кстати, в предисловии к этой повести обстоятельно изложена и биография самого писателя.

И вот новая встреча с уже знакомым именем. На сей раз, вниманию читателей предлагаются целых три произведения: три коротких рассказа, написанные в разные годы. И каждый из них — это та самая маленькая жизнь, все события которой, несмотря на их абрисность и пунктирность прорисовки, можно легко восстановить и заинтересованно проследить за ними, домыслив все то, что осталось за скобками повествования. Такова уж особенность хорошего рассказа, повторяюсь, хорошего рассказа, написанного хорошим писателем. Он всегда и глубже, и шире тех временных и пространственных рамок, в которые писатель намеренно помещает своих героев.

Впрочем, как сказал однажды Уоллес Стегнер в одном из интервью, «Каждый, кто рожден писателем, просто обречен за свою жизнь написать хотя бы один рассказ». Какое счастье, что сам Стегнер в своем творчестве не остановился на этой сакраментальной цифре один, а оставил после себя целую россыпь замечательных рассказов, большинство из которых еще только ждут своего прочтения на русском языке.

Итак, три новеллы. «Заложник» (впервые была опубликована в 1943 году), «Принцесса в башне» (1954), «В тупике» (1956). Все три отличаются, на первый взгляд, скудностью событий и незамысловатостью самой описываемой ситуации и, тем не менее, долго не отпускают от себя и после того, как перевернута последняя страница. Почему? Да, наверное, потому, что такова специфика талантливой литературы. Ведь, как ни странно, но мы, читатели, чаще всего размышляем не над тем, что написано в книге, а над тем, что осталось недосказанным, что ушло в подтекст и сохранилось лишь на уровне полунамеков и ассоциаций. Возможно, так происходит потому, что именно в эти мгновения любой из нас как бы уравнивается с самим автором, на практике реализуя знаменитый лозунг Иоганна Вольфганга Гёте: «Понимать — это значит быть равным». А, может, это следствие того, что, несмотря на внешнюю малособытийность (как во всех трех, приведенных ниже рассказах), повествование неизбежно накладывается уже на наш собственный житейский опыт, извлекая из глубин нашей памяти схожие ситуации и настроения.

И последнее. Любой, кто возьмется за чтение Уоллеса Стегнера, сразу же безошибочно определит: Стегнер — американец. И не просто американец, а стопроцентный представитель Запада. Недаром при жизни критики называли его «дуайеном писателей западных штатов США». Для такой самоидентификации Стегнеру совсем не обязательно помещать своих героев в реальную атмосферу Запада, как, скажем, в рассказе «Принцесса в башне», действие которого разворачивается в Солт-Лейк-Сити. Короткого обмена репликами между героиней рассказа «В тупике» со случайно встреченным соотечественником на Лазурном берегу Франции достаточно, чтобы понять: перед нами все те же жители американского Запада, земляки писателя, столь дорогие и понятные его сердцу.

И не случайно в одной из статей сам Стегнер так определил этот феномен своего творчества: «Возможно, я не знаю, кто я есть на самом деле. Зато я отлично знаю, откуда я родом. И вообще, у меня обостренное чувство именно места. Пожалуй, все, что я знаю, зиждется на моем личном опыте, а весь мой опыт уходит своими корнями в то место, где я родился и жил».

Что ж, лучше и не скажешь.

Зинаида ЗИМИНА

Заложник

Мальчуган с интересом разглядывал книжку комиксов про дедушку Старого Лиса, которую дал ему посмотреть мистер Ричи, но тут услышал, как негромко щелкнул замок в двери. Он почти инстинктивно сунул книгу под одеяло и, прислонившись к стене, уперся ногами в край койки, крепко обхватив себя руками. Страх почти мгновенно парализовал ребенка, и от этого его собственное тщедушное тельце показалось ему совсем крохотным и невесомым, как пушинка.

Они вошли сюда так, как входили каждый день, с тех самых пор как привезли его в участок. Первым появился мистер Ричи, за ним — детектив из страхового агентства, специально приехавший на свидание с ним из Монпелье. Круглая подвижная физиономия мистера Ричи тут же расплылась в улыбке, и энергично задвигались брови, вверх-вниз, вверх-вниз, на маленьком, почти кукольном личике. Долговязый детектив возвышался за ним как скала. У него был важный вид, но общее впечатление несколько портил красный нос. В руке детектив сжимал носовой платок. Бедняга явно страдал сенной лихорадкой, о чем свидетельствовали и покрасневшие глаза, делавшие детектива похожим на собаку-ищейку. Даже через рубашку мальчишка ощутил неприятную шероховатость грубо оштукатуренной стены. Холодок пробежал по его спине, пока он безмолвно наблюдал за тем, как эти оба вошли и заперли за собой дверь.

Мистер Ричи уселся на стул и хлопнул себя по коленкам.

— Ну, что, Баб? — весело поинтересовался он у мальчика.

Детектив тоже сел и первым делом громко высморкался. Все, как в прошлый раз. Все, как всегда. Через минуту они начнут задавать ему свои дурацкие вопросы. Будут изгаляться над ним, изо всех сил пытаясь подловить или уличить во лжи. Станут буравить его глазами, переиначивать каждое сказанное им слово, отыскивая что-то такое, чего он и в мыслях никогда не держал.

— С тобой хорошо обращаются? — поинтересовался у него мистер Ричи. Его физиономия по-прежнему сияла улыбкой. И глаза весело смеялись под высокими дугами седых бровей. Но впервые мальчишка заметил что-то лисье во всем его облике. А ведь он точь-в-точь, как этот дедушка

Старый Лис из комикса! Просто вылитый Старый Лис! И его физиономия похожа на лисью морду, вдруг неожиданно для самого себя подумал Энди, но лишь молча кивнул в ответ.

— Судя по всему, тебе тюремная жизнь пришлась по вкусу, — вяло пошутил детектив.

Мальчик энергично замотал головой.

— Послушай меня, Баб! — вкрадчиво начал мистер Ричи. — Ей-богу, никто из нас не желает тебе зла. Поверь мне на слово, парень! Все, что от тебя требуется, — это сказать нам правду о том, как начался пожар. И мы сразу же отпустим тебя на все четыре стороны.

— Я уже все рассказал! — слабо пискнул в ответ мальчуган.

— Да, что-то ты там такое плел, это точно. Но вот как насчет правды? — язвительно спросил детектив.

Не сводя с ребенка блестящих, пронзительно голубых глаз, мистер Ричи сунул руку в карман, извлек оттуда сигару, откусил один конец и выплюнул его, потом, пошарив в кармане, достал спичку и, чиркнув ею о ноготь большого пальца, разжег сигару. После чего сделал глубокую затяжку и, выпустив облако дыма, задал следующий вопрос:

— Так, ты считаешь, что то был несчастный случай, да?

Мальчик кивнул в знак согласия.

— То есть ты зашел в гумно с горящей свечой в руке, а тут со страшным шумом вылетели на свет ласточки, устроившиеся на ночлег под крышей. Ты, конечно, испугался, уронил свечу на пол и убежал прочь. После чего случился пожар, да?

Мальчик снова кивнул, нервно сглотнув слюну.

— Ты ведь все время жил на ферме, с самого рождения, не так ли? — подал голос детектив, с тяжелой многозначительностью роняя каждое слово. — И что, до сих пор не знал, что нельзя заходить в сарай, битком набитый сеном, с горящей свечой в руке? Странно! А то, что ласточки всегда летят на свет, тоже не знал? Нужно было вначале погасить свечу, а уже потом лезть в сарай! Не знал разве?

Мальчишка молчал.

— А почему они послали в сарай именно тебя? Да еще приказали взять свечу? — грубо спросил детектив и вперил в него свой тяжелый, немигающий взгляд.

— Просто в доме не оказалось керосина, чтобы заправить фонарь.

— Этот Бранч Виллард, он ведь тебе никто! Никакая не родня! Подумаешь, отчим! — подал голос мистер Ричи. — С чего бы тебе его покрывать, а? Насколько мне известно, он с тобой обращался не очень. Я прав?

Мальчик угрюмо молчал.

— Так он прав? — с нажимом в голосе повторил вопрос детектив.

Мальчик вскочил на ноги, потом снова сел, не проронив ни звука.

— А чего это Виллард до сих пор не удосужился перенести в гумно свежее сено, а? — продолжил сыпать вопросами детектив.

— Откуда вы взяли? Мы все сено снесли в сарай, и уже давно.

— Ну, да! Ну, да! Целых пять мер загрузили. Слышали! Ты уж совсем нас за дураков держишь, парень! Соседи ваши уже давно управились со своим сеном. А у вас еще целый луг в тридцать пять акров гуляет нетронутым. С чего бы это, а?

— Так он не успел там покосить. Занят был, вот и все! — мальчишка подтянул коленки к самому подбородку, по-прежнему вжимаясь в стену спиной. — Он ведь все последние недели пытался сбыть молодняк: телок и бычков.

— Э, нет, мил друг! Не потому он на своей лужайке не махал косой, что телят на базар водил! — детектив громко шмыгнул носом, резко

оборвав пронзительный звук в самом конце. — Зачем, подумай сам, ему сарай, полный сена, если он собрался его спалить? Хитрец твой отчим, право дело! И страховку захотел огробастать, и сено сберечь все, до последней охапки.

Мальчик негромко икнул. На его щеке задергался нерв, и он быстро прикрыл лицо рукой, потом затравленно взглянул на мистера Ричи, словно ожидая от него помощи, но тот молча жевал сигару, отрешенно уставившись в окно.

— Ишь быстрый какой! Так ловко все обтяпал! В жизни не видел таких ловкачей! Это же надо додуматься до такого! Отправить ребенка в сарай со свечой, а потом еще и выдумал, что парнишку напугали ласточки. Это он ведь приказал тебе идти в сарай, так? — детектив снова уставился немигающим взглядом на парнишку.

Мальчик сидел, не шелохнувшись.

— Я спрашиваю, он?

— Да, но...

— И зачем, интересно бы знать, он тебя туда послал?

— Он велел мне принести вилы.

— Вилы? Зачем же ему вдруг понадобились вилы среди ночи? На дворе глаз выколи, темень такая. А ему, вишь, вилы подавай!

— Не знаю.

— Наверное, и вилы решил припрятать на всякий случай. А то, не дай бог! — сгорят, — язвительно хохотнул детектив, откидываясь на спинку стула, чтобы достать из кармана носовой платок.

Мистер Ричи продолжал задумчиво выдувать кольца дыма.

— Не все так просто, Руфус! Не все так просто! — проговорил он после некоторой паузы, глядя прямо перед собой. — Откуда ему было знать, что ласточки так напугают парнишку, и тот в ужасе выронит свою свечу и даст деру?

— Ну, знаешь ли! Когда отправляешь ребенка одного в сарай с горящей свечой в руке, то шансы возникновения пожара пятьдесят на пятьдесят, а то и больше.

Мальчишка бросил благодарный взгляд на своего защитника. Мистер Ричи жил в их деревне с незапамятных пор, работал полицейским. Несмотря на то, что это он привел к ним в дом этого противного детектива, а потом лично препроводил его в отделение полиции и посадил под замок в камеру, все же он был ему роднее, чем все другие. Как-никак, а свой, деревенский. И разговаривал с ним мистер Ричи совсем не так, как этот детектив. Ни тебе грубости, ни подколок всяких. И все время улыбался ему.

— Однако! — мистер Ричи поднялся со своего места и ткнул сигарой в сторону мальчика. — Однако, дружище, нам доподлинно известно, что Бранч Виллард намеренно устроил поджег своего гумна. И ты можешь подтвердить нам это. Расскажи нам...

— Я уже все вам рассказал! Честное слово!

— Ну, раз ты нам все рассказал, тогда мы, пожалуй, пойдем.

Мистер Ричи снова сунул сигару в рот. Детектив поднялся с места.

— Три дня! — недовольно буркнул он. — Целых три дня я торчу в этой проклятой Богом дыре! И что? Все без толку! От мальчишки вам ничего не добиться, это точно!

— А нам от него ничего и не надо! — весело парировал мистер Ричи.

— Тогда какого лешего вы его маринуете у себя?

— Имеем право! — снова расплылся в улыбке мистер Ричи. — Имеем полное право. Он ведь сам сознался в том, что устроил пожар в сарае. Следовательно, у нас есть все основания для того, чтобы задержать его для дальнейших дознаний.

— И что вам за прок от всех этих дознаний?

— Беда с вами, ей-богу! — проговорил мистер Ричи, придерживая открытую дверь и лучезарно улыбаясь мальчику из-за спины детектива. Он даже подмигнул ему, словно только что озвучил шутку, понятную лишь им обоим. — Беда с вами! — снова повторил он. — У вас просто нет ни капли воображения. Иначе вы бы сразу догадались, к чему я веду. А вы знаете, что это такое — поймать преступника на живца?

Он закрыл за собой дверь, следом послышался щелчок от запираемого замка. Мальчик услышал удаляющийся голос мистера Ричи.

— Подумайте сами, что бы вы стали делать, оказавшись на месте Марты Монт. В свое время вы имели несчастье выйти замуж за такого никчемного парня, как этот негодяй Бранч. А тот исхитрился оформить весьма выгодную страховку на случай пожара. И вот в один прекрасный день к вам в дом заявляется полиция и забирает вашего сына в тюрьму, обвиняя ребенка в умышленном поджоге. И сколько времени вы смогли бы вынести такую пытку? День? Два? Конечно, все зависит от суммы...

Голос стал глуше, а через какое-то время и вовсе пропал. Мальчишка оторвался от стены и потянулся. Потом извлек из-под одеяла книжку и тупо уставился на обложку. А что, если Бранч и в самом деле хотел, чтобы их гумно сгорело? Нет, такого не может быть! Не может быть никогда! И все произошло именно так, как он и рассказывал этим двоим. Энди снова стал прокручивать в памяти события той страшной ночи.

Он пошел в сарай со свечой, потому что перед этим Бранч потряс у него под носом пустой канистрой из-под керосина. Энди вспомнил, как он медленно шел по тропинке, крадучись в кромешной тьме, когда не видно, где начинается небо и где кончается земля. И все время старательно прикрывал свечу рукой, чтобы она, — не дай бог! — не погасла на ветру. В ту ночь, как назло, с гор дул такой сильный ветер, холодный воздух волнами обмывал его со всех сторон и несся дальше вниз, по направлению к болотам.

Вот он заходит в коровник, миновал помещение для дойки коров, переходит в ту часть сарая, которая используется под гумно, подходит к лестнице в самом дальнем углу у стены, чтобы вскарабкаться наверх за вилами. Но прежде осторожно ставит свечу на выступ балки, и в этот момент появились они. Страшные твари! Как они стали шумно бить крыльями у него над головой, верещать, тыкать в него своими клювами. Он закричал и в ужасе кубарем скатился вниз и побежал в темноте к выходу, не разбирая дороги, пока не стукнулся в широкие двойные двери. Он даже ногти сломал в кровь, пытаясь побыстрее приподнять щеколду дверного замка. А потом помчался во все лопатки через темный задний двор, увидел освещенное кухонное окно и со всего размаха врезался в заборный столб, не заметив его в темноте. Он ударился о него с такой силой, что, судя по всему, потерял сознание. Потому что следующее, что он помнит, это — мама. Мама склоняется над ним, потом бережно приподнимает с земли и несет в дом. Он помнит, что плакал. Даже тогда, когда в доме появился Бранч, он все еще всхлипывал, и подбородок у него был соленым от слез. Бранч вошел с черного входа и сказал матери, что гумно уже занялось огнем. Видно, убегая, он задел свечу, и она упала прямо на сено.

Так это же был несчастный случай, неумышленный поджог. Все яснее ясного! Откуда ему было знать, что эти ужасные твари, повылезавшие из своих щелей на свет, оказались обычными ласточками? Мальчишка снова содрогнулся от омерзения, вспомнив, как буквально ниоткуда в дымном сумраке полутемного сарая возникло что-то черное, какая-то шуршащая черная масса, которая вдруг со страшным шумом и визгом обрушилась на него. Он захлопнул книжку с комиксами и отбросил ее в сторону.

Интересно, долго ли этот детектив собирается мариновать его здесь, в участке? Но мистер Ричи не позволит ему упечь меня в тюрьму, подумал он с отчаянием. За что? Ведь это был несчастный случай. Разве мистер Ричи допустит, чтобы ребенка посадили за решетку только потому, что случился пожар из-за неосторожного обращения с огнем? Он вспомнил, как однажды случайно стал свидетелем разговора односельчан в деревенской лавке. Мужчины сгрудились вокруг мистера Ричи и весело смеялись, слушая, как тот рассказывал им, как он ловко обвел вокруг пальца одного городского ротозея, недавно поселившегося в их краях. Горожанин купил в деревне корову и привел ее к мистеру Ричи в участок, чтобы убедиться на все сто, что его не надули при совершении сделки. Мистер Ричи внимательно осмотрел корову со всех сторон, потом открыл ей пасть и заглянул туда.

— Господи, ты мой! — воскликнул он в страшном возбуждении. — Да у нее же вверху нет ни одного зуба. Твоя корова сдохнет с голоду через неделю, поверь моему слову. Голову даю на отсеченье!

Дело кончилось тем, что горожанин уступил мистеру Ричи за сорок долларов скотину, за которую только что уплатил сто тридцать долларов. Мистер Ричи авторитетно заявил городскому простофиле, что корова годится разве что на мясо, да и только. Когда же несчастный понял, как его лихо одурачили, то он готов был сквозь землю провалиться от стыда. После того случая он быстро сбыл свой летний дом в деревне и съехал от них.

Нет, кто-кто, а мистер Ричи никому не позволит засадить его в каталажку, это точно! Может, и мама скоро придет на помощь и вызволит его отсюда. Кажется, он все правильно понял. Мистер Ричи тоже ждет, что она вот-вот должна появиться здесь. Но только почему он хочет, чтобы она сама пришла к нему в участок? У мамы дел на ферме невпроворот. Мог бы и сам к ней съездить, если ему так срочно нужно увидиться с нею. Он вспомнил, как мама все время загораживала его, когда мистер Ричи и детектив заявились к ним в дом со своими допросами. Она тогда изо всех сил пыталась защитить сына и не дать увести его. Как она кричала, плакала, как затравленно озиралась по сторонам, словно искала помощи невесть откуда. Мальчишка почувствовал комок в горле и плотно-плотно зажмурил глаза. Две большие слезинки, словно нехотя, выползли из-под ресниц и медленно покатились вниз по щекам.

Он бросился на матрас лицом вниз и, свесив голову, принялся внимательно разглядывать ржавые пружины и даже потрогал рукой металлический остов кровати. Внезапно он замер, напряженно прислушиваясь к долетавшим откуда-то издалека голосам, и тут же снова поспешно сел. Кто-то снова идет к нему.

Дверь распахнулась, и на пороге показалась мама.

— Энди! Мой маленький Энди! — воскликнула она, бросаясь к нему и крепко сжимая его в своих объятиях. Мальчик уткнулся носом в ворот материнской рубахи, и на него привычно пахнуло кухонным дымом.

— Как они тут с тобой обращались? Не пугали? Не делали тебе больно? — зачастила женщина, не сводя с него глаз.

— Они все время хотели, чтобы я сказал, что Бранч умышленно поджег наш сарай.

Мама еще теснее сплела кольцо своих рук вокруг его хрупкого тельца, потом нежно поцеловала сына в макушку и слегка отстранила от себя, чтобы заглянуть ему в глаза. Мальчик заметил дорожки от слез, которые остались на припорошенных пудрой щеках.

— Они хоть кормили тебя тут? Давали что-нибудь поесть? Ты так осунулся. Такой худенький стал.

— Да, они кормили меня, — неопределенно пожал он плечами, не сводя глаз с мистера Ричи и детектива, которые так и остались стоять в две-

рях в выжидательных позах. Но вот мистер Ричи снова весело подмигнул ему. И словно по сигналу, мама сказала.

— Ты не возражаешь, сынок, если я оставлю тебя здесь еще на пару минут, ладно? Мне нужно кое о чем потолковать с мистером Ричи.

— А можно, я с тобой?

— Нет, милый. Посиди пока здесь.

Мальчик увидел, как мать лихорадочно облизала пересохшие губы, с трудом разжимая челюсти, словно они были у нее вставными и грозили вот-вот вывалиться наружу.

— Мамочка! — закричал он. — Не говори им ничего такого! Только ради того, чтобы забрать меня отсюда! Не надо! Они хотят, чтобы я сознался в том, что Бранч специально поджег сарай. Но ведь пожар случился из-за меня, правда ведь?

— Не волнуйся, сынок, все будет хорошо! Я скоро вернусь. Потерпи, пожалуйста, две минутки один. Хорошо, Энди?

Она быстро-быстро заморгала ресницами, пытаясь стряхнуть набежавшие слезы, и торопливо отвернулась от сына. Потом снова повернулась к нему, полуобняла его за плечи и нежно прижала к себе.

— Будь же умницей, Энди! Прошу тебя! Все у нас будет хорошо, вот увидишь. Я скоро вернусь.

Они долго не возвращались, а когда, наконец, вернулись, Энди увидел, что у матери заплаканное лицо. Мальчик медленно встал с кровати. Мать торопливо подбежала к нему и снова обняла его за плечи и прижала к себе.

— Ты возненавидишь свою мать! — воскликнула она, и голос ее сорвался, словно кто-то схватил ее за горло и стал душить. — Да, ты возненавидишь свою маму! Вот это для меня самое невыносимое — знать, что ты меня будешь ненавидеть.

Он прильнул к ее груди и стал жадно всматриваться в ее лицо, которое она старательно отводила в сторону. Мистер Ричи неспешно раскурил очередную сигару.

— Твою маму, сынок, посадят в тюрьму! — неожиданно выпалила женщина.

Энди оторвался от измученного, искаженного гримасой отчаяния лица матери и перевел взгляд на мистера Ричи.

— Все, Баб! В этом деле мы, наконец, поставили точку. Тебе больше нет нужды притворяться и лгать. Твоя мать только что созналась во всем и рассказала нам, как все было на самом деле.

— Но они же там и, правда, были, эти проклятые твари! — закричал он во весь голос. — Эти ласточки! Все так и было, как я вам говорил! Они своими клювами выбили у меня свечу из рук и...

— А потом последовало продолжение! — сказал детектив. — Следом за тобой в сарай явился Бранч и сунул горящую спичку в охапку сена. Он сделал все, как спланировал. Заранее все обдумал, негодяй, чтобы потом свалить вину на ребенка, обвинив тебя в беспечности.

Энди изо всех сил уцепился за рукав материнской жакетки.

— Мамочка! Скажи им, что это — неправда! Он ведь не мог так поступить, правда?

Мать молча покачала головой в ответ.

— Но тебя за что в тюрьму? Ведь это же не ты подожгла сарай! Это — Бранч!

— Я ему помогала, сынок. Ах, боже мой, ты никогда не простишь мне этого, Энди! Но ведь я и в самом деле помогала ему и даже была готова вместе с ним взвалить всю вину на тебя. Я по своей глупости решила, что если полиция не усмотрит в этом пожаре ничего, кроме несчастного слу-

чая, а мы тоже не стали тебя ругать за беспечность или, тем более, выдвигать какие-то обвинения, так все и обойдется. И с тобой все будет хорошо. Разве мы могли предвидеть, чем обернется наша затея? Просто нам ужасно нужны были деньги, сынок. Позарез!

Мальчик облизал губы.

— А почему тогда они не забрали в тюрьму Бранча?

— Он уехал. И я не знаю, куда. Если найдут, его тоже посадят.

Мальчик замер в оцепенении. На него, словно в страшном сне, наплывали лица присутствующих: вытянутое худое лицо детектива, на котором светились красные, как у собаки-ищейки, глаза. Потом он увидел перед собой губы мистера Ричи, небрежно перебрасывающие сигару из одного уголка рта в другой, следом выплыло бледное лицо матери с разводами слез на напудренных щеках. Он вдруг подумал, что тот ужас, который он испытал в ту ночь, еще не кончился. Напротив, он все длится и длится, и нет ему конца. И его снова обступила со всех сторон кромешная тьма, и вот он один, со свечой в руке, снова пробирается к сараю, заходит, пытается вскарабкаться наверх. А потом на него нападают эти чудовища, и он, объятый животным страхом, бежит, не разбирая дороги, останавливается на полпути, оборачивается назад и видит языки пламени, вырывающиеся из открытых дверей сарая. И он понимает, что это он во всем виноват, он учинил пожар. Только он, и никто больше.

Это чувство вины не оставляло его все те три дня, пока его держали здесь, в участке, и к нему в камеру постоянно заглядывали то мистер Ричи, то этот детектив с противными узкими губами, которыми он изрыгал на него столько гадостей.

— Мне так стыдно, Энди! — всхлипнула его мать. — Мне так стыдно! Я готова умереть от стыда, сынок, за то, что втянула тебя во все это.

Мальчик молча сглотнул слюну и ничего не ответил. Материнские слова едва доходили до его сознания, а в голове неотступно продолжала биться одна единственная мысль. И он вдруг подумал, что это, наверное, одно из тех чудовищ, которое так напугало его в ту страшную ночь. А теперь вот оно залетело к нему в голову и машет внутри своими черными крыльями.

— Что же я стану делать? — наконец проговорил он непослушными губами. — Куда мне идти сейчас, мама?

Мальчик перевел свой взгляд на мистера Ричи, и тот немедленно подмигнул ему, широко улыбаясь.

— Мы с твоей матерью уже обо всем договорились, малыш. Ты поживешь у меня. Что я бездушный тип какой? Или у меня нет сердца, и я позволю себе молча глядеть на то, как ребенка вышвыривают вон на все четыре стороны? Останешься в деревне, и будешь жить со мной. Осенью пойдешь в школу. Станешь помогать мне по хозяйству. Думаю, себе на пропитание ты заработаешь. Ну, что? По рукам, приятель?

Улыбка его стала еще шире и еще добродушнее. Его лисья физиономия источала дружелюбие и просто светилась хорошим настроением. И на ней красноречивее всяких слов читалось то, что не было произнесено вслух: «Уверен, мы с тобой отлично поладим!»

Энди уткнулся в материнскую жакетку, не сводя глаз с мистера Ричи.

— Мамочка! — умоляюще прошептал он.

— Мистер Ричи так добр, так добр! — зачастила в ответ мать. — Он сам мне предложил, чтобы ты пожил пока у него. Тебе у него будет хорошо, я знаю! Будь умницей и веди себя, как следует. Обещаешь мне?

Энди неотрывно смотрел на губы мистера Ричи. Вот он поднес к ним руку, извлек изо рта сигару, и губы послушно растянулись в еще более широкой улыбке. Энди смотрел на этого человека неотрывно и не видел

его. Он видел лишь одни улыбающиеся губы. Все же остальное тонуло в тумане. Мальчишка снова вдохнул в себя запах плиты, которым пропахла вся материнская одежда.

— Обещаю, мамочка! — проговорил он, зарываясь еще глубже в ее рукав и гладя пальцами грубую суконную ткань. Потом плотно закрыл глаза и прошептал едва слышно, прямо в сукно.

— Как же я ненавижу его! Ненавижу! И буду ненавидеть всю жизнь!

Принцесса в башне

Автобан, ведущий к Солт-Лейк-Сити с запада, плавно обвил южную оконечность Великого Соленого озера, стремительно пронесся мимо Черной скалы с ее многочисленными отрогами, сделал резкий поворот на север и ушел вперед, оставив в стороне продымленные города с их вечным смогом, гарью и копотью. Еще один вираж, и вот уже перед взором изумленного странника предстают луковичные купола павильона Солтэар, похожего издали на волшебный замок, а потом дорога снова устремляется вдаль. Там, впереди, за выбеленной солью Долиной Соленого Озера, стоит город в окружении гор. Он, этот дивный город, когда к нему подъезжаешь со стороны запада, напоминает прекрасный мираж или даже изысканную старинную фреску. Высоченные шпили башен-небоскребов, огромные дома, деревья, широкие улицы, изрезанные линиями каналов, и все это великолепие упирается в сплошную горную гряду.

Сидя в машине, Кимбалл Харрис подумал, что сейчас похож на водителя из какого-нибудь документального фильма: вот также мчится во весь опор по экрану навстречу зрителям, а кинопроектор постепенно, но неумолимо, затягивает его в свое световое пятно. Наверное, сказывается усталость после напряженного рабочего дня, да плюс еще этот стремительный марш-бросок через пустынное плато. И вот результат. Город кажется ему миражом, и все время не оставляет чувство, что он едет не вперед, а в обратном направлении, как это бывает, когда прокручиваешь назад кинопленку. Но город подступает все ближе и ближе, прямая, ровная автострада, та самая, по которой он еще старшеклассником гонял на своем стареньком облупленном фордике, а на дребезжащих задних сидениях возбужденно и радостно повизгивали его пассажиры и пассажирки. Тогда он тоже мчался только вперед, правда, не по направлению к городу, а стремительно удаляясь от него. Странно, но он почему-то совершенно не помнит, как они, поколесив по всей округе, снова возвращались домой. Видеть перед собой расстилающееся полотно шоссе, за которым на него движется город, — это совершенно новое ощущение. Он не помнит, как это было тогда.

А ведь уже не молод, да и подустал он в последнее время изрядно. Харрис вдруг поймал себя на мысли, что эта поездка с самого начала воспринимается им как некое сакральное паломничество, как путешествие не только в пространстве, но и во времени. Да, сейчас он действительно едет не вперед, а назад. Назад, в собственное прошлое. Мимо промелькнул комплекс аэропорта, потом замелькали ухоженные тенистые парки по обе стороны дороги. Он сбросил скорость, впереди показались первые городские улицы.

А ведь ничего не изменилось за прошедшие четверть века. После пустынных белесых плато этот город по-прежнему поражал буйством зелени и самой разнообразной растительности. И такие же невообразимо широкие улицы, и вода все также струится в канавках вдоль тротуаров. Хороший город, удивительно чистый, дарящий ощущение почти утренней свежести, которая всегда бодрит и веселит. Сделав своеобразный круг почета вокруг памятника Бригаму Янгу, застывшему на постаменте со

вскинутой вперед рукой, Харрис небрежно кивнул ему, словно давнему знакомцу. Да, такое чувство, будто он возвращается к себе домой после долгих и дальних странствий. Он проехал чуть дальше, на свет светофора, потом свернул посреди квартала на боковую улочку, затормозил возле отеля «Юта» и стал осторожно парковаться возле самой кромки тротуара, стараясь не перегородить канавку. Помнится, за блокирование канавок положен штраф. Удивительно, что он все еще помнит такие мелочи.

Швейцар немедленно подхватил его багаж, а посыльный, сев на место водителя, погнал машину в гараж. Все с тем же странно приятным чувством, что время и в самом деле можно повернуть вспять, Кимбалл Харрис вошел в просторный вестибюль отеля. И здесь никаких перемен: зарегистрировался за стойкой для приезжих и поехал на старом, знакомом еще со школьных и студенческих лет, лифте к себе в номер. И номер — точно такой, каким он запомнился ему по годам юности, когда они устраивали в отеле дружеские пирушки во времена Сухого закона. Правда, в те годы ему категорически было противопоказано спиртное из-за обострившейся язвы желудка, но он все равно отправлялся на эти попойки вместе с друзьями, руководствуясь исключительно чувством солидарности с товарищами. Глотал через силу красное кислое вино и тут же бежал в туалет, чтобы выплюнуть его в раковину. Но так приятно было чувствовать себя взрослым мужчиной, посмевшим преступить закон. А потом они все вместе, веселой гурьбой, спускались вниз, в танцзал, к девушкам. И от него совсем уже по-взрослому пахло спиртным.

Харрис в задумчивости потер лоб. Господи, как же давно все это было! Легкомысленная пора юности. Сейчас полузабытые воспоминания о тех днях трогали своей наивностью.

Приняв душ, он, обмотавшись полотенцем, вышел в комнату и взял телефонный справочник. Изящная книжица выглядела такой провинциально хрупкой в сравнении с тяжеленными справочниками Сан-Франциско, что он невольно испугался, что может ненароком повредить ее, и стал бережно переворачивать каждую страницу. А вот и то, что ему надо: желтые страницы, заполненные адресами похоронных бюро. И искомый адрес тут же: 363, Ист-Саут-Темпл. Рядом с главной авеню, следом за Четвертой Восточной улицей. Он попытался нарисовать в воображении знакомую некогда улицу, но отдельные фрагменты, всплывающие в памяти, никак не хотели складываться в единое целое. Помнились только некоторые здания: многоэтажные каменные дома с массивными парадными подъездами и нарядными лужайками, обсаженными деревьями и кустарниками. В одной из таких высоток, увенчанной башней-шпилем, жила Холли.

Да, башня. Трехэтажная каменная башня. Боже мой! Как же давно все это было! Башня, все три этажа которой были заполнены звуками джазовых мелодий в исполнении лучших джазбэндов тридцатых годов. «Любовь не знает возраста», «Колодец одиночества» и прочие хиты тех лет. Запретные книги Хэвлока Эллиса о всяких сексуальных извращениях, Фред Менкен со своими ницшеанскими теориями, стихи вечного бродяги и странника Гарри Кемпа, которого критики тех лет величали «Вийоном нашего времени», скабрезные статейки Фрэнка Харриса. Да было ли все это?

Бередящие душу воспоминания нахлынули на Кимбалла с новой силой. И вот они все снова перед его глазами, словно живые, вся их компания: длинношеие, худые эстеты, провинциальные ценители искусства, сексуально озабоченные деревенские увальни, любовники, снедаемые неутолимым жаром истинной любви. Плюс обязательная пара гомиков, напускающих на себя нарочито порочный вид, будто гордящихся своей ужасной греховностью. А еще художники, запечатлевшие ядовито голубыми красками окружающие пейзажи, фотографы, исповедующие в своем

творчестве модный тогда кубизм, поэты и бунтари, обличители буржуазии, гениальные авторы лелеемых ими же самими прозаических опусов, мечтатели и фантазеры, студенты-заочники каких-то там школ по психоанализу. И вся эта разношерстная и разномастная публика бурлящей толпой заполняла квартиру Холли и толклась день и ночь вокруг ее царственной особы, и каждый из них считал своим долгом сунуть свой любопытный нос в любую щель. Сама же Холли, облаченная в платье из золотистой парчи, напоминала ему то ли Прозерпину, то ли гордую Цирцею. Он вдруг представил себе ее высокую грациозную фигуру, услышал ее переливчатый веселый смех, постоянно звеневший колокольчиком среди всей этой сутолоки, которую, впрочем, она сама же и создавала. Он снова увидел ее блестящие, как воронье крыло, волосы и темно-синие глаза, и массивные кольца золотых сережек в ушах. Как же давно все это было!

Харрис выписал нужный ему адрес и спрятал бумажку в карман пиджака, который, войдя в номер, он небрежно бросил прямо на кровать. Потом оделся и направился в город. Он медленно брел по знакомым улицам, отыскивая глазами знакомые места и подсознательно фиксируя появление новых зданий, и все время сверялся с бумажкой, словно боясь пропустить нужный ему номер дома. Интересно, что меня больше тревожит, задался он мысленным вопросом. Что я не замечу похоронное бюро? Или что пройду мимо дома с круглой каменной башней наверху и не замечу его?

Но вопреки всем своим страхам он еще издали увидел этот дом. Вот он! Конечно же, это он! С мансардой, взметнувшейся к небу, с высокими ступеньками парадного крыльца, со сверкающими латунными табличками на стене возле входа, на которых наверняка значатся фамилии совсем других жильцов. Да, это тот самый дом.

Харрис оглянулся вокруг в поисках дополнительных ориентиров, способных пробудить забытые картинки прошлого. Старые клены и пеканы, которыми раньше были обсажены тротуары, куда-то исчезли, терраса скатывалась вниз в непривычном для глаза обрамлении из нарядных ярко-зеленых газонов. Портик приподняли и выровняли, он больше не болтался над самой головой, а ступеньки крыльца не прогибались под тяжестью веса того, кто по ним ступал. Все было новым и радовало глаз свежей краской. А вот дверь была такой, какой он ее помнил по тем давним годам. Внутри все тоже стало иным. В вестибюле исчезли перегородки, на их месте появилась элегантная лестница с перилами из красного дерева и белоснежными ступеньками, которая стремительно закручивалась вверх. Сами ступеньки на лестнице тоже показались ему выше тех, прежних. Все пространство вестибюля было устлано толстым ковром в темно-лиловых и сливовых тонах. Вместо вечно поскрипывающего под ногами, рассохшегося от времени паркета он почувствовал, как его нога тонет в чем-то мягком и пушистом. Ковер полностью скрадывал звуки шагов. В подъезде приятно пахло свежей краской и цветами.

Некоторое время он внимательно рассматривал лестничный пролет, словно примеряясь к тому, как сейчас станет его преодолевать. Но тут распахнулась дверь комнаты, расположенной слева, и навстречу ему вышел молодой человек. Он слегка склонил голову, тоже влево, и проговорил спокойным приятным голосом:

— Слушаю вас, сэр! Чем могу помочь?

Харрис моментально открутил пленку памяти назад, на те самые восемьсот с лишним миль, которые ему пришлось проделать, чтобы приехать сюда.

— Меня зовут Кимбалл Харрис, — представился он. — Моя тетушка, миссис Уэбб, умерла позавчера. Мне позвонили из интерната, где она находилась в последнее время, и сказали, что тело будет у вас.

— Да, все так и есть. Мы вас ждали, — молодой человек протянул ему руку для приветствия. — Моя фамилия — Макбрайд.

Энергичное рукопожатие, короткий визуальный осмотр посетителя все в той же позе, со склоненной влево головой.

— Вы к нам самолетом?

— Нет, я ехал сюда машиной.

— Из самого Сан-Франциско?

— Я поспал несколько часов в Элько.

— Тогда хорошо! Отдых вам нужен. Такая длинная дорога.

— О, не беспокойтесь! Я неплохо вздремнул.

Такое впечатление, подумал он с усмешкой, что мальчишка спустился к нему прямиком с одной из вечеринок у Холли. Да и то правда! Юноше больше пристало слагать вирши о любви, а не возиться с покойниками.

— Тело вашей тетушки находится в ритуальном зале. Хотите взглянуть? Покойница смотрится очень недурно!

Разумеется, язвительно подумал Харрис. Это ведь по твоей части — сделать так, чтобы усопшие смотрелись как картинки.

— Да, хорошо! — рассеянно проговорил он вслух. — Но не сейчас, чуть позже. Вначале надо уладить все формальности, не так ли?

— Пожалуй, вы правы, — согласился с ним клерк. — Поднимайтесь наверх и пройдем в мой кабинет. Хотите взглянуть на образцы гробов? Насколько я понимаю, у вас на кладбище — свой семейный склеп, да? Тогда процедура погребения не займет много времени. Все будет сделано очень быстро. Мы сами за всем проследим, можете положиться на нас.

Молодой человек широко распахнул двери своего офиса и с достоинством отступил в сторону, пропуская посетителя вперед. Харрис зашел в кабинет.

Со всеми формальностями было покончено в течение нескольких минут. Они встали почти одновременно и замерли в выжидательной позе, разделенные письменным столом Макбрайда, поверхность которого холодно поблескивала в лучах заходящего солнца.

— Сейчас к ней? — вопросительно уставился на него молодой человек.

Ну, конечно же, мальчишке хочется похвастаться результатами своего труда, он жаждет, чтобы его похвалили и воздали должное его стараниям. Наверняка он уже не раз заскакивал в ритуальный зал, чтобы полюбоваться творением своих рук, наподобие того, как это делают декораторы витрин. Те тоже по сто раз на дню выбегают на улицу, чтобы посмотреть, что у них получилось в итоге.

Ох, уж этот юный мистер Макбрайд, настоящий Макс Фактор от похоронной индустрии, визажист по части ритуальных услуг.

— Хорошо, пошли! — сдался Харрис. — Только не надейтесь, что я сейчас зальюсь слезами. Никаких эмоций! Я не видел тетушку двадцать пять лет. К тому же, последние десять лет она была не в своем уме.

Молодой человек торжественно повел его по винтовой лестнице наверх. А раньше здесь тоже не было никакой лестницы, подумал Харрис, ступая по ковровой дорожке, которой были устланы ступеньки. Кажется, раньше здесь располагалась столовая.

— Ваша тетушка лежит как живая, — снова с гордостью в голосе повторил Макбрайд. — Очень хорошо смотрится. Такое красивое умиротворенное лицо!

Ей так не хватало всего этого при жизни, и красоты, и покоя, мысленно ответил ему Харрис и молча вошел в ритуальный зал. Он подошел к столу с телом покойницы. В ногах у нее стояли корзины с хризантемами. Харрис взглянул на женщину и ничего не почувствовал. Усилием воли он напомнил себе, что перед ним лежит его родная тетя, сестра его

матери, последняя из череды близких родственников. Ноль эмоций! Тогда он попытался воссоздать горечь утраты с помощью сентиментальных воспоминаний о давно ушедшем прошлом. Регулярные ужины у тети Маргарет, рождественские визиты к тете Маргарет, тот период в его жизни, когда совершенно неожиданно для себя он нашел приют именно в доме тети Маргарет. Безрезультатно! Восковая фигура, лежавшая перед ним, не стала ему дороже, а имитируемая скорбь не превратила бесчувственное тело в реального человека. Безразличие, с которым он взирал на покойницу, было столь откровенным, что он невольно поймал себя на мысли, что может даже совершенно спокойно анализировать свои чувства и давать им оценку. Неужели у меня совсем нет сердца, подумал он с некоторым раскаянием. Ведь имей он хоть каплю привязанности к женщине, на которую сейчас взирал с таким равнодушием, то наверняка нашел бы в ней и умиротворение, о котором ему говорил Макбрайд, и что-то трогательное в самом выражении ее лица, и ужас осознания того, что ее уже больше нет. Но при всем своем желании, единственное, что он мог констатировать со всей ответственностью, так это то, что тетушку и в самом деле забальзамировали по высшему разряду. Впрочем, скорее всего, она еще при жизни успела превратиться в мумию.

Покойная тетя Маргарет! Да он никогда особо и не любил ее, даже в детстве. А когда же он повзрослел, то редкие контакты с нею и вовсе превратились в докучливую обязанность, не имеющую ничего общего с приятным времяпрепровождением. К тому же, общение с родственницей было всегда сопряжено с немалыми расходами. И вечно она совала свой длинный нос во все его дела. И вот сейчас, глядя на этот заострившийся нос, на обтянутые пергаментной кожей скулы, на бледные губы, всю безжизненность которых не смогла скрыть даже губная помада, он подумал, что для него тетя Маргарет, как была, так и осталась просто посторонним человеком, скончавшимся в возрасте восьмидесяти трех лет. Что ж, с учетом того, какой сложный материал получил в свои руки этот Макбрайд, приходится признать, что он и в самом деле справился с порученной ему работой превосходно.

Харрис снова спустился в холл и стал рассматривать винтовую лестницу. Когда-то там, наверху, квартировала Холли. Вместе с ней жили еще три девушки. Впрочем, их он совсем не помнил. Остальные постоялицы квартиры в башне менялись так быстро, что он не успевал запоминать их имена и лица. Он вдруг вспомнил, как однажды девушки все вместе веселой гурьбой спускались по шатким, скрипучим ступенькам и громко спорили между собой о том, у кого фигура лучше. Заметив его, они вдруг выстроились на лестничной площадке в один ряд, словно артистки кордебалета. Потом приподняли юбки, и каждая стала махать перед ним правой ножкой, требуя, чтобы он немедленно сделал свой выбор и сказал, у кого же из них самые стройные и красивые ноги. Ничего себе задание! Несовершеннолетний Парис и четыре капризные богини, одна лучше другой. Конечно же, он выбрал Холли. А кого же еще?

Макбрайд поджидал его, стоя в дверях своей комнаты.

— Мы здесь все переделали, — вдруг сказал он Харрису как-то невпопад, окидывая взглядом интерьер. — Дом, правда, был в хорошем состоянии. Когда-то он принадлежал серебряному королю из Парк-Сити. Это был весьма респектабельный доходный дом.

Харрис продолжал внимательно изучать ступеньки. Слова молодого человека оставили его равнодушным. Какое ему дело до того, кому принадлежал этот дом тридцать лет тому назад? Какое ему дело до всех этих декоративных перемен, которые они здесь произвели после того, как стали его владельцами? Вон там, наверху, там и правда было кое-что важное.

При мысли о Холли он зябко повел плечами, словно почувствовал какой-то невидимый сквозняк.

— Я бывал в этом доме двадцать пять лет тому назад, — неожиданно признался он клерку. — И даже знавал тех, кто жил в этой башне.

— Вот как? В квартире, выходящей во двор, или со стороны фасада?

— Со стороны фасада. Там еще была такая комната с круглым башенным окном.

— О, да. Она и сейчас там есть. Мы ничего не меняли. Только покрасили стены.

— Скажите, а можно, — начал Харрис и тут же сконфуженно умолк, почувствовав стыд за свое неожиданное ребячество. В самом деле! Он же взрослый мужчина. Можно даже сказать, пожилой мужчина. А он предается всяким нелепым воспоминаниям. Какие-то детские проказы! Нет, больше похоже на шалости старика, пытающегося исподтишка облапать хозяйку дома, пока рядом нет ее мужа. Даже в самом желании снова подняться туда, наверх, было что-то по-детски глупое или по-старчески слабоумное. И, тем не менее, он с удивлением услышал собственный голос, который заявил Макбрайду, что клиент хочет взглянуть на комнату.

— Пожалуйста! — охотно согласился молодой человек. — Только вот, — он замялся. — Дело в том, что там сейчас тоже находится тело одной покойной женщины.

— Тогда... — неуверенно начал Харрис.

— Нет-нет! Если вам так хочется посмотреть саму комнату, пожалуйста. Покойница вполне... то есть я хочу сказать, что она тоже смотрится достойно.

Достойно! Ну и словечки у парня, мелькнуло у Харриса. Воистину профессиональное тщеславие Макбрайда приобрело просто гипертрофированные размеры. С некоторым раздражением Харрис подумал, что для его собеседника все покойники — это лишь законный повод продемонстрировать свое мастерство. И при этом никаких ненужных чувств или расходившихся не в меру эмоций.

— Хорошо, — сказал он, берясь рукой за перила из красного дерева. — Тогда я, с вашего позволения, поднимусь.

Вот и лестничная площадка второго этажа. И дверь, в которую он столько раз стучался, в которую столько раз входил. Здесь тоже повсюду перемены, но, странное дело, чем выше он карабкался по лестнице вверх, тем привычнее становился для него окружающий интерьер: все было знакомо и вполне узнаваемо. Вот только идти становилось все труднее и труднее, словно он преодолевал некое незримое сопротивление духов прошлого, которые взяли его в плотное кольцо и сейчас мешали его продвижению. Ковровая дорожка закончилась на самой верхней ступеньке. Он сделал еще шаг по направлению к двери и замер, напряженно вслушиваясь в тишину. Или это ему уже мерещится? Но он вдруг явственно услышал голоса, звучащие за дверью бывшей квартиры Холли. Сколько же раз он взбегал по этой лестнице тогда, в юности? Сто раз? Двести? Триста? И как долго длилось это наваждение? Год? Два? Он приходил к ней с книгами, бутылками спиртного, со своими рукописями. Но, прежде всего, он являлся сюда с распахнутой настежь душой, с сердцем, преисполненным самыми высокими и чистыми чувствами. О, как же они тогда презирали этот буржуазный город, глядя на него сверху, из окон ее башни, небрежно выплескивая на тротуар остатки содержимого своих стаканов. О, как же они дерзили, как были смелы!

Харрис выжидательно замер перед дверью. Вот сейчас он переступит порог, и они все тотчас же уставятся на него. Вся эта толпа, устроившаяся кто где: кто-то сидит на стуле, кто-то прилег на кушетку, а кто-то примостился прямо на полу.

Он вошел в комнату и замер на пороге, моментально придя в себя. Здесь некому на него смотреть. В комнате лежала покойница, и глаза у нее были плотно смежены. Она лежала на столе с колесиками, а рядом стоял лишь один деревянный стул и табуретка, на которую кто-то предусмотрительно поставил вазу с цветами. В целом, довольно мрачная картина. Харрис поднял голову и машинально глянул на окно. В сгущающихся сумерках последние лучи заходящего солнца вдруг брызнули в стекло и скользнули по тщательно уложенным волосам мертвой женщины.

Какое-то мгновение, наверное, минуты две, он бестолково топтался у двери, не смея двинуться дальше. То ли его останавливал вид незнакомой ему покойницы, то ли какие-то подспудные страхи вдруг с новой силой проснулись в его душе. Нет, надо немедленно взять себя в руки и, хотя бы по памяти, восстановить обстановку этой, теперь уже совершенно чужой ему комнаты, такой, как он помнил ее по давно ушедшим годам.

Вот здесь, за выступом в стене, стояло старенькое пианино. Оно было почему-то развернуто тыльной стороной к комнате и издалека было похоже на висящую детскую люльку. Странные ассоциации, но это было именно так. И всегда кто-то бренчал за фоно, иногда музицировали даже в четыре руки. Вечерами, а по выходным и праздничным дням и с самого утра, комнату сотрясали бравурные звуки музыки и знакомые мотивчики популярных песенок. А в один год на Рождество они даже распевали хором рождественские гимны, сгрудившись всей компанией возле пианино. Именно в то рождественское утро он принес Холли факсимильный экземпляр книги с поэмой Уильяма Блейка «Брачный союз Рая и Ада», бунтарское произведение, полное ассоциаций с их собственной жизнью. Впрочем, при желании, у Блейка можно с легкостью отыскать строки, могущие стать эпиграфом и ко всему их времени.

Но странное дело, сейчас, все еще в нерешительности переминаясь у порога, он вспомнил совсем другой эпизод. Вспомнил и сам удивился. Как можно было в том бедламе, который всегда царил в квартирке Холли, как можно было среди всей этой какофонии звуков и невообразимого шума целоваться? А они, стоя возле пианино и глупо улыбаясь друг другу, именно этим и занимались. Он вдруг вспомнил, как она подняла руки к его лицу, притянула его к себе поближе и стала целовать прямо в губы. Ах, какими нежными и упоительно сладкими были ее поцелуи! Так целуются только по-настоящему счастливые люди. Например, дети, получившие, наконец, к рождеству долгожданный подарок. Всю свою дальнейшую жизнь он потом прожил под впечатлением того поцелуя, ставшего для него своеобразным воплощением и олицетворением всей земной мудрости. Он отправлялся в кровать и просыпался по утрам, ощущая вкус поцелуя Холли на своих губах, и всякий раз вспоминал при этом слова, которые услышал еще совсем юношей. Их буквальную цитату из «Фауста» Гёте обронил в его присутствии один заезжий миссионер из мормонов. *'Das evig Weibliche zeiht uns hinan'.* Как же это будет? *«Вечная женственность тянет нас к ней»*, кажется, так?

Сколько же всего в его жизни было связано с этой башней, в которой обитала принцесса по имени Холли. Бесконечная череда вечеринок, острые дебаты, судьбоносные дискуссии обо всем на свете. Здесь, в этой комнате, они, молодежь, целовались, флиртовали, лгали друг другу, шокировали окружающих своей раскованностью, удивляли друг друга и изо всех сил пытались доставить удовольствие своим любимым. И всегда в центре внимания была Холли, вот здесь, на своем законном месте, возле пианино. А вокруг нее вращались уже все остальные. Поэты, философы, спортсмены, герои эпохи Возрождения, бесстрашные стоики, юные эпикурейцы, жертвы неуемного гедонизма, хорошенькие девушки, как могут быть

прелестны молоденькие девушки в пору своего цветения, юные богини, покоряющие совершенством своих пропорций, художники, творцы, иконоборцы и бунтари, страшно гордящиеся своими пороками, будто они, эти пороки что-то значили для всего остального мира.

Харрис снова почувствовал под своими ногами шероховатую поверхность пола, как тогда, словно и не было всех этих прожитых лет. И снова с головой окунулся в собственное прошлое. Стараясь не шуметь, он направился к окну, но, проходя мимо лежавшей женщины, не удержался и взглянул на покойницу. И даже на какое-то мгновение задержался и стал внимательно изучать ее черты, словно пытаясь прочитать по выражению застывшего лица объяснение тому странному, необъяснимому для него самого желанию снова вернуться в башню.

Самое обыкновенное лицо самой обычной пятидесятилетней женщины. Макбрайд еще не успел нанести на него глянец и заретушировать застывшие черты румянами и губной помадой. Женщина была облачена в простое черное платье, на шее — ожерелье из бусинок в форме цветков тыквы. Такими побрякушками обычно украшали себя представительницы североамериканских индейцев племени наваха. Ожерелье на шее — в этом есть какая-то щемящая правда жизни. Трогательная картина! Наверняка вещица была очень дорога покойной, коль скоро она предпочла не расставаться с ней даже после смерти. И это несмотря на то, что в ее возрасте женщине пристало иметь совсем иные украшения. Впрочем, за всеми этими цветочками скрывается не только девичья наивность. Вполне возможно, за ними тянется шлейф былого безрассудства и даже беспутства.

От покойницы веяло странным холодом, а гнетущая тишина, царящая в комнате, обостряла до предела все ощущения и чувства. Ни малейшего звука извне не проникало сквозь толстенные стены. А когда-то здесь днями и ночами дрынкало пианино, громыхал фонограф, и два десятка голосов горланили одновременно свои речи о всяких космических проблемах мироздания. Почему-то он не помнит, как выглядела эта комната при свете дня. Холли обожала романтический полумрак, а потому окна всегда были завешены живописными драпри из обтрепанной джутовой мешковины. В комнате постоянно горел свет, множество светильников было разбросано по всем углам. Некоторые стояли прямо на полу. Во всяком случае, он точно помнил, что на полу стоял торшер с большим стеклянным абажуром в форме красного шара. И всегда, когда бы он ни зашел сюда, в воздухе витал пряный запах сандалового дерева, и это почему-то вызывало у него ассоциации с китайскими борделями.

Харрис мотнул головой, словно пытаясь стряхнуть с себя наваждение давно ушедших дней. Потом он уселся на подоконник и принялся зачарованно изучать открывающийся из окна вид. Прямо напротив дома, через улицу, — экспресс-мойка для автомобилей с огромной бетонированной площадкой перед гаражами. Внутренние стены помещения отделаны красной плиткой, снаружи все вокруг тоже сверкает и блестит, радуя глаз свежей белой краской. В годы его юности на этом месте размещались курсы по обучению игры в гольф. Множество мужчин без пиджаков, женщин в нарядных летних платьях, молодых пар, сотрясавших окрестности своим громким смехом, бродили по безупречно зеленым лужайкам искусственного газона, оттачивая мастерство гольфистов и старательно пытаясь загнать крохотные белые шарики в небольшие лунки, разбросанные в бесчисленном количестве по всему газону.

— Ты только посмотри на них! — воскликнула однажды вечером Холли, когда они, свесившись с подоконника, вместе пялились в окно, глазея на игроков, снующих по полю в ярком свете прожекторов. — Вот чудаки, да? Когда-нибудь, в один прекрасный день, я возьму и сооружу для

себя миниатюрный гольф-клуб, а всю площадку засыплю щебнем, заполню лунки водой и запущу туда самых настоящих крокодилов. Живых! И установлю повсюду капканы, замаскировав их в песке. А может, лучше запустить в каждую лунку кровожадных пауков, каких-нибудь тарантулов, а? Вот потеха будет наблюдать за тем, как все эти спортсмены станут метить своими шариками в лунки, кишащие всякими кровопийцами!

Не надо бояться жить, вот что важно. Жизнь полна опасностей. И одновременно она все время дает тебе шанс уцелеть. Так вперед! Лови удачу, пока она от тебя не отвернулась. Харрис машинально тронул рукой деревянный переплет рамы и подумал, что сидеть на подоконнике, да еще высовывая голову из окна, — это ведь тоже был своеобразный вызов. А я вот так! И ничего не боюсь! И ничего мне за это не будет! Недаром Холли захотела, чтобы Том Стид запечатлел ее на портрете именно сидящей на подоконнике в ее любимом платье из золотистого бархата.

Скорее всего, портрет был самым, что ни есть, заурядным. А чего еще можно было ждать от какого-то художника-самоучки? Поди, сейчас зарабатывает где-то себе на жизнь, малюя вывески для всяких лавчонок. Или вообще спился и уже умер. Но тогда, в этой комнате, портрет рядом с хозяйкой, на нем изображенной, олицетворял для обожателей Холли всю красоту мира: Лилит, Прекрасная Елена, Гиневра. Словом, прав был старик Гёте, *вечная женственность тянет нас к ней*. Впрочем, вскоре пошли разговоры, всякие слухи, усердно распространяемые менее счастливыми товарками Холли. Девчонкам явно не хватило грации или просто женской чувственности, чтобы привлечь к себе внимание Стида, вот они в отместку и стали распускать сплетни о том, что романтическая любовь, связавшая художника и его модель, крепнет день ото дня, и она уже давно перешла в другую стадию. Дескать, отношения этих двоих зашли так далеко, что где-то в этой комнате прячется еще один портрет, групповой, на котором Стид изобразил себя и Холли в костюмах Адама и Евы.

Ох, уж эти блюстители чужих нравов, да еще из богемной среды. Даже тогда Харрис не очень-то поверил в существование такого портрета. Тем более, обнаженная натура! Однако подобные разговоры задевали его мужское самолюбие. А еще неприятно поразило то, что именно *она* могла опуститься до такого эпатажа!

Отрешенно уставившись в окно, Харрис вдруг с удивлением подумал, что портрет Холли, как, впрочем, и она сама, всегда поражал его не столько золотистым светом, каким-то особым сиянием, исходившим от ее изображения, сколько чистотой и невинностью облика модели. А ведь за этим сияющим щитом скрывалась робкая и неуверенная в себе девственница, дошло до него с большим опозданием. Под маской раскованности и даже вседозволенности пряталась милая девочка, которая просто решила поиграть во взрослую жизнь.

И он снова ощутил на своих губах вкус того незабываемого, по-детски нежного, легкого, как дуновение ветерка, поцелуя, которым Холли одарила его в далекое рождественское утро в этой самой комнате, когда они стояли вдвоем возле пианино. Он резко встал, словно поразившись собственному открытию, и тут же взгляд его упал на покойницу. Да, то была невинность, невинность в самом полном и всеобъемлющем понимании этого слова. Как же он раньше этого не понимал! Холли с легкостью ускользала из хищных объятий своих однокурсников по колледжу, смеясь, уклонялась от случайных поцелуев, ее не трогали страстные признания юных поклонников Фрейда, разогретых собственными желаниями. Она проходила через эту толпу, погруженная в себя, целомудренная, как монахиня, отметая в сторону предложения, которые нескончаемым потоком изливались на нее день за днем, и так, семь дней в неделю. Вот она сидит на подоконнике

в своем золотистом платье и смотрит куда-то вдаль, прекрасная юная дева, сказочная принцесса, заточенная в башне.

Харрис быстрыми шагами пересек комнату и взялся за ручку двери, ведущей в спальню. Ему захотелось снова заглянуть туда, где когда-то был сосредоточен интимный мир Холли. Дверь легко подалась вперед и открылась. Комната была совершенно пуста. Стены, выкрашенные какой-то асептической краской, делали ее похожей на процедурную или на приемный покой в больнице. Сколько же раз он сиживал в этой комнате, когда она болела. Или по воскресеньям, когда она любила поваляться в постели допоздна и даже так принимала своих посетителей. Обычно Холли лежала, откинувшись на подушки, а он читал ей вслух, или что-то рассказывал, или целовал, боясь дотронуться ненароком до ее тела, неловко оттопыривая руки назад. В этой пустой комнате все еще витал дух Холли, слышался ее веселый смех, ощущалась ее жизнерадостность, которой она заряжала все вокруг. Однажды он засиделся у нее далеко за полночь. Было, наверное, уже часа три ночи, и он вдруг осмелел и даже уселся на краешек ее кровати. И немедленно с другой стороны примостился джазовый трубач, мрачный малый, вечно снедаемый любовной лихорадкой ко всем подряд. Так они и сидели, два незадачливых кавалера, по обе стороны постели, и никто из них не хотел уступать или, тем более, оставлять другого наедине с Холли. Всю ночь тогда он читал ей вслух какую-то дурацкую историю о некой сумасшедшей из Монтаны, а вокруг все плыли и плыли дурманящие запахи сандалового дерева.

Что за причудливую мизансцену выстроила тогда эта удивительная девушка! Простуженная, облаченная, словно в панцирь, в нелепую ночную сорочку старушечьего покроя с высоким глухим воротом, зажатая с двух сторон непримиримыми соперниками и поклонниками, глотающая аспирин, запивая лекарство имбирным пивом, и все время подсмеивающаяся над ними. О, что это было за зрелище! Милое личико Холли, покоящееся на белоснежной подушке, было похоже на цветок. И оно было таким невинным, таким чистым. Вокруг нее кипела сумасшедшая в своей абсурдности богемная жизнь, предвестница неких близких и страшных потрясений и катаклизмов, а она оставалась воплощением целомудренной чистоты и невинности. Как все было замечательно!

И вот все в прошлом! И он, и тот унылый трубач, и Том Стид, — всех их разметало в разные стороны неумолимое время. Где они? Что они сейчас? И что случилось со всеми остальными ухажерами Холли, несметными толпами ее обожателей? Все ушли, и все ушло. Она сама услала их прочь. А, может, они и сами разбежались, переругавшись между собой из-за своей принцессы, снедаемые неуемным тщеславием доказать друг другу свое жалкое превосходство. Да, в конце концов, они могли и разобидеться на неприступную даму своего сердца и просто собраться и уйти по одному. Ведь Холли обожала всегда быть в толпе, всегда на людях, всегда вместе с кем-то еще, а это может надоесть даже самому стойкому обожателю. Сколько их перебывало в ее комнате, самоуверенных ловцов, пытающихся поймать в свои сети райскую птичку, но никто так ее и не поймал.

А может? Кто знает?

Память лихорадочно высвечивала дни и ночи, сменяющие друг друга. Весну сменяло лето, на смену ему приходила осень, потом зима... Сколько же ему было тогда? Двадцать? Чуть больше? Наверное, это произошло уже в самом конце того периода, когда Холли проживала в квартирке с башней. Но еще до того, как все в его жизни вдруг перевернулось и пошло наперекосяк, и сплошной полосой начались те самые потрясения, неизбежность которых он инстинктивно предчувствовал все время. Он бросил колледж и пошел работать, а Холли съехала из башни и растворилась в неизвест-

ности. Вот такая история без начала и конца, не привязанная ни к чему конкретному, что запечатлелось бы в его памяти. Чем они занимались в тот вечер? Здесь была вечеринка, как всегда? Она была одна? Или ее соседки по квартире тоже коротали время вместе с ними? Странно, но он ничего не запомнил. Помнит лишь общее настроение, атмосферу какого-то необычного уединения, словно они с ней остались одни на всем белом свете. Редкостное ощущение!

Они, наверное, о чем-то говорили. Да, была какая-то беседа, он точно помнит это. И ее он видит перед собой, словно наяву. Вот она бросается к нему на грудь, вжимаясь изо всех сил лицом в его пиджак, и шепчет, заливаясь слезами:

— Ах, Ким! Гони меня отсюда! Гони меня прочь! Как же я хочу развязаться со всем этим! Раз и навсегда! Иначе это не кончится добром. Пожалуйста, помоги мне, Ким!

Конечно, он был взволнован тогда. И даже больше! Он был потрясен до глубины души. Эти слезы и то, как она прильнула к нему, такая беззащитная и хрупкая. Но игра, в которую они играли совсем по другим правилам, слишком затянулась, и менять что-либо в этих правилах было уже поздно. А потому он лишь рассмеялся в ответ привычным, ничего не значащим смехом и стал шутливо успокаивать ее, бережно гладя тугие кольца смоляных кудрей.

— Ну же, детка! Успокойся! Будь умницей! — шептал он ей на ухо. Какой идиотизм! Какая беспросветная глупость!

На Холли было вечернее платье с открытой спиной. Рука его осторожно скользила по позвоночнику, вверх-вниз, вверх-вниз, и он ощущал под своими пальцами нежный бархат ее кожи. Вот сейчас она отпрянет от него, рассмеется ему прямо в лицо и скажет, что спектакль окончен, что она просто пошутила, и все. Он гладил ее по спине, со страхом ожидая неумолимой развязки, но она продолжала неподвижно лежать у него на груди. Тогда его рука бережно обвила ее и скользнула ниже. И он вдруг с удивлением обнаружил, что касается ее груди. Это стало настоящим потрясением! Какой необыкновенно нежной оказалась на ощупь ее грудь.

Даже память о том мгновении моментально пробудила в нем уже забытую чувственность. Он до сих пор отчетливо помнит эти плавные линии, переходящие в округлости, он до сих пор помнит, как ее тело вначале напряглось, а потом сделалось необычайно податливым и послушным. И внезапно он почти с отвращением вспомнил, какими твердыми и манящими стали ее соски, когда он гладил их.

Да, невинность! До того момента ему еще не приходилось ласкать девушек, *так* ласкать. Конечно, он сотни раз представлял себе, как все это будет. Но то была игра воображения, а на самом деле все оказалось иным. И вообще, все пошло совсем не так, как ему хотелось. Внезапная готовность ее тела ответить на его ласки озадачивала и даже пугала. Ему вдруг стало ужасно неловко и стыдно. С чего бы она так льнет к нему, лихорадочно размышлял он, не выпуская девушку из объятий. Он целовал ее, чувствовал вкус ее слез на своих губах и в испуге озирался по сторонам. А вдруг кто-то увидит, как они тут милуются? И почему-то именно в тот момент он вдруг с каким-то непонятным чувством гадливости поверил в то, что Том Стид нарисовал-таки свой групповой портрет в стиле «ню», и ему моментально захотелось все бросить и как можно скорее уйти из этой комнаты.

Как именно он ретировался в тот вечер? Память не сохранила ни единой подробности, ни мельчайшей детали, по которой можно было бы реконструировать всю сцену расставания. Он помнил лишь тот внезапный порыв чувств, в котором она бросилась ему на грудь, и это все. А еще в памяти удивительным образом запечатлелась увиденная из окна картина:

невысокий гольфист, совсем малыш, если смотреть на него сверху, отчаянно пытается закатить крохотный белый мячик в лунку. А вместо этого он угодил клюшкой в ловушку. Интересно, кишела ли она теми крокодилами, о которых говорила ему Холли?

Харрис плотно затворил дверь, словно отсекая от себя все эти нелепые и унизительные воспоминания прошлого. А он в те годы, надо думать, был весьма экстравагантным юношей. И это ему явно нравилось, льстило его самолюбию. Невинность? Ах, бог мой, какая невинность? В те годы это называли совсем по-другому, более унизительно и грубо. На самом же деле он... Фальшивка, вот кем он был тогда! Будь его воля, он бы лакал виски стаканами, а он лишь послушно позволял себе пополоскать спиртным рот и тут же сплюнуть в раковину. Он только в толпе умел быть героем, кричать, вопить вместе со всеми. А как насчет того, чтобы быть в этой толпе самим собой? Остановиться? Выйти из игры, которая слишком затянулась.

Да, он был слабаком, это правда. И все время пыжился доказать себе, что это не так. Конечно, можно начать оправдываться. Дескать, они все тогда были позерами. А разве та круговерть, в центре которой была Холли, не была абсурдной по своей сути? Да, в той тогдашней жизни было много трогательного и милого, но они взрослели, и с годами сентиментальные впечатления ушедшей юности переставали казаться значительными и важными. Или он обманывает себя? И все это было действительно очень важным, быть может, самым важным в его жизни? Представить себе на минуту, каким он был бы сейчас, если бы тогда откликнулся на страстную мольбу Холли, пожалел бы ее, потом женился на ней и прожил с ней все эти годы? Ведь именно об этом она и мечтала в глубине своего сердца, невинное дитя.

Последний раз он встретился с Холли на вокзале. Она садилась на поезд, следующий в Сиэтл, а оттуда намеревалась выехать в Шанхай, где ей предложили какую-то очень заманчивую и интересную работу. Вслух все в их компании завидовали Холли, но только вряд ли кто-то из них рискнул бы последовать ее примеру и ринуться бог знает куда и бог знает зачем. Что ж, как бы потом ни сложилась жизнь Холли, в любом случае, размеренное и скучное существование ей точно не грозило. Хотя кто знает! Вполне возможно, она тоже зря прожила все эти годы, но просто прожигала свою жизнь более методично и изобретательно.

А он... он прожил так, как прожил, не столько бросая вызов обстоятельствам, сколько подчиняясь их неумолимой силе. Интересно, каким бы он показался Холли в эту самую минуту? А каким он показался ей тогда?

Откуда-то из самых глубин его памяти вдруг всплыла полузабытая строчка из Уильяма Блейка, из его «Пословиц ада». Ведь именно Блейка они читали в то далекое рождественское утро, и оба так пылко восхищались им. Так как это там? *«Благоразумие — богатая и некрасивая старая дева, расположения которой тщетно добивается бессилие».*

Воспоминание вызвало у него краску стыда. Разве это не про него? Ну, или почти про него. Ведомый исключительно благоразумием и житейской рассудительностью он женился на женщине, которую уважал и даже любил. А детей своих просто обожал. И работа ему нравилась. Можно даже сказать, она доставляла ему удовольствие. Так о чем же жалеть? Но вот он стоит в той самой комнате, где когда-то, много-много лет тому назад, Холли внезапно перестала играть в странную игру под названием «угадайка» и сама предложила ему себя, а он ее отверг! И сейчас, заново переживая все то, что случилось тогда между ними, он ясно понимает, что то была самая страшная, самая роковая ошибка в его жизни. Непоправимая ошибка! И не стоит утешать себя всякими пространными рассуждениями о свободе выбора или о том, что, повторись все сначала, и он бы снова поступил

так же. В жизни ничто и никогда не повторяется сначала. А оправдывать себя тем, что когда выбираешь свой путь, то всегда поворачиваешься к кому-то спиной, — это слабое утешение. Прошлое поймало его в свои сети, и он барахтался в них, не зная, как выбраться. И чувствует он сейчас одну лишь боль.

Харрис сердито глянул на часы. Уже шестой час. Решительным шагом он направился к выходу. Проходя мимо покойницы, он снова задержался. Какое у нее спокойное и милое, по-девичьи чистое, лицо. Даже вон веснушки видны. Такие бледные желтые пятнышки проступают на яблоках, когда их хранят всю зиму. Ему вдруг захотелось погладить женщину по щеке. Должно быть, у нее приятная на ощупь кожа. Интересно, как ее зовут? От чего она умерла? Какой была при жизни? Есть ли кому оплакать ее? Кто любил эту женщину? О чем в своей жизни она вспоминала с сожалением? И о чем жалели те, кто ее любил? Наверное, близкие не пришли бы в восторг, если бы им сказали, что какой-то посторонний человек торчит в этой комнате один на один с покойницей. Да еще и так пристально рассматривает ее лицо. Лицо, на котором уже лежала печать смерти, навсегда сокрывшая все тайны незнакомки.

Разве что языческое украшение на шее может сказать что-то о характере усопшей и приподнять завесу над ее прошлой жизнью. Оно такое легкомысленное, это ожерелье, такое радостное, такое жизнелюбивое, что Харрис невольно поймал себя на мысли: а ведь женщина ему определенно нравится. Сочетание унылого черного крепа и веселеньких цветочков, нанизанных на серебряную цепочку, обвившую шею покойной, — было что-то в этом символичное. И даже поучительное. Пожалуй, сегодня ему был преподан самый грустный урок в его жизни.

Скоро покойница попадет в умелые руки Макбрайда и полностью преобразится. Парень сумеет превратить смерть в почти приятное зрелище. И женщина станет такой, как все остальные покойники: отрешенной, далекой и абсолютно невозмутимой. Странно! Харрис вдруг почувствовал прилив жалости к незнакомке. Как хорошо, подумал он с чувством благодарности неизвестно к кому, что я увидел ее такой, какая она есть. И как хорошо, что мы побыли с ней наедине, только она и я.

Да, то была благодарность. Или что-то, очень близкое к ней. Харрис бросил еще один прощальный взгляд на усопшую и сделал шаг по направлению к двери. Но прежде, он в последний раз обвел взглядом пустую комнату, напоминавшую в эту минуту часовню, в центре которой установлено погребальное ложе. Он боялся потревожить ту торжественную тишину, которая витала под сводами башни, и потому двинулся вперед на цыпочках. И, о, ужас! — услышал, как четыре раза громко стукнули его каблуки, ступая по голому полу. А потом звуки шагов утонули в пушистом ворсе ковровой дорожки, которой была устлана лестница.

В тупике

Весь день их упорно преследовало солнце: оно било прямо в лицо и слепило Луиса, пока он, судорожно сжимая руль своего ситроена, шел на очередной вираж. И вот, наконец, когда петляющее между гор шоссе устремилось вниз, солнечный диск с явной неохотой стал клониться долу, а потом и вообще спрятался за кромкой гор. Ослепительно яркий дневной свет уступил место благодатным сумеркам. Ницца же и вовсе встретила их почти вечерней прохладой. Они вихрем промчались по городским улицам и снова выскочили на автостраду, ведущую назад, к Лазурному берегу.

Между тем на море все еще продолжала кипеть жизнь. На горизонте белели яхты, похожие издали на стаи чаек. Ближе к берегу, водная гладь была испещрена бесчисленными дорожками, которые оставляли после себя снующие по заливу колесные пароходики, напоминающие своими проворными движениями водных клопиков. И все же бешеный ритм дня постепенно сходил на нет, сменяясь вечерним покоем, и даже в салоне автомобиля прекратились нескончаемые пререкания из-за всяких пустяков и тоже стало тихо. Машина влилась в сплошной поток автомобилей, мчавшихся в сторону Монте-Карло. Там их ждет ужин, отдых, и можно будет даже пропустить стаканчик, другой, размечтался Луис, искренне обрадовавшись тому, что наконец-то и у них воцарилось молчание.

Он тоже молчал, боясь нарушить хрупкое равновесие временного затишья. Но сама тишина действовала на него, как бальзам. На повороте он поймал в ветровое стекло расстроенное лицо жены и, увидев скорбно опущенные уголки губ, оторвался от баранки и погладил ее по руке. Жена удивленно посмотрела на него, слабая улыбка скользнула по ее губам.

Он слегка подался назад, делая вид, что потягивается, а сам попытался поймать в зеркале выражение лица дочери, сидевшей сзади. Та замерла на своем месте с ледяным выражением лица, которое делало ее похожей на плененную врагами языческую царицу. Это сходство еще более усиливала грива жестких черных волос, нависших над глазами, и густые брови, сердито сдвинутые в одну прямую линию. На фотографиях дочь всегда выходила гораздо красивее, чем была в жизни. Возможно, потому, что на снимках, как и сейчас при мимолетном взгляде на нее в ветровое зеркало, не видно, какая у нее жирная и нечистая кожа на лице. Но ни один снимок не мог скрыть того, что не ускользнуло от его внимания: как всегда, презрительно изогнутые губы и откровенный вызов в дерзком взгляде.

Да, их девочка не блещет красотой, это уж точно. Что, — увы! — создает лишь дополнительные проблемы. Некоторое время он сосредоточенно изучал в зеркале собственное лицо, вспоминая, как только что озадаченно уставилась на него жена. Он вспомнил, как друзья говорили ему накануне их отъезда в Европу: «Тебе можно только позавидовать! Целых три месяца во Франции! Это же такая роскошь! И правильно, что вы берете с собой Маргарет. Замечательно проведете время все втроем. Ей там понравится, и вообще, ей будет хорошо с вами».

С гор потянуло вечерней прохладой. Легкий ветерок, напоенный ароматами Средиземноморья, бодрил и успокаивал. Среди проносившихся мимо деревьев и голых отрогов, то там, то сям, виднелись виллы. Они были похожи издали на причудливые ажурные балконы, прилепившиеся к горным склонам. Он полуобернулся, чтобы получше разглядеть пейзаж, и увидел залитый светом огней Лазурный берег и отели Кап Ферра, четко обозначенные на фоне гор. А дальше уже пошли вереницы белых домиков под красными черепичными крышами, узкая прибрежная полоска, усыпанная серой галькой, и необыкновенно голубое море, которое, казалось, было пропитано насквозь потоками лучей заходящего солнца. Такой свежий и чистый вид, словно все вокруг только что искупали в воде. Пристроившись в хвосте неспешно плетущегося автобуса, Луис продолжал разглядывать выступающий впереди мыс и, забыв на минуту об их недавней размолвке и о том, что они все трое не разговаривают, он вдруг неожиданно для себя сказал вслух:

— Где-то неподалеку, в этих местах, находится вилла Сомерсета Моэма.

Джин бросила на него заинтересованный взгляд. Она прочитала всего Сомерсета Моэма, от первой до последней строчки из того, что было опубликовано. А сзади послышалось то, что он и предполагал услышать. Дочь презрительно фыркнула и подала голос:

— А нам какое дело до его виллы? Мы что, совершаем паломничество по святым местам?

Не давай воли чувствам, тут же приказал он себе и ответил с легкой небрежностью в голосе.

— С чего ты взяла? Никаких дополнительных усилий над собой во время отдыха!

— Просто здесь, куда ни взгляни, везде чья-нибудь вилла, то короля Швеции, то египетского короля Фарука, то герцога Виндзорского, то шикарный дворец, принадлежащий семейству Ага-хана. Все известные личности, значимые персоны. А ты готов умиляться при одном упоминании имени какого-то жалкого писаки. Подумаешь, Моэм!

— По-твоему, я умиляюсь?

— А что дает тебе право говорить о большом писателе с таким пренебрежением, а? — повернувшись вполоборота, спросила жена у дочери. — И уж, коль скоро ты заговорила в таком тоне, то изволь объяснить нам, а чем уж таким необычным, по-твоему, привлекательна фигура египетского монарха?

— Я не говорю, что он — привлекательная фигура.

— И все равно из твоих слов следует, что Фарук — более значительная персона, чем Моэм.

— Ну, знаешь ли! Не так-то уж и трудно быть значительнее Моэма!

Маргарет демонстративно отвернулась к окну, давая понять, что не намерена продолжать эту бессмысленную дискуссию, и вперила равнодушный взгляд в проносившиеся мимо деревушки, разбросанные высоко в горах. Луис на мгновение разжал руки, лежавшие на баранке, потом снова сплел их воедино и, нажав на газ, пошел на обгон автобуса.

Сделав очередной поворот, они выскочили на прямой отрезок автострады, идущей вдоль гавани. Вдали, у самой кромки горизонта, застыли грациозные силуэты трех эсминцев. Красивое зрелище, ничего не скажешь! На пирсе было полно фигурок людей, облаченных в белую военно-морскую форму.

— По-моему, это американцы, — сказала Джин.

— Да! Я читал в газетах, что наш Средиземноморский флот собирается зайти с дружеским визитом в здешние порты.

Луис замолчал, напряженно вслушиваясь в ответную реакцию у себя за спиной. Но никаких возражений не последовало, и он перевел вздох облегчения. Впервые дочь оставила его слова без своих обычных презрительных комментариев.

Она молчала и всю оставшуюся часть пути, пока они снова карабкались вверх, потом спускались с горного перевала, проехали мимо еще одной бухты, в которой тоже стояли на якоре два эсминца, один крейсер и один танкер. Постепенно горная гряда стала уступать место городским ландшафтам. За окнами замелькали предместья города, раскинувшегося широким полукругом на прибрежных скалах и увенчанного на самой вершине старинной морской крепостью. Внезапно Луис резко крутанул баранку и на полном ходу свернул в узенькую улочку, плавно сбегающую к морю.

— Куда мы едем? — с недоумением уставилась на него Джин.

— Я подумал, что мы вполне можем поужинать где-нибудь в городе вместо того, чтобы в такую рань тащиться прямо в отель.

Жена бросила на него еще один удивленный взгляд, но промолчала. Наверное, мелькнуло у него в глубине души, Джин думает то же, что и он: все, что угодно, но только не возвращаться в номер, где они останутся один на один со своим проблемным чадом.

Безрадостная перспектива, от одной мысли о которой моментально пропадало всякое настроение. Он тоже молча припарковал машину и

распахнул дверцу. Маргарет всегда доставляла им кучу забот, особенно в последнее время. Такое впечатление, что она всерьез вознамерилась доконать их своими непрекращающимися выбриками. Дочь словно мстит им, сама не зная, за что, постоянно впадает в ярость из-за малейшего пустяка и тут же готова сорваться на крик по любому поводу.

Луис искоса взглянул на нее. Платье измялось на спине и сложилось в складки на бедрах. Да, бедра слишком широкие, и лицо слишком грубое для юной девушки, и волосы чересчур черные, и кожа жирная, пористая. Некрасивая девочка, тяжело вздохнул он про себя, почувствовав какое-то внутренне опустошение, как это бывает при мысли о том, что жизнь не удалась.

Но в чем моя вина, спросил он себя, мысленно адресуя вопрос дочери. Разве это я виноват в том, что ты родилась такой некрасивой? Разве родители, вымаливающие у небес дитя, а потом лелеющие его, повинны в том, что дитя появилось на свет таким, каким появилось? Или это плата за то, что оно появилось? И ты бы вовсе не хотела родиться? Так в чем же провинились мы с матерью? И почему, занимаясь твоим воспитанием на протяжении восемнадцати лет, мы так ни в чем и не преуспели?

Луис почувствовал щемящую жалость и одновременно любовь к этой строптивой девчонке, своей дочери. Поочередно подав руку спутницам, он помог им выйти из машины. Но, едва ступив на тротуар, Маргарет тут же резко выдернула руку и пошла вперед, в сторону набережной, даже не взглянув на родителей. Она молча брела по улочке, рассеянно рассматривая витрины лавок, заглядывая в распахнутые двери кафе и кабаре, откуда доносились оглушительные звуки американского джаза. На улице было полно моряков, в своем большинстве, молодые матросы, которые, оказавшись в увольнении на берегу, тут же ринулись на поиски удовольствий. Было что-то оскорбительно недостойное и в их шумном поведении, и в том, как они громко смеялись, проходя мимо. Луис равнодушно скользнул по этой толпе отрешенным взглядом, словно рассматривал их всех сквозь невидимое стекло. Разумеется, никто из моряков не удосужился даже посмотреть в сторону нелепо ссутулившейся девушки, медленно бредущей по самой кромке тротуара. Впрочем, надо отдать должное Маргарет. Она тоже полностью проигнорировала присутствие своих соотечественников.

Они с женой поплелись вслед за дочерью и вскоре оказались на приморской набережной. С одной стороны — нескончаемая вереница уличных кафе и самых разнообразных магазинчиков, с другой — море. Вода у самого берега, покрытая тонким слоем мазута, казалась маслянистой.

— Господи! — негромко проговорила Джин, глядя в спину удаляющейся дочери. — Она нас скоро загонит в гроб всеми этими перепадами в своем настроении. Во всяком случае, начало путешествия она мне уже отравила. Я почти жалею, что согласилась приехать сюда.

— Думаешь, дома было бы лучше?

Взяв жену за локоть, Луис повел ее в сторону кланяющегося им официанта, стоявшего в дверях кафе, замыкающего улочку. Усаживая Джин за столик, он заметил, что жена почти на грани слез.

— Что будешь пить? — спросил он у нее.

— Все равно. Что хочешь.

— Тогда по бокалу вермута с корицей, да?

— Хорошо.

— Два вермута, — заказал он официанту и тоже уселся за столик.

Некоторое время они сидели молча. По другую сторону мощеной булыжником улицы открывался вид на залив. Им было видно, как мимо, бесшумно скользя по воде, медленно проплыла баржа. Потом она вплотную подошла к берегу и стала швартоваться у пирса. Послышался лязг

цепей, ударяющихся о каменные стены причала. На берегу шумная ватага босоногих мальчишек носилась в салки. Некоторые тут же стали прыгать на баржу, а потом соскакивать с нее. В этот момент к пирсу пришвартовался военно-морской катер, доставивший на берег очередную партию счастливчиков, получивших увольнение. По берегу неторопливо прохаживались два патрульных офицера полиции, внимательно наблюдая по сторонам.

Официант подал аперитив и удалился. Маргарет уже завершила осмотр всех уличных достопримечательностей и, развернувшись, медленно побрела назад.

— Неужели она снизойдет до того, чтобы отужинать вместе с нами? — сказала жена.

Луис неопределенно пожал плечами.

— Думаю, она сейчас придумывает нам очередное наказание.

— За что, хотела бы я знать?

— Ты сама прекрасно знаешь, за что.

На глаза жены снова навернулись слезы, и она бросила на него беспомощный взгляд.

— Господи, но мы-то в чем виноваты? Она ведь страшная грубиянка. Ведет себя с людьми просто по-хамски. Несдержанна, всем грубит, всех ненавидит, и, самое страшное, даже не скрывает своей ненависти. В кого она пошла? Ведь ты же не такой! Да и я никогда не отличалась взбалмошностью характера. Где она только всему этому научилась!

Луис снова пожал плечами и ничего не ответил, всецело сосредоточившись на бокале с вермутом. Он вдруг вспомнил, как мечтал, когда Маргарет была еще совсем маленькой девочкой, о том времени, когда она вырастет и станет взрослой девушкой. И как это будет приятно сопровождать красивую, взрослую дочь в какой-нибудь ресторан. Прелестная молоденькая девушка с ясным, чистым взглядом, а рядом он, ее отец, представительный седовласый джентльмен с безукоризненными манерами. И все вокруг станут любоваться ими и, быть может, даже завидовать пожилому отцу, глядя на то, как нежно они с дочерью любят друг друга, и как им хорошо вместе. Он представил себе высокую стройную красавицу. Вот он стоит рядом с ней, осторожно закутывая ее в вечернюю накидку, и они идут рука об руку, неспешно прогуливаясь по улицам какого-нибудь модного курортного городка, где полно отдыхающих со всего света и где полно всевозможных развлечений для таких хорошеньких девушек, как его взрослая дочь. А потом они вместе заходят в одно из уличных кафе, такое, как это, например, и, лавируя между заполненными посетителями столиками, садятся за один из них, чтобы выпить по чашечке кофе. Опершись локтями о стол, Луис машинально крутанул бокал и, подняв невзначай глаза, увидел перед собой настоящую, не придуманную в фантазиях дочь: бесформенную тушу, похожую на каменную глыбу, со своей обычной презрительной миной на лице, которая приросла к нему, словно маска. Он медленно встал, отодвинул стул, стоявший рядом, и проговорил миролюбивым тоном:

— Присаживайся, Маргарет!

— Я постою!

— Садись, дорогая! Ты же ведь тоже валишься с ног от усталости, — подала голос Джин, но дочь лишь молча измерила ее ненавидящим взглядом.

Луис снова сел, не говоря ни слова. Где-то вдалеке звякнул колокол. Или это пробили склянки на крейсере, замершем у самого горизонта? Следом послышался рев мотора, и катер, развернувшись дугой, стремительно понесся по направлению к крейсеру, рассекая волны по обе стороны. Одна из них разбилась о сонно дремавшую баржу, она тут же встрепенулась и глухо ударилась о каменный причал. Мальчишки радостно завизжали

и стали, словно обезьяны, снова карабкаться на ее борт. Но вот постепенно качка прекратилась, и баржа опять погрузилась в свою дрему. Маргарет неожиданно плюхнулась всем телом на стул рядом с отцом и громко сказала:

— Я хочу выпить.

Луис молча сделал знак официанту, а когда тот подошел, также молча стал наблюдать за тем, как дочь делает заказ. Сам он не рискнул поинтересоваться у нее, что именно она хотела бы заказать.

Маргарет сознательно заставила официанта промаяться секунд тридцать возле их столика, а потом, даже не взглянув в его сторону, небрежно бросила:

— Сухой мартини. Самый сухой!

Официант, загорелый парень с гладким лицом и выступающим на лбу мысиком волос, делавшим его стрижку похожей на парик, с невозмутимостью вышколенного слуги молча принял заказ. Желая хоть как-то загладить грубость дочери, Луис проговорил на своем школьном французском, запинаясь после каждого слова:

— Будьте столь любезны, еще два мартини! И, пожалуйста, меню!

Трудно сказать, тронула ли его любезность, или он презрительно хмыкнул про себя. На его лице застыло непроницаемое выражение, которым он, словно невидимой стеной, раз и навсегда отгородился от всех посетителей на свете.

На город неспешно опускался вечер. В сгущающихся сумерках стали расплываться силуэты фортификационных сооружений видневшейся вдали крепости. Контуры зданий тоже стали размытыми, а конец улочки и вовсе утонул в темноте. Вспыхнули огни на судах, замерших на рейде. Следом загорелись молочным светом уличные фонари, засверкали яркими неоновыми красками освещенные окна витрин магазинов. Между тем катер доставил на берег очередную порцию моряков. Они проворно взбежали на берег и тут же, весело переговариваясь и шумно толкаясь под неусыпным взором патрульных полицейских, выстроились в длинную очередь возле ближайшего обменника. Музыка, доносившаяся из десятков разбросанных по ближайшим улочкам кафе и барам, зазвучала еще громче. Слышнее стал веселый гам и смех посетителей. Вырвавшиеся на свободу матросы энергично рассовали по карманам пригоршни только что наменянных франков и тут же растворились в людском водовороте, слившись с толпами гуляющих на набережной. Разве что белые береты, низко надвинутые на самые глаза, да походка, немного вразвалочку, как обычно ходят по суше моряки, привыкшие к постоянной качке, еще некоторое время позволяла следить за ними в этой разношерстной толпе.

Луис наблюдал за ними с каким-то брезгливым удовольствием. Шумными ватагами морская молодежь устремилась в город на поиски выпивки и прочих радостей жизни. Разбившись на группки по пять-шесть человек, оживленно жестикулируя, и громко переговариваясь друг с другом, они являли собой довольно комичное зрелище для постороннего глаза. Все в одной куче: огромные верзилы и маленькие коротышки, толстые и тонкие, черные и белые, с худыми вихляющими задницами и заплывшими жиром бедрами, и все снедаемы одними и теми же желаниями.

Каких удовольствий ищут здесь все эти юнцы, задался мысленным вопросом Льюис. Какие такие острые ощущения нужны им в новом для них портовом городке? На что надеются, наивные дурачки? Этот древний город принял их в свои объятия с тем же спокойным равнодушием, как принимал всех моряков мира, ступавших на брусчатку его мостовых в последние две тысячи лет. Ведь они ничем не отличаются от тех, других, кто побывал в этих местах много раньше их. И они точно так же бесцельно растранжирят только что полученные деньги и напрасно прольют свое семя в объятиях

местных жриц любви, как это бывало столетиями и до них. Припорошенные пылью веков мостовые, старые, видевшие виды, кровати, передержавшие на себе стольких искателей приключений, они останутся безразличными ко всем излишествам и безрассудным порывам этих мальчишек.

Над заливом начал стелиться легкий туман, воздух стал густым и вязким, а теряющиеся в вечерней дымке здания и улицы сделались похожими на призраки, которые случайно забрели в этот город из давным-давно ушедших эпох.

Джин зябко повела плечами и стала возиться на своем стуле, видно, пытаясь устроиться поудобнее и предаться столь желанной для себя релаксации. Да, больше всего на свете его жена обожает покой и уют. Луис вспомнил, с каким благоговением она смаковала даже самые короткие мгновенья перемирия, случавшиеся под крышей их дома.

— Как хорошо! — выдохнула она, словно прочитав его мысли. — Спасибо тебе, дорогой, за то, что вытащил нас сюда.

Он молча кивнул, не осмелившись поддержать начатый разговор. Не стоит искушать судьбу! Рядом с Маргарет любая беседа и в любое мгновение может стремительно и бурно перерасти в злобную перепалку. Дочь приучила их к постоянному страху. Иногда она напоминала Луису лихого ковбоя, замершего наизготове у самого края арены, где на глазах у сотен зрителей разворачивается кровавое родео и в бешеном отчаянии мечется по полю загнанный бык. И тут она стремительно врывается в круг и под вопли и улюлюканье разогретой публики добивает несчастное животное. Одно неточное слово, один неверный жест, одно лишнее движение, и она набросится на тебя, словно на быка, которого нужно уничтожить.

Однако, к своему удивлению, он услышал, как Маргарет лениво процедила сквозь зубы:

— Все лучше, чем глазеть на этих надутых снобов в Монте-Карло.

Джин метнула короткий взгляд на мужа, в котором заплескалась надежда.

— Так тебе здесь тоже понравилось? — обратилась она к дочери. — Может, нам лучше переехать сюда? — вопросительный взгляд в сторону мужа.

— Может, и лучше! — буркнула в ответ Маргарет.

— Тогда решено! Переезжаем сюда! Здесь и народу поменьше, и туристов не так много.

— Зато полно туристов в морской форме, — решился на короткую реплику Луис.

— О, эти ребята не в счет. Завтра их уже здесь не будет. Давайте переедем сюда завтра утром, а? — жена ласково взглянула на дочь, неуклюже сгорбившуюся на своем сидении, и робкая улыбка тронула уголки ее губ. — Как хорошо! Повеяло вдруг прохладой, и так приятно! Все же Ривьера есть Ривьера! Благодатный край, правда?

— Правда, — неожиданно согласилась с ней Маргарет.

— Ничуть не хуже Парижа, да?

Маргарет даже не шелохнулась, по-прежнему сидела в согбенной позе, неловко скрючившись на стуле. Однако в мгновение ока она превратилась из послушной дочери в мегеру. Эта молниеносная трансформация совершилась буквально на глазах Луиса.

— Опять взялась за свои штучки, да? — окрысилась дочь, метнув злобный взгляд на мать. — Мамочка знает, что говорит! Мамочке лучше знать, что хорошо и что плохо! Зачем тебе Париж, доченька? Лучше полюбуйся на эти красивые кораблики. А какие бравые все эти моряки! Просто одно загляденье! Выбрось ты из своей головки все эти фантазии! Париж! Подумаешь, Париж! Да что в нем хорошего, в этом Париже?

В эту минуту дочь была похожа на разъяренного быка, мчащегося на своего обидчика, не разбирая дороги. Луис, словно зачарованный, наблюдал за разворачивающейся на его глазах сценой. Вот его согбенная дочь расправила плечи и громко закричала прямо в лицо матери:

— Но заруби себе на носу: Париж — это никакие не фантазии! Этот паршивый городок не идет ни в какое сравнение с Парижем, ясно тебе? Да, я все стерплю, я готова отмучиться здесь пару недель, но это ничего не значит! И перестань кормить меня своими дурацкими наставлениями в духе «мамочке лучше знать»! С меня хватит этих разговоров! Я сыта ими по горло!

— Боже! — взмолилась Джин с самым несчастным выражением лица. — Но что я такого сказала? Зачем сразу же устраивать сцену?

Маргарет бросила на нее испепеляющий взгляд.

— Это — не сцена! Это — констатация факта, тебе понятно? И не смей больше сравнивать убогое местечко с Парижем! Плевать я хотела на все твои курортные красоты! А учиться я все равно поеду в Париж! Так и знай!

Подобно бульдозеру, который прет навстречу легковушке на узкой проселочной дороге, дочка в два счета прижала мать к обочине и, как ни в чем не бывало, покатила дальше.

— С тобой вообще невозможно разговаривать! — жалобным тоном простонала Джин. — По-моему, тебе даже доставляет удовольствие грубить людям, изводить нас с отцом своими постоянными скандалами. А что же до твоих абсурдных планов отправиться на учебу в Париж, то, ей-богу, ничего глупее в своей жизни я не слышала.

— Прошу вас, хватит! — взмолился Луис.

В эту минуту к столику подошел официант с меню. Луис сделал заказ на всех троих, даже не поинтересовавшись у жены и дочери, что они хотят. Съедят, что дадут, злорадно подумал он. Хватит с них и эскалопов с овощным гарниром. Во всяком случае, возможности устроить еще один скандал, но уже по поводу выбора блюд, я им не дам.

На улице окончательно стемнело. Ночная мгла поднималась из воды и смешивалась с туманом, опускающимся на побережье с окрестных гор. А между этими двумя завесами мрака колыхалась узкая полоска бухты, расцвеченная холодными всполохами красных и зеленых огней. До них долетал глухой шум прибоя, который служил своеобразным звуковым оформлением всего пейзажа, обрамленного у самой дальней кромки горизонта военными кораблями. Иллюминация всех палуб делала их похожими на рождественские игрушки. Крепость в ярко желтом свете прожекторов тоже казалась сказочной. Да и сам этот приморский городок, закутанный в густую пелену тумана, через которую с трудом пробивались огни уличных фонарей, с утонувшими во мраке стремительно наступающей ночи кварталами, откуда до них доносились звуки музыки и веселый смех, он тоже производил впечатление чего-то ирреального и фантастического. А ведь веселятся все вокруг, подумал Луис. На него вдруг навалилась вся усталость прошедшего дня, и он почувствовал себя страшно одиноким и совсем уже старым.

Право, есть же такие счастливые родители, которым их дети не доставляют никаких хлопот! Невероятно! С самого рождения и до того момента, как их чада вырастают, эти счастливчики испытывают исключительно положительные эмоции. Только любовь и гордость за своих отпрысков, и ничего более. Никаких проблем ни в чем! Их примерным деткам нравится ходить в школу, они не закатывают истерик в шесть лет, не бьют стекла в окнах в восемь лет, не воруют карманные деньги в десять лет и не доводят своих учителей до истерик в двенадцать. Зато другим родителям,

тем, кому повезло в этой жизни меньше, язвительно размышлял про себя Луис, этим бедолагам можно только посочувствовать. Им приходится постоянно консультироваться с всякими разными психологами и психоаналитиками. Выслушивать их нудные лекции о нереализованных способностях собственного дитяти, о неправильных подходах в воспитании, о недостаточной мотивации поступков, о родительской ответственности за конфликтные ситуации в семье и десятки других рекомендаций касательно того, как создать дома атмосферу тепла и уюта, в которой ребенок чувствовал бы себя в полной безопасности.

Безопасность! Уют! Своей дочери они дали все, что можно, и даже более того! За это она их и изводит сейчас, готова уничтожить по любому пустяку. Ненавидит и собственных родителей, и весь мир заодно. Мимолетный взгляд на дочь сообщил ему, что бульдозер разворачивается в его сторону.

— А ты что скажешь? — требовательно поинтересовалась у него Маргарет.

— О чем?

— О Париже!

— Но Маргарет, дорогая! Прояви же хоть каплю благоразумия! Зачем тебе этот Париж? — дрожащим голоском пролепетала Джин.

— Я хочу изучать там искусство! — дочь вперила в отца тяжелый немигающий взгляд.

— Послушай, Мэгги! — начал он примирительным тоном. — А ты уверена, что у тебя есть талант к изящным искусствам, а? Что-то я не припомню, чтобы во всех тех школах, которые ты посещала, хотя бы один учитель рисования похвалил твои работы.

— Что они понимают в искусстве, эти мазилы! Разве они могут распознать чужой талант?

— То есть ты хочешь сказать, что сама распознала в себе талант?

— Нет! Ничего я не распознала! Я даже никогда не занималась живописью всерьез.

— Вот! — воскликнула жена торжествующим тоном. — И я о том же! Абсурд!

— А я разве чем-нибудь занималась всерьез? — продолжила Маргарет, оставив без внимания реплику матери. Луис увидел, как она сердито поджала губы, как вспыхнули в глубине ее глаз зловещие огоньки. — Да я и вообще ничем не занималась, по большому счету! Может, я и в самом деле гроша ломаного не стою, это правда. Но, правда и то, что я — единственная девочка в школе, которую включили в состав команды по спортивной стрельбе. И я на соревнованиях разделала под орех этого задаваку Герхарда. Помнишь? А когда я захотела попробовать себя в журналистике, то тоже с легкостью переплюнула всех этих надутых индюков, вообразивших себя уже совсем взрослыми писаками. Я была лучшим редактором школьной газеты, разве не так?

— Ну, у тебя было полно и других достижений! — согласился с дочерью Луис, а про себя с горечью подумал, что ни одна из достигнутых побед не доставила Маргарет настоящего удовольствия. Ей просто нравилось побеждать, одерживать верх над теми, кого она презирает или ненавидит. А поскольку его дочь презирает всех, то можно сказать, что в своих победах она шла вперед по чужим костям. И не дай бог встать на ее пути! Раздавит без капли жалости. — И все же, дорогая, подумай сама! Целеустремленность — это одно, а талант — это совсем другое.

— Я веду сейчас речь не о таланте! — отрезала Маргарет. — Шанс — вот что важно! У каждого должен быть в жизни свой шанс. Неужели все эти дуралеи, вся эта бородатая богемная публика, могут похвастаться осо-

быми талантами? Неужели Латинский квартал, по-твоему, кишит одними гениями?

— Так ты, оказывается, тоже хочешь влиться в это стадо баранов?

— Ничего я не хочу! Ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Если у них есть право оккупировать своим присутствием Латинский квартал, то у меня, тем более. Откуда мне знать, есть у меня талант, нет у меня таланта, пока я не попробую себя в деле? Да и потом, я заставлю себя стать талантливой! Ты же знаешь, я могу добиться чего угодно, стоит мне только захотеть.

— Все так, все так, — задумчиво проронил Луис.

— Но что мешает тебе попробовать свои силы дома? — снова подала голос Джин. — В Америке полно хороших преподавателей по живописи. А Париж — это не место для молоденьких одиноких девушек. К тому же, у тебя еще впереди три года учебы в колледже.

— Ах-ах-ах! Молоденькая одинокая девушка! Колледж! Как же! Как же! Ты, мамочка, наверное, забыла, что на дворе уже двадцатый век. Так что хватит пускать слюни по всяким пустякам!

Джин невольно отшатнулась назад. Губы ее задрожали, и чтобы унять эту невольную дрожь, она прикусила нижнюю губу.

— Маргарет! Ты — самая настоящая грубиянка! С тобой просто невозможно разговаривать!

— А ты попытайся! — рявкнула в ответ Маргарет, даже не взглянув на мать. Она вообще ни разу не посмотрела в ее сторону после того, как озвучила им с отцом свое решение. Она продолжала буравить колючим взглядом отца.

Луис принялся бесцельно постукивать ладонью по холодной поверхности мраморной крышки стола, но вовремя спохватился и заставил себя прекратить. Итак, дочь сама загнала себя в угол, это она любит больше всего на свете, а теперь их дитя сладострастно ожидает, когда они с матерью спустят на нее всех собак. И тогда уж она им покажет! Она это умеет! Ее дух крепнет только в отчаянной схватке с врагом.

Стараясь ничем не выдать нервную дрожь, которая сообщилась и его непослушной руке, Луис еще сильнее вдавил ладонь в столешницу и сказал:

— Ты и в самом деле несносна, Маргарет! Прошу тебя, успокойся и не устраивай нам сцен на людях!

Может быть, оттого что он говорил совершенно спокойным тоном, но она вдруг вся обмякла и, откинувшись на спинку стула, принялась пристально рассматривать оливку, плавающую в ее бокале. Покончив с осмотром, она наклонила бокал и проглотила оливку. Появился официант с закусками.

Магнифик! Вдруг само собой пришло ему на память французское слово. Пожалуй, оно точнее всего передает то, что являет собой его взрослая дочь. Она так величественна в своем гневе, и так похожа на героинь античных трагедий. Медея, Клитемнестра, конечно же, леди Макбет. Да, но у всех этих женщин руки по локоть в крови! Они все — убийцы. Неужели и Маргарет кончит тем же? О, господи! Что за чушь лезет ему в голову! Ведь она же — его дочь!

Их взгляды встретились, и неожиданно Маргарет сказала:

— Прости, папа!

Эта неуклюжая попытка загладить свою вину тронула его, и он поспешно ответил:

— И ты меня прости! Я тоже немного погорячился. Но, прежде всего, тебе нужно повиниться перед мамой, я думаю.

— Прости меня, мама! — заученно повторила Маргарет.

Джин молча погладила руку дочери и на ее глаза снова навернулись слезы.

Кажется, они смогут даже отдать должное изыскам французской кухни и отужинать в относительном спокойствии. Во всяком случае, не станут давиться очередным куском, не имея ни сил, ни желания его проглотить. Луис заказал бутылку божоле. Некоторое время все трое довольно мирно обсуждали красивое зрелище, развернувшееся прямо на их глазах. Военный катер, в очередной раз прибыв к берегу, развернулся и взял курс на крейсер, поднимая вокруг себя фонтаны воды, которые моментально вобрали в себя все краски огней вечернего города и тут же обрушили все это пиршество разноцветья снова на воду. Разноцветные брызги сделали кильватерный поток похожим на след метеора. К счастью для них, народу в кафе было не так уж и много. Почти половина столиков на уличной террасе стояли пустыми, что позволяло безо всяких помех любоваться открывающимся видом на гавань. Луису даже показалось на мгновенье, будто они сидят в театре, а перед ними сцена, на которой и разворачивается это фантастическое по своей красоте действо.

Небольшая заминка, возникшая в процессе трапезы, когда с холодными закусками было уже покончено, а эскалопы были еще только на подходе, позволила Луису как бы подвести черту под их недавним довольно жарким спором. Он вполне определенно озвучил свои мысли насчет того, как именно он понимает право каждого воспользоваться своим шансом. Кажется, Маргарет поняла, что в своей агрессии она зашла слишком далеко, а потому, воспользовавшись временным потеплением, он решил высказаться напрямую, апеллируя уже не столько к чувствам, сколько к ее разуму.

— Ты же знаешь, Мэгги, мы никогда и ни в чем тебе не отказывали, особенно, если речь идет о разумных и нужных вещах. И впредь тоже не откажем. Но! Только если сочтем, что это действительно пойдет тебе на пользу. А теперь давай начистоту! Согласись, твое желание учиться в Париже, оно похоже на блажь. Ведь у тебя же никогда не было тяги к искусствам, ты не интересовалась живописью и все такое. Да, тебе понравился Париж, ты была очарована им, и у тебя возникло спонтанное желание, можно даже сказать, каприз.

— Никакой это не каприз, папа.

— У тебя есть мозги, ты — решительная и целеустремленная девушка. Вполне возможно, ты даже талантлива. Но ведь тебе же всего лишь восемнадцать. Потерпи пару лет, пока окончишь колледж, а потом, пожалуйста, делай, что хочешь. Я уже не говорю о том, что учеба в Париже будет стоить кучу денег, которых у нас сейчас попросту нет.

— Я не буду шиковать! Обещаю, что буду жить скромно и очень экономно.

— При любой экономии тебе все равно понадобятся деньги.

— Я пойду работать.

— Куда?

— Устроюсь где-нибудь.

— Хорошо! Ты пойдешь работать, а когда же ты станешь заниматься изящными искусствами?

— Вечерами. До работы или после работы. Время всегда найдется, было бы желание. О чем мы с тобой толкуем, папа?

Луис с сомнением покачал головой.

— Знаешь, всему есть предел! Человеческие силы тоже не беспредельны.

— У меня полно нерастраченной энергии.

Между тем на пустой сцене появился первый персонаж, случайный прохожий, вынырнувший откуда-то из темного переулка. За ним шлейфом

тянулись звуки продолжавшегося где-то в глубине дворов и переулков нескончаемого веселья. Человек шел в полном одиночестве прямо по проезжей части абсолютно пустынной улицы. Вот он подошел поближе, и стало видно, что это худенький молодой моряк, судя по всему, из числа тех, кто уже успел в полной мере насладиться первыми часами увольнения на берегу. Парнишка брел по булыжной мостовой, меланхолично свесив голову на грудь. Белоснежный берет был лихо сдвинут на затылок, и черные кольца кудрей густыми прядями падали на лицо. Он шел медленно, сосредоточенно концентрируя все свое внимание на каждом последующем шаге, но даже невооруженным глазом было видно, что парень с трудом держится на ногах. Его все время водило из стороны в сторону и заносило на бок. Тогда он останавливался и начинал балансировать, широко расставляя ноги, словно во время штормовой качки, пытаясь таким образом обрести утраченное равновесие, наконец, обретал его, делал следующий шаг и снова улетал, то влево, то вправо, то стремительно выпадая вперед.

Надо же, подумал Луис, у него, наверное, в коленях шарниры стоят. Вон как лихо вращается во все стороны, словно юла какая. Руки подгулявшего матроса безвольно болтались вдоль туловища, однако он что-то тащил в бумажных пакетах. Парень поравнялся с обменником, и тут же перед ним возникли патрульные полицейские. Они осторожно подхватили его под руки, и мальчишка мгновенно обвис на их руках, словно у него из-под ног выбили почву. Полицейские бережно, словно две сестры милосердия, дотащили морячка до ближайшей стены и усадили его на лавочку. Он прислонился к стене и тут же стал медленно сползать по ней вниз. Тогда полицейские вернулись, выровняли его и снова прислонили к стене.

Через какое-то время из темноты вырулила еще одна компания загулявших моряков. Двое из них вели, точнее, волокли третьего, безучастно болтавшегося между ними. Вся сценка была разительно похожа на то, что часто приходится наблюдать на футболе, когда двое игроков помогают своему травмированному во время игры товарищу покинуть поле и кое-как дотащиться до скамейки с запасными игроками. Увидев патрульного офицера, моряки с радостью устремились к нему навстречу, о чем-то коротко потолковали, после чего перепоручили вышедшего из строя приятеля заботам стражей порядка, а сами, надвинув форменные береты на лоб, поспешно развернулись и устремились в обратном направлении и вскоре растворились в темноте. Эти еще не добрали по части развлечений, подумал Луис. Они еще в поиске каких-то новых, пока неизведанных ими удовольствий. На скамейке остались сидеть лишь две жертвы невоздержанных возлияний, не вполне рассчитавшие свои силы на берегу. Они моментально погрузились в сон под надзором одного из стражей порядка, который, чуть сдвинув бумажные пакеты в сторону, уселся на скамейку рядом с ними, еще раз окинул взором вверенную ему территорию и тотчас же уткнулся носом в какое-то веселое, судя по выражению его лица, издание.

— Какое счастье, что ты у нас не мальчик! — воскликнула Джин с явным осуждением в голосе, обращаясь к дочери. — И что тебе не грозит никакая военная служба. Мне кажется, командиры этих ребят могли бы и построже спрашивать со своих подчиненных. Ведь мальчишки, судя по всему, пробыли на берегу не более двух часов.

— Ну, этого вполне достаточно, чтобы накачать себя до нужного состояния, особенно, если заниматься этим с чувством и с толком, — с улыбкой заметил Луис.

— И все равно, это просто верх неприличия! Напиваться до такой степени в чужом городе и в чужой стране! Как ты думаешь, может, нам лучше вернуться в отель, пока они все тут не довели себя до такой же кондиции?

— Успокойся ты, мама! — раздраженно бросила ей Маргарет. — Ребята отдыхают. Пользуются своей свободой на полную катушку. Что ты от них хочешь? Они провели в открытом море, по крайней мере, месяца два-три. И вот, наконец, ступили на берег. Имеют полное право расслабиться.

— Ну, да! Расслабиться и превратиться во всеобщее посмешище. Могу себе вообразить, что станут думать о нас французы, увидев, как ведут себя эти.

— Ради всех святых! — выкрикнула Маргарет, и глаза ее вспыхнули холодным светом, предвещавшим бурю. Луис глянул на искаженное яростью лицо дочери, выступившее из темноты, но ничего не сказал. За столиком повисло неловкое молчание.

Джин медленно поднялась со своего места.

— Пойду, освежусь в дамскую комнату! — проговорила она неожиданно резко. — Маргарет, ты со мной?

— Нет! — коротко ответила дочь, бесцельно скользя взглядом по пустынной улице со слабо мерцающими в тумане фонарями. Оставшись одни, отец и дочь некоторое время молчали.

— Родительский дом, наверное, для тебя все равно, что тюрьма. Я прав, Маргарет? — спросил Луис у дочери.

— Что? — девушка резко повернула к нему лицо. Несмотря на его хищное выражение, оно в темноте показалось Луису почти красивым.

— Я говорю, что ты стремишься в Париж совсем не за тем, чтобы постигать там азы живописи. Тебе просто нужна свобода. Ведь так?

— Возможно, ты и прав. Свобода — это то, что нужно многим людям.

— Всем этим бородатым дуралеям?

— И не только им.

— Пожалуй! — нехотя согласился с ней Луис и замолчал, не зная, что еще сказать. Несмотря на весь свой вздорный характер, Маргарет все же оставалась его дочерью. И он любил ее, жалел, переживал за то, как нескладно начинается ее жизнь. Он бы отдал все на свете, чтобы помочь ей. Но как? — Ты разобьешь матери сердце, если она узнает, что семейное гнездышко, которое она вила все эти годы исключительно и только ради тебя, кажется тебе тюрьмой.

Маргарет с отчаянием махнула рукой, но ничего не ответила.

— Я бы еще как-то мог понять это твое неуемное желание обрести свободу, если бы имел хоть малейшее представление о том, для чего она тебе нужна, эта свобода.

— Откуда мне знать, зачем нужна свобода, если я понятия не имею, что это такое!

— Но почему Париж? Это так банально — искать свободу в Париже. Это уже почти стереотип. Не думал, что ты купишься на все это.

— Стереотип или нет, а я хочу только в Париж.

— Хорошо-хорошо! — устало вздохнул Луис. — Там посмотрим. Но учти, твоя мать не отступит от своего намерения переубедить тебя, ты ведь знаешь.

А я ведь уже сдался, с удивлением подумал про себя Луис. Трусливо переметнулся на сторону дочери, причем сделал это в отсутствие Джин. Он бросил еще один короткий взгляд на Маргарет. Если их дочь что-то втемяшила себе в голову, то ее уже не остановишь, это точно. Придется уступить! Да и как ее удержать? На цепь что ли привязать? Так она разорвет любую цепь, перегрызет ошейник и все равно убежит прочь, несмотря на все их протесты и мольбы.

Возвратившись, Джин застала мужа и дочь по-прежнему погруженными в молчание. Вот только в молчании Луиса было что-то виноватое и покорное. Она пристально взглянула на них, словно пытаясь прочитать

по лицам, уж не поругались ли отец с дочерью за время ее отсутствия, но так ничего и не поняла, после чего с легким вздохом уселась за столик. И почти в эту же самую минуту на сцене появились новые действующие лица. Двое полицейских вели под эскортом троих матросов, у одного из них была порвана форменная куртка, у другого разбит в кровь нос, и все трое были явно на взводе, недовольные тем, что им не дали до конца выяснить отношения. Полицейские с превеликим удовольствием вручили всю троицу офицеру береговой охраны, и тот усадил драчунов на скамейку, где уже отдыхали двое их товарищей.

— Мне кажется, — начала Джин и внезапно замолчала.

Луис бросил на нее удивленный взгляд, словно пытаясь понять, почему она замолчала, потом поднял глаза и увидел прямо перед собой загорелую физиономию моряка, невесть откуда возникшего перед ними. Улыбаясь во весь рот, парень, облаченный в белую парадную форму, в лихо сдвинутой на бок бескозырке, стоял возле их столика и даже слегка постукивал обветренными красными кулачищами по мраморной столешнице.

— Хай! — радостно выдохнул он, глядя на них. — А вы, народ, из Америки, да?

— Мы так похожи на американцев? — натянуто улыбнулась в ответ Джин.

— Да нет! Просто я услышал американскую речь и понял, что вы — из Штатов. Вы там откуда?

— Иллинойс, городок Аврора.

— Это где-то недалеко от Чикаго, да?

— Совсем рядом.

— А я вот из Пенсильвании. Вилкинсберг, может, слышали? Это почти пригород Питсбурга.

— Что-то припоминаю! — проговорила Джин все с той же немного искусственной улыбкой на лице. — Приятно встретить соотечественника на другом конце света.

— Небось, шутите! — буркнул матрос. — Давно здесь?

— Два дня. Мы остановились в Монте-Карло.

— Ха! — даже присвистнул от удивления матрос, склонив голову набок и наваливаясь всей тяжестью тела на столик. Потом он внимательно оглядел Луиса и Джин и многозначительно хмыкнул. — Надо же! Монте-Карло! Я бы тоже не прочь там отметиться, если бы у меня было время. Да и остальные наши ребята не отказались бы поразвлечься в тамошних казино.

— Если вам нужны только казино, — подала голос Маргарет, — то для этого совсем не обязательно ехать в Монте-Карло. Здесь в любом городке полно заведений подобного рода.

Тень от тента почти полностью скрывала ее. Но Луису со своего места было хорошо видно, как дочь вдруг гордо откинула назад крепко посаженную голову.

Моряк тут же переключил внимание на девушку.

— А то я не знаю! — насмешливо воскликнул он, обращаясь уже исключительно к Маргарет. — Только эти французы совсем обнаглели. Разводят народ на деньги по-черному!

Что-то в голосе дочери, во всей ее необычной позе заставило Луиса поддаться внезапному порыву, и неожиданно для самого себя он сказал:

— Хотите выпить вместе с нами? Я закажу вам стаканчик.

Матрос с готовностью выпрямился, расправил плечи, явно намереваясь воспользоваться любезным приглашением соотечественника. Маргарет слегка наклонилась вперед, чтобы подвинуть ему свободный стул. В неровном свете мерцающих фонарей четко обозначилась вся ее громоздко неуклюжая фигура.

Матрос бросил на нее внимательный взгляд из-под полуопущенных век, а потом широко улыбнулся, всем своим видом демонстрируя искреннюю признательность за приглашение, и сказал:

— Нет, спасибо! Хочу еще прогуляться по набережной. Там в это время полно тех, кто торгует всякими сувенирами. А мне моя девушка наказала привести ей в качестве подарка портсигар из черепашьего панциря. Говорят, здесь эти штуковины продаются всего лишь по триста франков. Привозят с Капри или еще откуда-то. Так что, пойду! Приятного вам вечера!

Он вежливо откозырял каждому из них и удалился, слегка пошатываясь, но все же изо всех сил стараясь сохранять и достоинство, и военную выправку. Впрочем, именно эта важная походка и выдавала, что парень изрядно принял на грудь.

— Приятный мальчишка! — проговорила с веселым смешком Джин, глядя ему в спину. — И так по-детски обрадовался нам. Соскучился по дому, бедняжка!

Луис взглянул на Маргарет, и его затопила волна жалости к ней. Дочь снова отсунулась вместе со своим стулом в темноту, но он знал, что небрежный отказ матроса посидеть вместе с ними за одним столиком подействовал на нее, словно удар хлыста. Вот сейчас ее уж точно лучше не трогать весь остаток вечера. Иначе убьет на месте.

Да и о чем можно было говорить после того, что произошло? Да, все вполне заурядно и предсказуемо, и, тем не менее, он никогда в жизни не осмелится сказать ей: «Доченька! Я все понимаю! Этот парнишка взглянул на тебя, бросил всего лишь один, но долгий взгляд исподлобья, и тут же почел за благо ретироваться».

Разве можно говорить такое собственной дочери? Разве он рискнет когда-нибудь сказать ей в глаза: «Маргарет! Ты выглядишь так, как выглядишь! Смирись с этим и не комплексуй по поводу своей внешности. Ну, да! Ты родилась такой, непохожей на всех! Так и иди по жизни своим путем! Не вымаливай у всех этих прощелыг жалких подачек. Не мети подолом перед каждым загулявшим матросом. Тот швырнет в тебя обидное словцо или презрительный взгляд и пойдет дальше, как ни в чем не бывало».

Он все понимал. Он знал, что сейчас, в эту самую минуту его дочь в очередной раз заковывает себя в латы из презрительного высокомерия и ненависти ко всем этим жалким людишкам. И к родителям тоже. Но не это угнетало. Луис потрясенно размышлял над тем, что открылось ему в характере дочери сию минуту, сейчас, только что. Где-то в самой глубине своей души, в самых дальних ее уголках, в самых сокровенных фантазиях, которыми она ни за что на свете не поделилась бы с родителями, ставшими для нее тюрьмой, его нескладная, некрасивая девочка, оказывается, тоже мечтала. И ей страстно хотелось того же, что и всем молоденьким девочкам. Она, как и все в ее возрасте, жаждала случайных встреч и уличных знакомств с беспечными молодыми людьми, со всеми этими безответственными, длинноволосыми хиппи, с которыми она с радостью бродила бы ночами напролет по парижским улицам и паркам. А потом парень провожал бы ее до дверей дома, и они страстно целовались бы, стоя в темном подъезде или, крепко обнявшись, вместе поднимались по лестнице к ней в комнату.

Боже мой, с отчаянием подумал Луис, ведь его дочь тоже надеется получить свою, пусть и самую крохотную порцию счастья от этой жизни. Ведь все молодые живут надеждой! Как же он мог забыть об этом?

Его сострадание к Маргарет было столь велико, что Луис подумал, что, подвернись ему сейчас кто-нибудь подходящий из парней, и он бы нанял его, заплатил бы любые деньги за то, чтобы тот занялся любовью с его дочерью. И плевать бы он хотел, как на все это отреагирует Джин, больше

всего на свете страшащаяся именно такой развязки. И зря! Она просто не понимает одной простой вещи. Их дочь и в Париже — увы! — останется все той же Маргарет, такой же непримиримой ко всему на свете и такой же одинокой. Напрасно она так отчаянно пытается вырваться от них и убежать в свой Париж. От себя не убежишь.

Луис подавил тяжелый вздох. Ничего подобно он, конечно же, никогда не скажет ни своей жене, ни, тем более, дочери. С высоты прожитых лет он лишь станет с грустью наблюдать за тем, как будут развиваться события. Пусть уходит прочь, пусть бежит из родительского дома. В один прекрасный день, и он точно знал, что так и будет, их дочь поймет, что дом, который когда-то казался ей тюрьмой, есть самое надежное пристанище и самое безопасное укрытие на свете.

Катер снова с ревом подлетел к пирсу, оставляя после себя столпы водных брызг. И снова закачалась на воде сонная баржа. Видно, он что-то пропустил в этом спектакле, потому что вдруг совершенно неожиданно вся улица заполнилась галдящими моряками, которые, выстроившись в ряд, стали с детской покорностью вскарабкиваться на катер. Береговой патруль помог поднять на борт и тех, кто сопротивлялся, и тех, кто не в состоянии был передвигаться самостоятельно. Один бузотер даже сердито пнул ногой по носу катера, но и его, в конце концов, загрузили вместе со всеми остальными. Снова звякнули склянки, слегка приглушенный мотор затарахтел в полную мощь, и катер стремительно понесся вперед, туда, где на фоне ночного неба сверкала огнями эскадра военных кораблей.

— Пойдем и мы, да? — обратился Луис к своим спутницам и, не дожидаясь ответа, первым поднялся из-за стола.

Перевод с английского Зинаиды ЗИМИНОЙ.



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

Как жила элита при социализме

Элита вчера и сегодня

Элита в любом обществе существует всегда. Но это понятие к белорусской интеллигенции 1950—1970-х гг. (а именно об этом времени я собираюсь писать) фактически неприменимо. Слово «элита» в тот период звучало совсем нечасто, разве что применительно к сельскому хозяйству — «элитные сорта», «элитные семена».

В наше время самозваные элиты — политическая, финансовая, масс-медийная — не просто ощущают, а подчеркнуто демонстрируют свою оторванность от народа, свою избранность, исключительность, парение над жалким, ничтожным, с их точки зрения, плебсом.

Иначе было при социализме. В ходу был термин «советская интеллигенция», которой хотя и определили место прослойки между рабочим классом и крестьянством, но все же считали народной. И интеллигенция в самом деле стремилась быть неотъемлемой частью народа, желала как можно более органично влиться в него. «Народный режиссер», — сказала народная артистка СССР Клара Лучко в своей книге об Иване Пырьеве, хотя *официального* такого звания для режиссеров не существовало.

Или взять белорусских писателей. Выходцы в основном из крестьян, они ни в коем разе не считали себя отдельной, возвышенной над общей народной массой, кастой. Мой отец Иван Шамякин неоднократно напоминал, искренне сам в это веря, что основа общества — те, кто кормит себя и других. В любом случае крестьяне — главные. Они — становой хребет державы. И самое важное для писателя — собою этот становой хребет укреплять, иначе говоря, помогать кормильцам в их нелегком труде *словом*. Исключительно любовным, внимательным, бережным было отношение Шамякина и его коллег к простым труженикам. Это отношение видно по их произведениям — и в смысле их героев, и в смысле адресатов, к кому обращались.

А я вспоминаю многие факты непосредственного общения отца, его друзей с крестьянством, например, на родине моей мамы, в деревне Терюха, что под Гомелем, куда мы в течение более двадцати лет ездили каждое лето и куда часто приезжали гостить коллеги Ивана Петровича. Все там знали, что Шамякин любит беседовать с сельчанами и им помогать, потому не было вечера, когда бы они к нам не приходили — просто поговорить, излить душу, рассказать о своих проблемах, высказать просьбу; иногда под предлогом продажи рыбы, выловленной в Соже.

Невозможно, даже страшно себе вообразить, чтобы представители советской интеллигенции называли народ быдлом, стадом баранов, диким охлосом, как это происходит сейчас, — нередко звучит в российских СМИ, особенно по телевизору, возникает в интернете. До Великой Октябрьской революции 1917 года просвещенные люди остро чувствовали свою вину за отрыв от народа; советская интеллигенция ощущала себя плотью от плоти народа. И как бы ни оскорбляли

«прикорытниками» в начале буржуазной революции конца 1980-х — начала 1990-х годов многих знаменитостей советского времени, в том числе писателей, но они были настоящей элитой, пользовались уважением и искренней любовью народа, который, в свою очередь, видел любовь элиты к себе. При нынешнем положении вещей, имущественном (даже не образовательном, как в царской России) разделении людей, самозваные элиты упорно внушают народу комплекс неполноценности. Мой знакомый, крупный предприниматель, постоянно, и даже не метафорически, твердит о необходимости над каждым белорусом поставить надзирателем поляка или немца с кнутом, чтобы те били нашего соотечественника поминутно, заставляя лучше работать.

Какой-нибудь новоявленный белорусский бюргер, владелец торгового ларька, с презрением смотрит на земледельца, бизнесмен — на писателя, чиновник — на профессора университета (поскольку у чиновника власть). Относительно последних — особенно показательно, на своей, так сказать, шкуре ощущаю ежедневно: преподаватели вузов, профессора, доценты, авторы многих учебников, книг, статей, курсов лекций, привыкшие мыслить аналитически и глобально, к управлению образованием не допускаются категорически, абсолютно не имеют права голоса в образовательном процессе. Все так называемые реформы (сплошь разрушительные), все нововведения, якобы новации — результат бюрократических измышлений чиновников, обычных клерков, которые никогда в жизни не стояли за преподавательской кафедрой и, собственно, понятия не имеют о сути педагогики. То же касается и науки.

Российский публицист Михаил Полторанин, будучи сам в 1990-е годы помощником президента Бориса Ельцина и знавший новоявленную «элиту» изнутри, пишет о ней в своей нашумевшей книге «Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса»: «Ельцинские реформы выгребли из социальных подворотен весь человеческий мусор и подсунули в поводыри обществу — мошенников, фарцовщиков, спекулянтов театральными билетами, проныр по части купи-продай, базарных шулеров и наперсточников. Этому отребью позволили безнаказанно мародерствовать на российской земле, пинком открывая любые чиновничьи двери. И отребье в одночасье возомнило себя господствующей кастой. Они взялись навязывать стране свою волю, свой образ мыслей, свою гнилую мораль...»

Не было в истории, чтобы «элита» получила такой колоссальный кусок общественного пирога, не неся никакой ответственности, как это произошло на постсоветском пространстве. Кстати, и в Беларуси также, хотя у нас это меньше бросается в глаза. Но главное, а именно навязывание через СМИ своей воли, своей воровской морали, а вернее, аморализма, остальному населению, создание абсолютно бездуховной атмосферы, стиля жизни, ориентированного исключительно на потребление и разные забавы. И при этом постоянная трескотня и мировых политиков, и наших доморощенных, лезущих в политику, о демократии.

Однако было бы лукавством утверждать, что и при социализме определенные прослойки общества или индивидуумы не ощущали свою избранность и не пользовались ею. Публицист Ольга Жукова в большой статье (2012 г.) «“Кадры” отстояли Родину, а “элиты” ее растащили» глубоко анализирует роль элит во время Великой Отечественной войны. Она исключительно высоко оценивает деятельность управленческой, армейской, научно-технической, рабочей элит — всех тех, кто ковал Победу.

Так довольно необычно для нашего времени, когда принято непременно ругать советский строй, упоминание ею о прекрасной работе партийно-номенклатурного аппарата: «Хранящиеся в архивах деловые письма, докладные записки, заявления военной поры свидетельствуют о необычной скорости их прохождения к адресатам. Через три-четыре дня после регистрации в секретариатах на них уже стоят резолюции тех, кому они адресованы, — А. С. Щербакова, А. А. Андреева, А. А. Жданова, Г. М. Маленкова и других партийных и советских работников.

А ведь члены ЦК занимали в ту пору по нескольку важнейших должностей, и поток документации в их адрес, вопросов, требующих немедленного решения, был огромен».

То, что вопросы действительно решались (в том числе и до войны) быстро, могу подтвердить, как неудивительно, и я, основываясь на семейных преданиях. Мой дед Филат Азарович, работая в 1932 г. на железной дороге, потерял очень важный документ. Его осудили, он строил Беломорско-Балтийский канал и канал «Москва—Волга». В 1938 г. утерянный документ совершенно мистическим образом, по подсказке во сне, нашелся. Моя тетя Оля выслала его с просьбой о помиловании Михаилу Калинину — «всесоюзному старосте». Через неделю дед вернулся. Причем мои мама и тети, в отличие от потомков действительно значительно потерпевшей тогда элиты, никогда не нарекали на власти, полагая, что «значит, так нужно было»: по закону какой-то высшей справедливости нужно было, чтобы их отец пострадал — или за грехи предков, или за будущее счастье детей и внуков.

Воздав должное властно-научно-производственным элитам, Ольга Жукова приводит многочисленные примеры стремительного обуржуазивания, наряду с самоотверженным трудом, в том числе на фронте, *художественной* элиты: «Народные любимицы — звезды советского кино, изображая на экране простонародных письмоносиц, трактористок, ткачих, свинарок, скромных офицерских жен и домохозяек, в реальной жизни примеряли роскошные наряды и шляпки из спецателье, а то и из Парижа—Лондона, активно скупали драгоценности у “бывших”. В дни блокады Ленинграда Любовь Орлова добилась предоставления ей самолета — “полюбоваться белыми ночами”». А на самом деле летала за антиквариатом, который в осажденном городе невероятно подешевел.

Однако ради справедливости стоит сказать, что случались истории еще более вопиющие. Неизвестно, какое отношение имеет автор указанной выше статьи к «маршалу Победы», но я знаю, что в мае 1946 г. на даче Георгия Жукова было обнаружено огромное количество ценностей, вывезенных из поверженной Германии: антикварной мебели, картин, посуды, мехов, отрезов ткани. Именно потому Сталин понизил маршала в должности и перевел его в Южный военный округ, в Одессу. В неплохом телесериале «Ликвидация» об этом не сказано ничего. Правда, сам Жуков ценностей не тащил, он и не знал, сколько у него чего наскладировано, — виноваты люди из его окружения.

Реакция, в целом справедливая, Сталина относительно Жукова, между прочим, показательна — на фоне нынешней полной безнаказанности бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и его обворовавшей армию на миллиарды любовницы Евгении Васильевой, которая, находясь якобы под домашним арестом в тринадцатикомнатной квартире, гуляет по бутикам, пользуется услугами повара, массажиста, маникюрши, педикюрши и так далее.

Для советского человека, привыкшего, что бы там истерически ни вещали по олигархическому российскому телевидению, к фактическому равенству, это какой-то фантасмагорический кошмар, босхиниана. А разве не кошмар — уже в мировом масштабе — однополые браки, ювенальная юстиция, кибервойна против личности? Чтобы и дальше новоявленной «элите» можно было творить все что душеньке угодно, и нужно всяческую память об истинной демократии (не той, как ее понимают на Западе, не декларируемой) из сознания бывших советских, которые еще живы, побыстрее выбить. Специально говорю о России, поскольку все, что там происходит, активно воспринимается — через СМИ — белорусским населением. Наше несчастье: нет языкового барьера перед идеологической и псевдокультурной экспансией.

В 1950-е и в последующие годы советской эпохи белорусская интеллигенция никогда не ставила себя высоко над народом, не издевалась над ним, хотя чувство исключительности с некоего момента начинало проявляться, словно оказалась перейдена какая-то моральная межа. Помню один жаркий спор Шамя-

кина и его друга драматурга Андрея Макаенка. Меня тогда поразило заявление Андрея Егоровича: «Я никому ничего не должен. Я — победитель. Свой долг перед Родиной, обществом выполнил во время войны. Теперь *мне* все должны». Хотя по сути верно относительно ветеранов войны, но все это принципиально расходилось с тем, что внушал нам, да и в самом деле думал, мой отец. Он не уставал повторять, что *он* обязан, а не ему. Потому и работал фактически до своего конца — ему казалось, что не все сказал, что по-прежнему ответственен перед народом — уже хотя бы потому, что «кому много дано, с того много и взыщется». Так не раз повторяла мама. Подчеркиваю: ощущая — по естественному закону неодинаковости людей — свою особость и даже избранность, интеллигенция ни в коем случае не презирала собственный народ, чем и отличалась от сегодняшних «элит».

Интерес обывателей, в том числе просвещенных, «образованцев», всегда материален, и нельзя людей за это осуждать. Так было испокон веку, но все же такого духовного коллапса, как в последние десятилетия, никогда прежде не наблюдалось, поскольку существовала настоящая элита, «держащая планку». Элита создавала в обществе атмосферу, в которой худшие качества человеческой природы не вырывались наружу, а тем более не культивировались.

Атмосфера создавалась не только великими произведениями, скажем, в литературе и кино, но и соответствующим поведением. Вспоминая приезжавших в Беларусь гостей, размышляю — проявлялись ли в них кастовость, спесь, высокомерие, вера в свою непогрешимость и абсолютную правоту, поскольку они — известные писатели?

В то время литераторы из союзных республик, особенно русские — москвичи и ленинградцы, — очень любили ездить в Беларусь (дело было до Чернобыля). Союз писателей СССР постоянно в Минске проводил разные пленумы, семинары и прочие мероприятия союзного уровня. Белорусы удивительно гостеприимны. После многочасовых заседаний гостей разбирали по домам самые знаменитые белорусские писатели. У них много было друзей не только среди русских, но и среди польских, украинских, болгарских мастеров слова. Да что говорить: к нам нередко приезжали, правда, уже начиная с 1980-х, даже китайцы — китайские переводчики. В Китае почему-то очень полюбили произведения Шамякина и практически полностью его у себя издали.

Особенно часто приезжали к отцу его постоянные переводчики с белорусского на русский язык — уже очень пожилые Арсений Георгиевич Островский и Павел Семенович Кобзаревский из Ленинграда. Они были исключительно интеллигентны, тактичны, уважительны буквально ко всем, вплоть до детей. Старая питерская школа этикета. Известный московский кинорежиссер Самсон Самсонов, поставивший хороший фильм по повести Шамякина «Торговка и поэт», приезжал не раз вместе с совсем еще молоденькой Натальей Андрейченко, будущей звездой, впоследствии бездарно растратившей себя в Америке. Андрейченко (именно она играла Ольгу в «Торговке и поэте») оказалась веселой и смешливой, разбитной Самсонов — колоритным в своей очаровательной наглости. Однако высокомерия, чванства ни в нем, ни в ком другом из знаменитых россиян, наших гостей, не ощущалось.

Прост в общении, даже застенчив был главный редактор самой популярной тогда в СССР «Литературной газеты» Александр Чаковский, бывавший у нас дома. Очень сдержанным выглядел Константин Симонов, но в этой сдержанности проявлялся скорее характер, чем презрение к хозяевам. А может, уже начинавшаяся болезнь.

При этом многие из белорусских писателей держались в среде российской интеллигенции без заискивания, с большим достоинством, даже как-то аристократично. Помню это мое впечатление от наблюдений за Максимом Танком, Янком Брылем, Иваном Мележем, Андреем Макаенком, Иваном Науменко. Иногда казалось, что именно высокопоставленные гости перед хозяевами тушуются.

Что же в *наших* было такое? Полагаю, ощущение собственной национальной идентичности (даже в вышитых сорочках тогда ходили), которая в россиянах в то время выявлялась слабо. Уверенность нашим придавало и хорошее владение русским языком — в отличие от всех других нацменов. Мой отец был вообще достаточно робок, но он прекрасно, без белорусского акцента, говорил по-русски и отлично знал русскую культуру (в Москве и Ленинграде всегда ходил в музеи и меня водил). Потому и он чувствовал себя с высокими гостями из России на равных.

Более мелкая из российских литераторов публика, которую в большом, просто подавляющем количестве можно было встретить в многочисленных тогда Домах творчества с их привилегиями (вплоть до огороженных пляжей, куда проходили по пропускам), уже свою отдельность от народа остро чувствовала и культивировала, свысока поглядывая на остальных курортников. Впрочем, помню милую застенчивость вологодского провинциала Василия Белова в Коктебеле — на фоне развязности и наглости москвичей, преимущественно модных поэтов и киношников. Эти элитарии — порождение хрущевской слякоти — жили весело, вольготно, безбедно (о некоторых изобретательно-остроумных способах их заработков в литературе и кино рассказывали осведомленные белорусские писатели); дурачились благодаря оклеветанной ими советской власти, но им всегда чего-то не хватало: то ли зарубежного тряпья, то ли секса и творческой свободы. Диссидентствовали и этим ставили себя над «быдлом».

Нынче бытует расхожая фраза, что они изливали свою желчь или рассказывали антисоветские анекдоты «на кухнях». Да ничего подобного — на пляжах, на балконах своих номеров в Домах творчества, в столовых, притом во весь голос, никого не боясь и не стесняясь. То ли провоцировали собеседников, то ли желали пострадать, прослыть мучениками, гонимыми, а может, и в целях воспитания молодежи — мы-то их невольно слышали. Телеведущий, политический аналитик Анатолий Вассерман в статье «К социализму возврат неизбежен» (2013 г.) пишет о тогдашних художественных кумирах: «В конце 70-х многие деятели не просто держали фигу в кармане, но и гордились ею». «Фига в кармане» — это циничные шуточки, фразочки, бесконечные анекдотцы, которые ясно показывали, что вещали с трибун кумиры публики одно, притом официально правильное, а думали совсем другое. Вообще таких, «вещавших», а после 1991 года «вдруг» изменивших свои взгляды на противоположные, я знала много.

А уже в наше время очень они любят вспоминать, как их «травила» советская власть, как, бедные, исстрадались, сколько притеснений терпели, например, не могли свободно купить туалетную бумагу. Поражает эта зацикленность якобы духовной элиты на всем материальном, бытовом, мелочном.

Определенное разделение было не только в профессиональном, так сказать, смысле (писатели и киноработники в то время — очень уважаемая часть общества), но и в территориальном.

В самом начале 1970-х гг. мой муж и брат учились на геологическом факультете БГУ (потом факультет переведут в Гомельский государственный университет). Они ездили на производственную практику не только по Беларуси, но и в Крым. Там были стационарные базы Белгосуниверситета, а также МГУ, Воронежского, Харьковского, еще каких-то университетов. Естественно, студенты встречались в маршрутах, одалживались чем-то в лагерях, знакомились. При этом все регионалы дружно ненавидели студентов-москвичей, и судя по рассказам ребят, было за что. То есть ощущение той столичной элитарности, которую старательно, буквально сжав зубы, в силу внутренней культуры, подавляли в себе прославленные на всю страну Константин Симонов и Александр Чаковский, в молодежной среде уже тогда выявлялось открыто и нагло. Молодежь — индикатор.

Еще о молодежи, уже взращенной на белорусской почве. Нынешняя поп-дива, а в начале 1990-х годов только что ставшая одной из первых «красавиц» на конкурсе каких-то бесконечных «мисс», обиженно жаловалась журналистам

на университетских преподавателей, которым все никак не могла сдать экзамены: «Как они смеют относиться ко мне так, как и к остальным студентам?! Они что, не понимают, что я — особенная?!» Так и сказала, по своей девичьей наивности, совсем серьезно, — «особенная». Потом она, конечно, поумнела, перебралась в Москву, сейчас уж третий раз вышла замуж. И почему-то все ее мужья и друзья неизменно оказывались богатыми бизнесменами. В этом, конечно, ничего плохого нет, однако — тенденция...

Сословия, классы, касты, какие-то потери в обществе неизбежны — даже в муравейнике или в улье особи делятся по выполняемым функциям. Но одно дело, когда человеческий муравейник чувствует свое единство и вместе совершает великое дело, как это было, при всех оговорках, во время войны, другое, когда какая-то группа настойчиво декларирует свою исключительность и испытывает презрение по отношению к остальным. Причем по совершенно неочевидным основаниям!

Понятие «элита» выкристаллизовалось в 1990-е годы, когда другое, исключительно важное понятие — «справедливость» — было изгнано из употребления, и установилась власть бывших цеховиков и торгашей. Известный российский писатель и публицист Олег Попцов пишет уже в наше время: «...капитализм, который мы построили, воровской и бандитский. Он породил социальные противоречия и сделал социальную несправедливость нормой существования громадной части населения страны». Несправедливость — и есть почва, взрастившая привилегированную страту, для которой народ, состоящий из тружеников, поскольку он беден, — быдло, человечье стадо, в лучшим случае — электорат.

В Беларуси в течение двух десятилетий все же как-то сохранялась некая видимость равенства, хотя помню постоянные толки нашей «продвинутой» интеллигенции в начале 1990-х годов о «совках», «приверженцах тоталитаризма». (Кличка «совок» пришла, как и многое в то время, из блатного жаргона: так «на зоне» воры называли тех, кто ударно трудился совковой лопатой, рассчитывая на досрочное освобождение.) Еще поражало стремление отдельной группы приватизировать свою белорусскость — остальные на нее как бы не имели права. А сейчас чем дальше мы врастаем в так называемую рыночную экономику, тем больше ее страшных язв открывается. Перечислять можно долго.

И вот уже летом 2013 года торговцы на рынках бастуют против сертификации товаров — требуют свободы впаривать потребителям негодную залежь и отраву. И страшно, если власти постепенно уступят диктату богатеньких наглецов. О том, что «богатеньких буратино» в Беларуси на самом деле очень много (при всех крокодиловых слезах о «диктаторе» Лукашенко), ярко свидетельствуют наши дороги, улицы городов и поселков: достаточно посмотреть на марки машин. Ведь по количеству престижных марок Минск уже обогнал столицу Австрии Вену!

Элитой чувствуют себя не только торгаши, поскольку все кругом твердят о важности сферы услуг, но и молодежь, которая также привыкла к рассуждениям СМИ о том, как она прогрессивна и умна, как необходимо о ней всемерно заботиться (а в подтексте — ей угождать). К старшему поколению появляется презрение за его «отсталость». И вот уже в *государственном* российском документе, касающемся реформы РАН, оскорбительно подсчитано, сколько в Академии наук пожилых ученых, а сколько молодых. На что академик РАН и РАМН Андрей Воробьев пишет в «Литературной газете»: «Аргументы Ливанова о проценте «старых» и «молодых» в науке *достойны разговора домохозяек на кухне* (Подчеркнуто мною. — *Т. Ш.*). Обсуждать эти «мысли» невозможно, хотя вопрос о проблеме стареющего населения планеты волнует ученых всего мира. Существуют (но не у нас) разные решения, как использовать интеллект и руки пожилых людей с пользой для них и общества».

Война всех против всех, раздрай в стране и хаос начинаются с ощущения частью населения своей элитарности. Опасность таится и в том, что идея исклю-

чительности, собственной значимости — расовой, национальной — ежедневно, ежечасно порождает социал-дарвинизм, идеологический источник фашизма.

Расово-националистический соблазн исключительно велик. Даже исконно толерантные белорусы ему изредка невольно поддавались.

Однажды моего отца, уже тогда первого секретаря Союза писателей Беларуси, пригласили в контролирующую национальную безопасность организацию. Он очень удивился, когда ему показали заполненную вкладами сберкнижку одного из писателей, выданную в «третьем рейхе» (!).

Все быстро разъяснилось. В 1960-е годы даже лейтенанты, служившие в органах, даже Шамякин, не знали, что часть Беларуси (некоторые районы Гродненщины) во время Второй мировой войны входила в «третий рейх»: немецкие ученые вычислили, что на эту территорию никогда в истории не проникали чуждые расово завоеватели, скажем, тюрки, и значит, население здесь сохранило чистоту истинно арийской крови, как и натуральные немцы. Потому жители этой части Беларуси пользовались теми же привилегиями, что и жители собственно Германии. А на остальной части Беларуси — оккупация и жесточайший геноцид.

Современный белорусский исследователь Кузьма Козак, автор книги «Германские и коллаборационистские потери на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941—1944): анализ и итоги» утверждает на основе изучения колоссального архивного материала: «Наши людские потери огромны. Но это одна сторона. Другая, это видно и по документам, что нигде не было такого сопротивления, как в Беларуси». Кстати, тот будущий писатель со сберкнижкой рейха (о которой он и не знал) смог во время войны сбежать к партизанам, воевал самоотверженно, честно, и вообще во всех смыслах был замечательным человеком и хорошим прозаиком.

Но обнародую и другие факты. Мой учитель, известный ученый и поэт, профессор, о времени своего детства в «третьем рейхе» говорил с придыханием, восторгом, искренним сожалением об утраченном рае. Да, это было всего один раз, он, по своей эмоциональности, сорвался, проговорился, оскорбленный моим безусловным отрицанием буквально всего в фашистской Германии. Но я его поняла и не осуждаю. Детство ведь всегда вспоминается с ностальгией; семья врача, конечно же, жила при немцах хорошо; и я вполне допускаю, что все было, по словам моего наставника, «очень культурно». И разное, будем говорить честно, отношение к Великой Отечественной войне среди белорусов тоже понятно: оно одно у тех, чьи предки находились под оккупацией и испытывали жесточайшее притеснение, и оно несколько другое у тех, чьи отцы и деды получали определенные привилегии как жители «третьего рейха», кстати, за счет ограбления соотечественников.

Нельзя здесь не сказать и о том, что партийная и государственная послевоенная элита в Беларуси принципиально отличалась от управленцев в других республиках. Она у нас, начиная с первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироновича Машерова, сплошь из бывших партизанских командиров. То есть людей, привыкших не просто к постоянной опасности, а к необходимости самостоятельно принимать решения и быть ответственными за каждый свой шаг и поступок. Как нигде, наши элитарии отличались настоящим демократизмом.

В связи с этим расскажу один случай, который я услышала в 1970-е годы от моей портнихи. Однажды она вместе со своими дочерьми, начинающими балеринами, возвращалась с дачи с тяжелыми сумками. На шоссе голосовали. И то ли издали не рассмотрели, то ли задорные девчонки, как говорят сегодня, «прикололись», но проголосовали черной «Чайке». Она, на удивление, остановилась и подобрала трех женщин. Хозяин «Чайки», человек в черных очках, сидевший рядом с водителем, часто к пассажиркам оборачивался, всю дорогу разговаривал, расспрашивал своих попутчиц о жизни, рассказывал о своих дочерях. По приезде в Минск глупая женщина додумалась предложить хозяину машины деньги

за проезд. Тогда он обернулся, снял очки и спросил: «Вы хотя бы знаете, с кем ехали?» Это был Машеров.

Тут интересны два момента. Во-первых, кто бы из руководителей какой державы подхватил голосовавших на дороге, даже в то время, когда о терроризме слыхом не слыхивали? Во-вторых, меня поразили, конечно же, наши обыватели. Не знать своего руководителя в лицо — это значит никогда не смотреть новостные передачи по телевизору, не читать газет. Да, именно так и оказалось: они ничем, что происходит в республике, не интересовались. А зачем им? Кстати, я и сегодня знаю немало таких личностей: в лучшем случае смотрят «Евроньюс», а все свое, все, что проиходит в родной стране, в том числе положительное, — презирают. При этом считают себя элитой.

Возвращаясь к Машерову, скажу, что он всегда пешком, без охраны, ходил на работу, нередко захаживал в магазины, но, правда, именно в черных очках. И все же, восхищаясь белорусским руководителем, всенародно любимым, нельзя его за такое поведение похвалить. Пренебрежение безопасностью стоило ему в ноябре 1980 года жизни.

Много в автомобильной аварии, в которой погиб Петр Миронович, неясного, загадочного, подозрительного. Кстати, мало кто знает, что незадолго до аварии уже было принято решение о назначении Машерова Председателем Совмина СССР — вместо Алексея Николаевича Косыгина, по рекомендации последнего. При немощности Л. И. Брежнева еще не старый, умный, энергичный Машеров вполне мог бы стать Генсеком. Потому не случайно сразу же после смерти белорусского лидера пошли разговоры о причастности к катастрофе секретного ведомства Ю. В. Андропова. Мой отец долго этому не верил, махал руками на собеседников и возмущался подобными утверждениями. Но потом поверил...

В самом деле, зачем смертельно больной Ю. В. Андропов так рвался к власти? Теперь, после всего происшедшего с СССР, пожалуй, понятно: его задачей было расставить на нужные места нужных людей, в частности, просунуть в Политбюро первого секретаря Ставропольского обкома М. С. Горбачева. Мог ли Андропов и те, кто за ним стоял, допустить появление в руководстве Советским Союзом такого выдающегося государственного деятеля, как Машеров? А ведь не случись с ним трагедии, все-все могло бы быть по-другому...

Жилье

В 1950-е годы, при колоссальном дефиците жилья, собственный дом Якуба Коласа в центре Минска населением воспринимался абсолютно нормально: культ народного песняра был всеобщим.

Я слабо помню Якуба Коласа. Естественно, в дошкольном возрасте я не могла посещать его дом, хотя отец ходил к нему регулярно — за партийными взносами. Классик и молодой прозаик вели тогда долгие беседы. А потом, в течение нескольких десятилетий, очень дружили Шамякины и семья Данилы Константиновича, сына Коласа. И тем не менее, я имела счастье видеть самого Константина Михайловича. В 1950-е годы писатели Беларуси еще не настроили собственных дач. Первый секретарь ЦК КПБ Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко отдал им под Дом творчества свою, естественно, принадлежащую государству, дачу в Королищевичах, рядом со Стайками. Долгое время, вплоть до конца 1980-х гг., когда Нил Гилевич, сменивший Ивана Шамякина на посту первого секретаря СПБ, продал этот Дом творчества какому-то предприятию, Королищевичи были любимым местом отдыха и работы многих поколений литераторов, а также их детей.

От главного, жилого, двухэтажного корпуса Дома творчества до столовой вела дорожка посреди леса длиной чуть более километра. Специально для Я. Коласа, который утомлялся ходить, на середине дороги поставили скамейку. Он

сидел, опершись на палочку, а мы, дети, копошились вокруг него на земле, собирая чернику или играя в камешки.

После войны писатели, по мере восстановления города, устраивались в Минске со все большим комфортом. Постараюсь это показать хотя бы на примере нашей семьи.

В 1948 году, за два месяца до моего появления на свет, родители из провинции приехали в столицу и поселились на частной квартире в крохотном деревянном домике болотистой Комаровки — на теперешней улице Якуба Коласа. Отец начал учиться в Высшей партийной школе, старшая сестра Лина пошла в первый класс. Она пишет в своих мемуарных заметках о том времени: «На Логойском тракте снимали комнаты Андрей Макаенок, Петр Василевский, Алексей Кулаковский. Папа с ними подружился. Они приходили к нам. В теплое время беседовали в вишневом садике о политике, экономике страны, писательских делах. Когда случались холода, шли к кому-нибудь из них, поскольку у нас было очень тесно». Жили еще страшно бедно, но уже не голодали, как в первые послевоенные годы. А дефицит жилья был, безусловно, огромный. Тем не менее, по утверждению той же Лины Ивановны, семья Шамякиных переезжала из деревни в город с большими надеждами и верой в счастливую жизнь. Она и правда делалась не только все более нормальной, но и воистину счастливой. Я еще застала это незабываемое ощущение, царившее в семье, в среде знакомых и родных, вообще в стране. Никакими словами невозможно выразить удивительную атмосферу того времени, когда все было еще на подъеме, настроение радостное, а при этом — жизнь в тесноте и посреди развалин.

В 1950 году родителям дали две комнаты в общей квартире вместе с писателем Алексеем Кулаковским на улице Карла Маркса, вблизи вокзала. По свидетельству Лины, жили в коммуналке необычайно дружно, интересно, шумно. У Шамякиных родился долгожданный сын Саша, у Кулаковских — третий из сыновей Коля. Наша семья стала покупать кое-какие вещи. Для меня загадка, как в таком гаме и тлуме могли работать два писателя, как воспарял, так сказать, их дух? А ничего, они всегда с удовольствием вспоминали жизнь в коммуналке.

Уже где-то в 1952 году мы с Кулаковскими разъехались. Шамякины получили отдельную трехкомнатную квартиру на первом этаже дома на углу улицы Комсомольской и проспекта (тогда существовал только один проспект). Эту темную квартиру напротив клуба имени Дзержинского я уже сама хорошо помню. Причем наиболее запомнившийся эпизод из того периода жизни — день смерти Сталина. Мне четыре с половиной года. Окна нашей квартиры выходили не на проспект, который еще только строился, хотя многие дома уже стояли, а на улицу Комсомольскую. К нам никогда не заглядывало солнце. А в тот день еще и не зажигали свет — почему-то мама считала это кощунством. День мрачный, холодный, с промозглым ветром. Помню голос Левитана по радио — такой трагический, что брал за душу и малых детей. У меня забрали все цветные ленты в косички, перевязав ими горшки с цветами, чтобы отнести вождю. Весь день взрослые провели на площади, перед памятником Сталину. Сестра говорила, что там многие безутешно рыдали и даже теряли сознание. Удивительно все же, какие эмоциональные были белорусы в то время! И понятно почему: люди пережили войну, многие потеряли семьи и видели гибель сослуживцев.

В 1954-м или в 1955 году мы поселились снова-таки на улице Карла Маркса, но в доме под № 36, где большинство квартир заняли семьи литераторов. Тут мы прожили пятнадцать незабываемых лет, пожалуй, самых счастливых в моей жизни. Да и в жизни родителей — также.

Дом тогда нам, детям, казался огромным, а был всего только пятиэтажным, на три подъезда. Между вторым подъездом, где наша семья жила на четвертом этаже, и первым, где оказалось много друзей, можно было пройти не только по двору, но и по подвалу и даже по чердаку. Но поскольку мой брат Саша подростком держал на чердаке голубей и нередко, гоняя их, вылезал на крышу,

то, по просьбе жившего на пятом этаже Янки Брыля, чердак в конце концов закрыли.

В доме сначала были плиты, топившиеся дровами (сегодня даже трудно представить!). Дровяные сараи находились во дворе — на том месте, где сейчас кинотеатр «Пионер». И еще характерный для того времени нюанс: на такой дом полагался домоуправ — управляющий домом, который разрешал все бытовые вопросы. Мне он помнится — бывший военный, который, естественно, хорошо знал всех жителей и их запросы. Но вскоре было создано домоуправление, где чиновникам уже, ясно, было не до каждого отдельного жильца. Сегодня процесс бюрократизации, всеобщего обезличевания пошел еще дальше.

И еще о сфере, достаточно важной. В 1950-е годы почта работала без выходных, как и издание центральных газет, и, конечно же, без обеденных перерывов (перерыв на почте — нонсенс); носили корреспонденцию три раза в день, первые газеты обязательно доставлялись уже к 8 часам утра; почтовые ящики располагались на дверях каждой квартиры. Труд почтальона нелегкий. Я знаю о нем не понаслышке — моя тетя Оля всю жизнь проработала на почте. А нам в годы проживания на улице Карла Маркса носила почту девушка Женя, сирота, из детдома. Моя мама ей помогала материально. Но каждому времени — свое: зато ныне есть интернет. Что может быть удивительнее! Правда, и идеологический прессинг с разных сторон, сегодня гораздо мощнее, чем жалкая ежедневная газета, пусть и рупор руководящей партии, в 1950-е годы.

...Сегодня наш бывший дом, угловой, частично выходящий и на улицу Энгельса, испорчен «пещерой» — входом в метро, а тогда там помещался книжный магазин «Политкнига», занимая большую площадь, чем в наше время. Но, естественно, он не был сплошь забит трудами классиков марксизма-ленинизма и брошюрами издательства «Политпросвет». Имелись отделы (они располагались в нишах) и художественной литературы, географической, исторической, а также большой канцелярский отдел; потому мы, дети, этот магазин хорошо обжили.

По диагонали от входа в магазин — Государственный академический театр имени Янки Купалы, который в нашем детстве как раз перестраивался в более современном стиле, а сегодня ему возвращен прежний облик — начала XX века (метаморфозы при жизни одного поколения!), причем злоупотреблений совершено при реконструкции на полтора миллиарда рублей. Происходило ли такое тогда — при громадных масштабах и ускоренных темпах строительства? Вопрос риторический.

Квартал напротив нашего дома и одновременно напротив театра, ограниченный с четырех сторон улицами Маркса, Энгельса, Ленина и проспектом Сталина, был почти закончен, только уже после нашего вселения достраивался кинотеатр «Новости дня», сейчас это — Малая сцена Купаловского театра. Невдалеке — площадь, сегодня — Центральная, а тогда — Сталина. На ней высился огромный памятник Сталину работы Заира Азгура. Помню реакцию взрослых после стаскивания монумента танками с пьедестала в одну октябрьскую ночь 1961 года. Еще одна глупость Хрущева: свержение кумиров — начало ликвидации страны и даже цивилизации. Отношение в Китае к Мао Цзэдуну совсем иное, а ведь тоже — не без грехов. Однако китайцы смогли рассмотреть, проанализировать, разобрать хорошее, плохое, неоднозначное.

По улице Энгельса, через дорогу от театра, тогда высилась большая чугунная ограда, окружавшая территорию, которая примыкала к строгому и величественному по архитектуре зданию ЦК КПБ (сегодня Администрации Президента), а рядом примостилось, как бы притулившись к громадине, двухэтажное, на цоколе, здание тогдашнего Союза писателей Белоруссии. Здесь работали наши отцы, лучше сказать, это был их родной — без преувеличения — дом, хотя, образно говоря, и «под крылышком» у властей. Само здание в каком-то смысле историческое: в нем во время немецкой оккупации подпольщица Елена Мазаник убила наместника Гитлера в Беларуси — гауляйтера Кубэ. После войны дом пере-

строили и отдали писателям. Потому и жилье для них построили рядом, как раз напротив — тот самый «писательский» дом по улице К. Маркса, 36, а частично и по улице Энгельса.

Удивительно уютный Союз писателей в то время, притягательный для писателей — тогда было их немного, не более ста человек. И практически каждый день они заходили в свой Союз — в библиотеку, поиграть в бильярд, просто пообщаться. Здесь каждую неделю крутили зарубежные фильмы, проходили многочисленные и очень интересные мероприятия, на которые приглашались разные заезжие знаменитости. Организовывала встречи и концерты жена замечательного поэта Аркадия Кулешова — Оксана Федоровна, деловая, очень энергичная женщина, энтузиаст своего дела, совсем не похожая на крайне сдержанного мужа.

В цоколе здания Союза писателей размещалась писательская поликлиника под руководством Якова Владимировича Нейфаха — замечательного врача и обаятельного человека. Тогда ведомственные поликлиники выписывали больничные листы; в них также можно было сдавать анализы и проходить различные процедуры без всяких очередей; в нашу регулярно приглашались для консультаций и прославленные специалисты. Полная утрата поликлиники в начале 1990-х годов (на улице Румянцева, рядом с Домом литератора; сейчас там посольство Сербии) очень болезненно отозвалась в писательской среде.

До открытия в 1957 году отдельного здания Музея Янки Купалы его экспозиция также размещалась на площадях Союза писателей. Тесно, но символично. Еще и потому символично, что директором музея в годы нашего детства была Владислава Францевна, вдова Я. Купалы. По дороге из школы мы, писательские дети, заходили туда едва ли не каждый день.

Литераторы тогда общались и с классиками (ведь до 1956 г. еще был жив Я. Колас, гораздо дольше прожили М. Лыньков, К. Крапива. М. Танк), и очень активно — друг с другом. Ежедневно встречаться — абсолютно нормально, психологически необходимо, и иначе не мыслилось. А жильем постепенно обеспечили фактически всех, даже молодых.

Тогда была практика: когда писатель выселялся, получая новую квартиру, городские власти отдавали, по просьбе и по конкретной рекомендации Союза писателей, его старую квартиру более молодому литератору. Поэтому многие жили в квартирах друг друга. Например, в нашем доме по К. Маркса, 36 в трехкомнатную квартиру Яна Скрыгана на пятом этаже въехал, когда женился, Владимир Короткевич (сейчас там живет его племянница); в квартиру Янки Брыля — Вячеслав Адамчик; в квартиру Кастуся Киреенко, который переселился в «Ондатровый поселок» на улице Пулихова, — семья Вячеслава Рагойши; в квартиру умершего Ивана Громовича — Григорий Семашкевич с женой Наташей. Таких заселений, перемещений было множество. Писатели старшего и среднего поколений и сегодня помнят — кто в чьей квартире начинал жить.

Наша четырехкомнатная квартира считалась роскошной, хотя по сегодняшним меркам, без прихожей, с крохотной кухней, маленькими комнатками, — просто убогая. Над нами, в точно такой же, жила семья Янки Брыля, у которого так же, как у Ивана Шамякина, было трое детей; под нами, на третьем этаже, — Петр Глебка с женой и удочеренной в войну еврейской девочкой. Напротив нас, на одной площадке, жили с семьями — сначала Иван Мележ, потом, с 1964 года, Иван Науменко.

Однако по-настоящему роскошную квартиру я впервые увидела в Киеве.

Когда мне было пять лет, мы отдыхали в Доме творчества писателей под Одессой. Там было несколько интересных моментов. Во-первых, Шамякин, недавно купивший автомобиль «Победу» и еще плохо водивший, врезался в шикарный ЗИЛ сына Алексея Толстого Никиты, с которым и познакомился: вот уж кто выглядел барином, как и его гениальный отец! Во-вторых, я была там нарасхват как исполнительница драматической песни «Раскинулось море

широко»: меня писатели и их жены все время ловили, просили петь (это был хит сезона) и, слушая, забавлялись от души, что характеризует общую тогдашнюю атмосферу, настроенность на постоянное веселье. А в-третьих, в прекрасной Одессе Шамякин на всю жизнь подружился со многими украинскими писателями. С семьей одного из них — Степаном Олейником — мы вместе на машинах возвращались из Дома творчества.

Степана Олейника не нужно путать с прозаиком Борисом Олейником, в начале 1990-х очень нелицеприятно (впрочем, абсолютно правдиво) написавшем о перво-последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве. С Борисом мой отец тоже был хорошо знаком. Но подружился именно со Степаном, сатирическим поэтом, всегда безудержно радостным, по-украински феноменально остроумным, чрезвычайно похожим на запорожского казака. Как раз по его стихотворному фельетону снял свою первую короткометражную комедию «Пес Барбос и необычный кросс» впоследствии прославленный кинорежиссер Леонид Гайдай. Степан и его жена после войны взяли из детдома девочку и очень ее любили. У них была трехкомнатная квартира на центральном проспекте — Крещатике — в доме, который мне тогда показался небоскребом. А квартира — огромной, очень солнечной, светлой, обставленной дорогой мебелью. Здесь я впервые увидела газовую плиту и телевизор КВН. У нас телевизор, наверное, «Рубин», появится только через несколько лет. Газ, правда, провели довольно скоро. Можно сделать вывод, что Киев быстрее, чем полностью разрушенный Минск, восстановился после войны, а его интеллигенция жила с максимально возможным тогда комфортом.

В Москве творческой интеллигенции, наиболее известным в СССР людям, в начале 1950-х годов предоставили квартиры в самом роскошном тогда доме — высотке на Котельнической набережной. Здесь жили в разное время: писатели Александр Твардовский, Константин Паустовский, Михаил Пришвин, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский; знаменитые артисты и режиссеры: Михаил Жаров, Фаина Раневская, Павел Массальский, Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Владимир Огнивцев, Галина Уланова, Клара Лучко, Людмила Зыкина, Роман Кармен, Николай Охлопков, Наталья Сац, композиторы Борис Мокроусов, Вано Мурадели, Анатолий Новиков, Никита Богословский; многие деятели науки. После разрушения СССР большинство представителей творческой элиты, кто остался жив, в этом, как и других престижных домах, квартиры или попродавали, или сдавали, переехав на дачи, — чтобы как-то выжить. Разместилась в дорогом жилье совсем другая «элита».

Мы в Москве гостили у фронтового папиного друга — белоруса Виктора Вольского, Героя Советского Союза (прототипа Виктора Масловского в романе И. Шамякина «Зенит»). Втроем, с женой Вандой и дочерью Лизой, кандидат наук Вольский занимал поначалу небольшую двухкомнатную квартиру. Но потом они переселялись во все более просторные, так как Виктор Вацлавович стал дипломатом, доктором экономических наук, а впоследствии академиком, директором Института Латинской Америки. Он неоднократно в Америку летал и подолгу там находился. Дружил с тогдашним президентом Мексики, хорошо знал братьев Кастро, других латиноамериканских лидеров. Рассказывал много интересного. Казалось даже удивительным, что наш рахманый белорус может быть вот таким — человеком мира, знатоком экзотических культур, другом президентов, с которыми решает очень конфиденциальные политические и экономические вопросы. Естественно, в его квартире было много разных диковинок. Например, раковины, которые со страстью коллекционировал, он добывал сам, ныряя в Карибское море. Кто смеет утверждать, что дайверы стали известны нам после «перестройки»?

Больше в Москве я ни у кого не была, так как мы преимущественно останавливались в гостинице «Москва». Той самой, в которой погиб Янка Купала. Белорусы традиционно, именно после войны, в ней селились.

В Минске приходилось бывать во многих домах. Особой экзотики, как у Вольского, конечно, не водилось, однако что-то необычное встречалось у многих. Например, первый телевизор среди наших знакомых появился у классика детской литературы Янки Мавра, жившего на втором этаже первого подъезда «писательского» дома по Карла Маркса, 36.

Вещание тогда шло не более двух часов в день; одной из первых дикторов была ныне знаменитая и очень любимая народом актриса Мария Захаревич. Все соседи ходили к Мавру «на телевизор». Мы, дети, сидели на полу, на удивительном ковре, скорее кошме, черно-синей, с красноватым орнаментом, подаренной Мавру почитателями из Туркменистана.

Однажды, также еще в 1950-х гг., Янка Брыль привез из Польши, куда часто ездил, костюмчики в национальном стиле для Гали и Наташи, тогда 6-9-летних. Когда они появились в своих удивительных нарядах во дворе, то поразили красотой и детей, и взрослых. Действительно нарядно, да просто сказочно по сравнению с современным бросовым тряпьем из секонд-хендов! Но только писательские дети воспитывались в исключительной скромности, и больше в своих удивительных нарядах девчонки не появлялись — боялись излишнего внимания к себе.

В 1960-х гг. писатели Беларуси, возвратившись с Декады белорусской литературы из Узбекистана, привезли полученные там подарки — национальные тюбетейки, стеганые халаты и шелковые платки, которыми подвязывались среднеазиатские мужчины вместо кушаков. Кто-то из белорусской группы в таком халате даже ходил дома. А я использовала платок многообразно, например, в качестве салфетки, для покрывания разных поверхностей: он оказался очень прочным и не выгорал.

А что же везли белорусы, отправляясь в гости? В основном дары наших лесов и рек (естественно, до Чернобыля): обязательно связки белых сушеных грибов, перетертой с сахаром клюквы, варенья из лесной малины, вяленой рыбы. Вышитых и соломенных сувениров в 1950-е годы еще не продавали. А то, что вышивали своими руками наши бабушки, мамы и тети, вообще не считалось ценностью — бытовые вещи. Сегодня мы в семье, благоговея, за них даже взяться боимся.

Постепенно сувениры от поездок как украшение интерьера появлялись во все большем количестве. Когда в 1963 г. отец вернулся из США, где работал в составе белорусской делегации в ООН, он также привез какие-то штучки, но настолько быстро раздарил друзьям, что мы даже не успели их как следует рассмотреть. Впрочем, возможно, и правильно: явная штамповка.

А вот импортируемые китайские вещи в 1950-х гг., до того, как поссорились Мао Цзэдун и Никита Хрущев, были исключительно высокого качества. Очень хорошими оказались детские шерстяные костюмчики, красочные полотенца, вазочки, но особенно — шелковые изделия. Сохранившиеся в квартире моих родителей желтые в цветах шелковые покрывала за шестьдесят лет совершенно не утратили вид и по-прежнему нарядны.

В то время с большим вкусом делались фигурки из поделочных камней, фарфора и фаянса. Были у нас даже пресловутые семь мраморных слоников, считавшихся пошлостью, — мы с ними играли. Видимо, всякая мелкая пластика что-то значила для родителей как память о конкретных событиях и местах. Но в середине 1960-х годов, под влиянием модных тенденций минимализма, я, украшая дом, все это — как мещанское и безнадежно отжившее — повыбрасывала. Родители промолчали: то ли сами не считали ценностью собственные приобретения — мол, купим новые; то ли, скорее всего, не акцентировали внимание в целях воспитания: раз дочь убирает, украшает дом, уже хорошо; упреками можно отвратить от стремления заниматься домашним хозяйством.

Лет через десять после своей «домашней реформы» я сама горько пожалела об утраченных вещах и проклинала себя за свою непроходимую глупость. Меня оправдывает лишь то, что не я одна поддалась модному поветрию (тем более преображала квартиру еще подростком).

Сошлюсь на русского писателя Владимира Солоухина. Он писал в книге «Письма из Русского музея»: «Я помню, как откуда-то с Запада захлестнула Москву повальная мода на модерновую мебель. Совпало к тому же с большим жилищным строительством, то есть, значит, с переселением на новые квартиры. Пошли в ход столики на четырех раскоряченных тонюсеньких ножках, табуреточки на трех раскоряченных ножках, фанерные шкафчики, фанерные полочки, пластмассовые абажурчики и настольные лампы, глиняная посуда с облагороженным звучанием — керамика. Взбудораженные москвичи пошли выбрасывать из своих квартир красное дерево, карельскую березу, ампир, павловские гостиные, венецианское стекло и хрусталь. Не буквально выбрасывать, конечно, — в комиссионные магазины, где все это было моментально скуплено иностранцами за баснословный бесценок. Угар прошел быстро. Теперь снова какая-нибудь завалящая столовая XIX века стоит дороже, чем двадцать самых модерновых гарнитуров, но, увы, поздновато. Тысячи и тысячи москвичей остались при своей фанере, глине и пластмассе. Ах, это пошло, ах, это мещанство, ах, посмотрите, как на Западе. А Запад приобрел всю нашу пошлость, все наше мещанство, вывез к себе и весьма доволен».

Так же, как с ценными вещами, советские люди в 1991 году поступили с собственной страной — бездумно, бездарно, глупо...

И в нашей семье вещей не ценили. Все активно раздавалось, без сожаления выбрасывалось — тогда, когда можно было починить. А теперь я с завистью смотрю, например, на мраморную настольную лампу с зеленым абажуром, купленную еще в начале 1950-х гг., в доме Людмилы Карповой: и у нас была такая же. Где она? Как бы я хотела сейчас ее вернуть... Недаром моя младшая сестра Олеся и ее муж Сергей изредка, по возможности, покупают антикварные вещи — восполняют то, чем мы в своем легкомыслии бездумно пренебрегали. То есть действует закон жизненной полноты — возобновления там, где образовались искусственные бреши.

Оценивая квартиры наших соседей в «писательском» доме, пожалуй, наиболее высоко поставлю художественный вкус именно семьи Карповых. Всего в меру, все очень гармонично. И обязательно время от времени — снова-таки в целях воспитания детей — появлялись в их доме какие-то удивительные приобретения. Например, в начале 1960-х гг. у них в прихожей стояла огромная, в натуральный рост, собака-копилка из фаянса: каждый приходящий в квартиру норовил бросить в нее копеечки. Наполнялась она несколько лет. Было интересно опускать монетки в «собаку», а не потратить на мороженое, именно потому, что нигде никто такой большой копилки не видел. Друзья Карповых загадывали, сколько же она может вместить.

Все квартиры не лишены были уюта, так что назвать стандартными их ни в коем случае нельзя. Правда, в то время хороших обоев не было, стены в некоторых писательских квартирах покрывались колером и так называемым «накатом». Я и сейчас люблю именно такие стены. Окна занавешивались тюлем и в кухнях — простенькими ситцевыми белыми занавесочками с кружевом «ришелье» по краям. Позднее все гонялись за немецким «дедероном», появились также шторы из особой портьерной ткани с крупным рисунком. В 1970-е годы шторы стали шелковыми, в 1980-е — уже и гобеленовыми. В любом случае, даже в официальных учреждениях, с гардинами и шторами — более разнообразно, уютно, по-домашнему, по сравнению с одинаковыми — везде и всюду — жутко надоевшими с 1990-х годов жалюзи, закрывающими свет, унифицирующими все и вся.

Картины мало кто из писателей собирал целенаправленно, но нередки были подарки от друзей-художников — авторские произведения.

У большинства соседей-писателей, кроме Карповых, интерьеры очень простые. И самое интересное в них — именно картины, гравюры, фотографии, и конечно же, книжные шкафы с их наполнением. Широко известно, что самая богатая библиотека в Беларуси оказалась у Петра Глебки. Он приступил к соби-

ранию книг еще в начале 1920-х годов, будучи чуть ли не подростком. Потому и стал академиком! В его библиотеке сохранились многие раритетные издания, например, первые книги поэтов «Маладняка». Своей страстью коллекционера и вдумчивого читателя он заразил всех соседей. Они буквально соревновались в приобретении книг. Довольно много привозили из Москвы, где покупали в «Лавке писателя». Причем Шамякин, как один из руководителей СП, ездил в Москву особенно часто. Совсем немало выходило и подписок классики. Можно было воспользоваться услугой доставки подписных изданий на дом из специализированного магазина на проспекте. Книги носила в двух клеенчатых сумках пожилая сухонькая женщина.

Общий дух библиофильства, характерный для жильцов нашего дома, передался и мне (и на всю жизнь): еще будучи дошкольницей, я сама стала с нетерпением ожидать книгоношу. Бальзака и Гюго, конечно, тогда не читала, но любила рассматривать огромные тома Большой Советской Энциклопедии. В 1990-е годы, еще при жизни отца, родные кому-то отдали эту энциклопедию в 50-ти томах — она считалась безнадежно устаревшей, из другой жизни, тем более, начинала выходить (страшно подумать!) еще в сталинские времена. Как же я сейчас о ней жалею! Несмотря на то, что разместить ее негде: моя квартира очень маленькая, и книги стоят не только в комнатах, но и в коридоре, прихожей, кухне, на лоджии. Да, БСЭ — начало пристрастия к энциклопедиям. (Знаю, что очень любил собирать энциклопедии писатель Вячеслав Адамчик.) В мои школьные годы, в 1960-е, появилась Детская энциклопедия в 10-ти томах. На сегодняшний ум — исключительно удачная, полная, продуманно и бережно составленная. Я тогда ее любила просто читать и перечитывать, очень часто использовала при подготовке уроков.

Дефицит книг, как и многого другого, возник в 1970-е годы. На самом деле книг выходила масса и огромными, просто фантастическими, с сегодняшней точки зрения, тиражами. Да только торговая мафия научилась хорошо (для себя) доставшимися ей товарами распоряжаться: лучшее всегда припрятывала для «своих людей».

Страстными библиофилами были и Владимир Короткевич, Иван Науменко, Нил Гилевич. В какой-то момент Ядвига Павловна Науменко, жена Ивана Яковлевича, увлеклась, под влиянием общей моды, покупкой хрусталя. Но очень быстро остыла, и даже, показывая гостям на вазы и фужеры, сама поражалась своей слабости: зачем все это? Важнее то, что все ее дети были отличниками в школе и вузах, а во взрослой жизни стали выдающимися специалистами своего дела (один доктор и два кандидата наук).

Таким был дух писательского дома на улице Карла Маркса, 36. Еще раз подчеркиваю: все квартиры очень скромные, и потребительство совсем не являлось жизненным приоритетом — преобладали другие интересы.

Более роскошные (по тогдашним меркам) квартиры предоставлялись государственной и партийной элите. Правда, Петр Миронович Машеров в 1950-е годы жил с семьей в пятикомнатной, составленной из двух, квартире в доме № 11 по улице Янки Купалы, в окружении самых обычных людей. Я его квартиру хорошо знаю, тем более, что мы жили с 1970 года в точно такой же, на этаж выше, в бывшем жилье Сергея Иосифовича Притыцкого. Но когда нам его предоставили, в семье уже было девять человек: росла младшая дочь Шамякиных Олеся, мы с сестрой Линой вышли замуж, брат Саша женился. Позже отец нам, женатикам, построил кооперативные квартиры, и мы разъехались. Иван Мележ на пятерых (с тещей) получил также пятикомнатную квартиру, но больше нашей и в новом доме по улице Янки Купалы, 7. Василь Быков на двоих со второй женой получил трехкомнатную квартиру в престижном доме по улице Танка (в то время Танковой).

Не были обижены и другие, тогда знаменитые писатели и ученые. Огромную квартиру предоставили после войны Петрусю Бровке (сейчас там, по улице К. Маркса, 30, его музей). Но я была и в других квартирах этого престижного

дома, всем сегодня хорошо известного, сплошь увешанного мемориальными досками, например, в квартире незаслуженно забытого академика Николая Никольского. Я даже неплохо помню самого ученого, хотя и узнала его, когда он был уже безнадежно болен (позже я познакомилась с его трудами и сейчас поражаюсь, почему их не переиздают). Он оставил впечатление вот именно истинного интеллигента — еще дореволюционной закваски. Да и его поступки это подтверждали: во время войны он женился на женщине-вдове с четырьмя детьми, вырастил их и выучил. Все они, уже взрослые, со своими детьми, жили в огромной квартире, комнат на семь-девять, где я путалась в бесчисленных коридорах. И сам академик Никольский, и его зять Поссе, с дочерью которого я дружила, были историками. В их квартире оказалось много предметов народного быта и найденных при археологических раскопках вещей, чрезвычайно притягательных своей необычностью.

Мне приходилось бывать, правда, уже начиная с 1970-х годов и позже, у моей заведующей кафедрой и коллеги — Ольги Васильевны Козловой, дочери Председателя Президиума Верховного Совета БССР, прославленного партизанского командира во время войны, Василия Ивановича Козлова. Там на пять человек имелось восемь комнат, расположенных в двух уровнях: на первом этаже — помещение для охраны, которое после смерти Василия Ивановича осталось за семьей. Все сохранялось, до кончины Ольги Васильевны, в неприкосновенности: массивная мебель из ценных пород дерева, ковры, большие картины — подарки художников, шкафы-витрины с бесчисленным количеством сувениров. Новые владельцы этой шикарной квартиры все множество книг, ценнейшую библиотеку Козловых, выбросили прямо на улицу, хотя сын Ольги Васильевны, живущий в Москве, обещал отдать ее филологическому факультету БГУ, да, видно, забыл...

Кстати, некоторые писатели мебель тогда заказывали у частников. Мало кто знает о существовании в сталинские времена 114 000 промышленных артелей по стране (согласно А. К. Трубицыну). На них работало 2 миллиона человек, и они выпускали 6% продукции легкой промышленности — фактически и сегодня частники-производители выпускают столько же. А тогда в большом количестве — мебель, посуду, почти все детские игрушки (сейчас за ними охотятся коллекционеры). Это было *настоящее* предпринимательство.

Мой дед по маме Филат Азарович бондарничал частным образом. Очень много в Минске было частных портных, работавших по лицензии. Жены элиты только у них и шили. Помню, еще в начале 1950-х гг. по дворам ходили сборщики утиля из маленьких артелей и частники-точильщики режущих инструментов со своими ножными станочками. Они скоро исчезли как анахронизм, а вот к краснодеревщикам писатели обращались и позже. Так, Шамякину сделали замечательные дубовые стеллажи. Скорее, шкафы, с дверцами, но огромные — до потолка. Они и сейчас стоят у нас на даче.

Особый разговор о дачах. Первые дачи построили на Нарочи Максим Танк, Михаил Лыньков, Аркадий Кулешов. Дома были деревянными и без всяких изысков, похожие на подмосковные дачи российских писателей в Переделкино, за которые сейчас идет просто яростная драка среди собственно наследников, а также разных союзов писателей, выделившихся из, как говорят, «писательского сталинского колхоза» в начале 1990-х годов.

Вопрос об имуществе оказался чрезвычайно болезненным, поссорившим писателей из одного, казалось бы, идеологического лагеря (те, что в разных идейных лагерях, — уже давно в конфронтации). А ведь эти дачи — сталинские подарки — хозяева, совсем неплохо жившие в них десятилетиями, называли «золотыми клетками». Когда элита была чем-нибудь довольна?

Свой дом в Терюхе мы дачей никогда не называли. Еще когда мои родители после войны работали в Прокоповке Речицкого района и не думали переезжать в Минск, они начали строить себе дом (ветеранам лес выписывали вне очереди).

После переезда семьи в столицу дом переправили на родину мамы — в деревню Терюху под Гомелем. Филат Азарович и мой дядя Коля за несколько лет его доделали. Мы стали ездить туда с начала 1950-х годов каждое лето. Это был обычный деревенский, совсем небольшой, дом у речки, правда, с довольно обширным земельным участком, на котором мой дедушка высадил прекрасный сад, поскольку садоводство — в традициях нашей семьи, до революции и в 1920-е годы едва ли не самой богатой в большом селе. О жизни в Терюхе я писала не раз.

Терюха — это близость к земле, к простым вещам, обычным человеческим радостям, привычным для моих родителей с детства. Мы, дети, живя большую часть года в городе, занимаясь в школе, собирая металлолом, катаясь на коньках, все же постоянно мечтали о летней поездке в Терюху. Но так же — и наши родители. Шамякин горел нетерпением: скорее взять летний творческий отпуск, бежать от суеты, от борьбы амбиций и зависти коллег, от требовательности чиновников — к настоящей работе, милым людям, истинным ценностям. О маме и говорить нечего: она так до конца жизни и не стала по-настоящему городской жительницей, дамой из «высшего столичного общества». В деревне Шамякиным было легко, свободно, психологически комфортно — они намного лучше чувствовали себя среди простых тружеников, чем среди элиты.

Мама много занималась садом и огородом, пока мы — в 50—60-е годы — ездили в Терюху ежегодно и на все лето. После смерти в 1967 году дедушки Филата богатый сад еще поддерживался Николаем Филатовичем, но постепенно зарастал, вырождался, дичал — деградировал тогда не только наш сад, а и все в деревне, в стране...

Мы всегда со жгучим нетерпением ожидали летних поездок в Терюху и не разочаровывались никогда, но все же каждый год нас встречали какие-то не совсем приятные изменения.

Помню наше огорчение, когда в конце 50-х дядя Коля разрушил такую уютную печь, на которой мы в дождливые дни и вечера читали «Белого пуделя» Куприна, «Зайку-зазнайку» Михалкова и «Малахитовую шкатулку» Бажова, и соорудил вместо нее банальную грубку: тоже — мода.

Кстати, книг в доме было достаточно много — целый книжный шкаф — родители покупали их в Гомеле, Чернигове, Киеве. Но постепенно книги, как и многое другое, растаскивались, исчезали неизвестно куда. Вообще все мельчало, ветшало, никло, а люди вокруг опускались...

Я в последнее время пытаюсь вспомнить, когда, с какого момента началось стремительное движение вниз — под откос, к окончательному нравственному, культурному упадку? Помню, все происходило очень быстро, но что послужило первотолчком, спусковым крючком, причиной? По-видимому, год начала падения — 1960-й или 1962-й: тогда оказался запущенным маховик разложения, исходивший, безусловно, сверху. А вот самые незабываемые, самые счастливые, полные годы — полные именно незамутненными человеческими отношениями — пятидесятые.

Терюха еще долго, когда Шамякин стал уже городским жителем и государственным человеком, связывала его с деревенским миром, давала отдых, импульс для труда, материал для творчества. Фактически мои родители до конца жизни оставались душой на своей малой родине (в детстве Шамякин также какое-то время жил в Терюхе, где и познакомился со своей будущей женой).

В начале 60-х годов отца уговорили купить дом в дачном поселке Ждановичи около Минска — там же предложили дачи, построенные горсоветом еще в 1957 году, и некоторым другим писателям: Кондрату Крапиве, Петрусю Бровке, Петру Глебке, Ивану Мележу, Пилипу Пестраку. Шамякин дружил с Глебкой, видимо, тот и уговорил. Дачи Крапивы, Бровки и Глебки стояли несколько в стороне от поселка, и идти к ним нужно было через лес. Уже в начале 1990-х годов рядом с ними соорудила шикарную дачу гимнастка Нелли Ким, нарушив какую-то сложившуюся ранее гармонию. Какую, не могу сказать, но гармонию.

Самая роскошная дача оказалась у Андрея Макаенка — в поселке № 6, ближе к нынешнему водохранилищу Дрозды (а наш поселок — в нескольких километрах от Заславского водохранилища, называемого Минским морем).

Сначала Макаенок купил дачу просторную, но обычную. По доброте душевной пустил в ней зимой пожить знакомую супружескую пару. Они дом по неосторожности сожгли. Больше всего сам Макаенок и его друзья сожалели о сгоревших художественных произведениях Андрея Егоровича: вырезанной им из древесных корней мебели и элементов интерьера, собственном живописном автопортрете — у него были замечательные способности художника и декоратора. Возможно, ему самому стоило бы сделать чертеж и новой дачи. Но он тогда был самым успешным драматургом не только Беларуси — пожалуй, всего Советского Союза, и потому амбициозно заказал эксклюзивный проект у модного архитектора. Дача получилась громадной, модерновой, но неуютной. Мой отец Макаенку этого не говорил, чтобы не огорчать.

Судьбы больших стационарных дач писателей сложились по-разному, и в большинстве случаев драматично. Как-то наследникам они оказались не нужны. Правда, на нашей круглый год живет моя сестра Лина Ивановна. По соседству с ней и тоже постоянно — дочь Ивана Мележа Лариса с мужем Борисом. Но они дачу Мележа полностью, по собственному вкусу, перестроили, благо сами художники и очень мастеровитые. Какие-то дачи уже проданы или достались дальним родственникам. На даче Василя Быкова в том же поселке № 6 в 2014 году откроется музей.

В 1960-е годы многим писателям предоставили возможность построить так называемые садовые домики и выделили участки в 6 км от Заславля. Так возник поселок Взгорье-1, а позднее и Взгорье-2. Сначала были со стороны властей дурные ограничения в строительстве, и потому с ним оказалось связано множество трагикомических перипетий, сатирически отраженных в известной, тогда анонимной, поэме «Сказ пра Лысую Гару». Поэма претендовала войти в анналы белорусской литературы, дополнив травестийные произведения XIX века. Сегодня, когда большинства ее героев уже нет в живых, читаешь, стыдясь за авторов, а вовсе не за карикатурно изображенных героев.

Построенные садовые домики, а на самом деле — дачи, для многих писателей, когда продали Дома творчества в Королищевичах, а потом и «Ислочь», построенную при М. Танке и И. Шамякине, стали настоящим благословением. Ведь заработки ныне такие, что на курорты не поедешь. Домов творчества тоже нет. Золотой век далеко позади. Некоторые творцы, например, ветеран Великой Отечественной войны Алесь Савицкий, живут на дачах подолгу и заряжаются там, на природе, энергией.

Питание

Когда сегодня с пафосом говорят о «магазинах шаговой доступности», приходится только грустно улыбаться. При социализме все магазины были такие. Сошлюсь на центр Минска, так как он известен практически всем читателям.

Было четыре больших гастронома по проспекту Сталина (Ленина, Скорины, Независимости), размещенные близко друг от друга: так называемый «Под часами», далее «Центральный» (они и сейчас есть); ниже — «Купаловский», на пересечении проспекта и улицы Янки Купалы, и следующий — на площади Победы. Довольно большой по тому времени гастроном существовал и на улице Ленина, ближе к площади Свободы. Это район, где жила настоящая элита страны. Казалось бы, для нее постарались насадить через каждые двести метров крупную торговую точку. Однако здесь же — всегда полно туристов и людей, приехавших из провинции. Удобно оказалось и для них. Два больших гастронома располагались на привокзальной площади. Смутно помню и на площади Ленина, до ее,

собственно, создания в начале 1950-х гг. Вообще можно назвать немало мест, где были тогда гастрономы, а теперь — какие-то непонятные бутики, в которые никогда никто не заходит.

Кроме больших магазинов имелись специализированные. Так, хозяйки, жены писателей из нашего дома по ул. К. Маркса, 36, каждый день ходили «за угол», в хлебный магазин по улице Ленина, напротив Художественного музея; в молочный — на углу Ленина и К. Маркса (теперь здесь продают по заоблачным ценам мясо и колбасы); в рыбный — на улице К. Маркса, тоже почти на углу; и несколько дальше — в овощной на пересечении К. Маркса и улицы Комсомольской. Все очень близко, удобно.

Казалось бы, гораздо удобнее нынешние супермаркеты: ведь все собрано в одном месте. Однако это как посмотреть. Поскольку в детстве мне постоянно приходилось бегать по вышеназванным магазинчикам, то я хорошо помню, что очередей в них никогда не было: два-три, от силы пять человек. Это естественно, так как ходили туда каждый день, запасаться на неделю не было смысла; с буханкой хлеба и батоном, парой бутылок молока любой покупатель обслуживался быстро.

В современный супермаркет каждый день не походишь: и долго в очереди к кассе стоять, и дорого, и далеко — без машины вообще проблема доставки. Супермаркеты исключительно выгодны их хозяевам, выгодны городским властям и тем жителям, у кого все время автомобиль на ходу. Для пенсионеров — по существу непосильны.

Маленькие магазинчики существовали там, где их сегодня и представить себе трудно. На пересечении улиц Красноармейской и Кирова, где ныне здание БЕЛТА, ранее размещалось общежитие пединститута. О студентах позаботились: прямо в этом же здании работал магазин, который в нашем обиходе назывался «На ступеньках». Он был небольшой, забит под завязку, но обеспечивал практически всем необходимым, кроме садово-огородной продукции.

Сегодняшняя продажа овощей и фруктов особенно возмутительна — на фоне того, что помнит наше поколение. В то время фруктово-овощные ларьки можно было встретить на каждом шагу. Помню, например, постоянный на улице Ленина, на подходе к магазину «Молоко». По существу, это были просто столы, заставленные ящиками, и девушкам-продавцам торговать — при разной погоде — было сложновато. Но зато удобно покупателям. Только появились огурцы и редиска — пожалуйста, они на прилавке. Только созрели клубника и черешня — снова-таки ими торгуют широко. Раскупалось все быстро, потому залежалого товара вообще не было. И все, как правило, белорусское, хотя завозилось и украинское, молдавское. Но в основном — белорусское. Не очень гигиенично, совсем (по сравнению с сегодняшним днем) не красиво, но здорово и вкусно. Безвкусную клубнику и ватные яблоки вообразить себе тогда было невозможно.

Довольно долгое время, лет двадцать, все 1960-е и 1970-е годы, полки магазинов были сплошь уставлены консервной овощно-фруктовой продукцией из стран народной демократии. Очень вкусным оказалось венгерское лечо и болгарские компоты из персиков, абрикосов, вишен, груш. Все дешево, доступно, скажем, компот из вишен — 90 копеек, из персиков — 1 рубль 20 копеек (после денежной реформы 1961 года).

Молочного разнообразия, которое запомнилось в 1950-х годах, мы достигли, пожалуй, только сейчас. Не производились йогурты, но они ведь не очень полезны, сладки, зато были фантастически вкусные простокваша, ряженка, топленое молоко, феноменальные сливки, сметана.

В крупных гастрономах открылись отделы по продаже молочного коктейля, который готовился тут же специальными миксерами из молока и мороженого. Пить коктейль необходимо было сразу, пока он еще пышный, пенистый, воздушный. Между прочим, продавался кумыс в таких же бутылях, что и пиво, однако недолго. Молочные продукты в то время — исключительно в стеклянной таре,

но разной по размерам. В 1960-е годы появились треугольные кремово-красные пакеты для молока, а затем и прямоугольные. Но вкус постепенно, не сразу, утрачивался.

Вкус сыров также не сравним с нынешним. Особенно любим был клинковый сыр — истинно белорусский бренд. Какой-нибудь голландский тогда и сегодня — небо и земля. Элитарии нередко вояжировали в Вильнюс на электровозе за очень вкусными сырами. Вообще на поездки в Литву долго сохранялась мода: некоторые, далеко не забираясь, прямо у границы делали покупки в небольших городках. Прибалтийские сыры были гораздо вкуснее, чем многие современные европейские. В свою очередь, из Украины и России ездили за продуктами, особенно в 1970-е годы, к «машеровцам».

Некоторым семьям, в том числе и нам, примерно раз в неделю молоко, сыр, творог приносили хозяйки из деревни, по договоренности. Как интеллигенции, так и сельчанам оказалось выгодно (нам носили не менее двадцати лет, уже когда мы и на другую квартиру перебрались); но ведь крестьянам потому выгодно, что жилось им совсем не денежно. Вообще эта практика распространилась широко, особенно это касается военных, у которых не было деревенских родственников поблизости, или москвичей, ленинградцев, городских жителей в нескольких поколениях. Им и кабанчиков носили, и домашнюю колбасу раз в несколько месяцев, и к праздникам яйца, домашний сыр, мед. Заранее договаривались, и люди откладывали деньги на эти покупки.

В начале 1960-х годов пищевая промышленность и торговля стремились к новациям, к разным экспериментам. Производство кумыса, продажа молочного коктейля — такие эксперименты. Кроме того, крупные гастрономы попытались доставлять молочные продукты на дом — бутылки ставили перед дверью. Но не привилось, и неудивительно: кто из продавцов согласится с тяжелыми корзинами лазить по этажам, а домов с лифтами построили еще мало.

До 1960-х годов были в ходу продукты, которые впоследствии практически исчезли. Например, вологодское масло, шоколадное масло. Мы, дети, шоколадное масло на батоне очень любили. В шоколадном масле основой было *чистое сливочное масло*, смешанное с сахаром и какао-порошком. Сейчас полно похожих продуктов — шоколадные кремы, арахисовое масло с шоколадом, что-то подобное. Их основа — *маргарин*, обычно очень низкого качества — из пальмового масла. Вкус, говорят, странный, по сути чистый сахар. Вот откуда такое огромное количество больных диабетом!

Творожные сырки в шоколаде тоже в 1950-е годы выпускались, но затем на целые десятилетия из широкой продажи испарились, хотя продолжали производиться.

Торты в то время — исключительно масленые и с виду аляповатые. Но нужно помнить, что тогда не научились прибегать к химическим добавкам, которые держали бы в форме взбитые сливки, более легкие по сравнению со сливочным маслом. А вот небольшие пирожные расходились очень хорошо: подростками мы часто ходили в кафе «Весна», напротив Центрального книжного магазина, и поглощали там с кофе «безе», «наполеон», «картошку», «заварное».

Позднее рядом с кафе «Весна», на бульваре, стала тусоваться «золотая» молодежь, к которой мы себя не относили; в частности, об этом вспоминает в своей книге Александр Станюта, профессор, писатель, сын прославленной белорусской артистки Стефании Станюты. А у ее уже очень пожилого отца моя сестра Лина в начале 1950-х годов училась рисованию. Это я насчет многообразия талантов в одной семье. Ведь и внучка Александра Александровича Мелита, правнучка актрисы, в наши дни — талантливая спортсменка, чемпионка. Она явно не поглощает столько сладостей, сколько мы в свое время!

Кондитерский магазин «Лакомка» размещался на проспекте там же, где и сейчас, вблизи ГУМа. Было меньше видов печенья, но сортов конфет — очень много, причем гораздо более дешевых и, конечно же, вкусных. Мы часто покупа-

ли «Мишку на Севере», «Кара-Кум», «Белочку», «Птичье молоко». Однако существовали и совсем дешевые сорта — рабоче-крестьянские «подушечки» и любимые школьниками «тянучки».

Сладкая «сахарная вата» продавалась на улице, на углу Ленина и проспекта, под рестораном «Неман». Впоследствии там же именно этот ресторан наладил продажу свежеиспеченных булочек, прямо из окна полуподвальной пекарни; в результате по району, центральному «пятачку» Минска, часто витали дивные ароматы.

Мой отец каждый день с работы приносил мне маленькую шоколадку. Где он их покупал — не знаю, скорее всего, в столовой ЦК, что тогда располагалась в двух шагах от Союза писателей, на углу Энгельса и Кирова, в двухэтажном, еще дореволюционном, здании. Будучи молодым преподавателем, я тоже туда ходила на обед, пока весь этот квартал не снесли, когда строились новые корпуса ЦК КПБ.

Память о советском мороженом менеджеры широко используют и сегодня — якобы выпускают по рецептам того времени, даже 1948 года. На самом деле вкус все же не тот. Мороженое тогда продавали прямо на улице в специальных тележках. Так же, как и газированную воду: 3 копейки с сиропом, 1 копейка без сиропа. Десятилетие тележка с газировкой стояла на проспекте у входа в Театральный сквер, а напротив нее — мороженщица, к которой мы бегали каждый день. Соки из больших стеклянных конусов продавали не только в каждом магазине, но и во всех буфетах, столовых, кафе.

Конечно, это не очень гигиенично — пить из общих стаканов, есть сахарную вату на улице. Где мыли руки продавщицы пирожков или мороженого? Они же все время возились с деньгами. Сейчас с одноразовой посудой все намного лучше устроено в плане гигиены.

Кстати, о «точках общепита». Критиковали их в каждом номере «Вожыка» и «Крокодила», популярных сатирических журналах того времени, а также в «Фитиле», да и вообще везде. Справедливо. Но это уже начиная с 1960-х гг. А в 1950-е не то что в городе, а в любой деревне имелись чайные — фактически и клубы, причем, конечно, безалкогольные (умышленная алкоголизация населения особенно активно началась при Бреженеве). В каждой такой чайной, в каждой столовой хлеб на столах, соль, горчица и перец стояли *всегда*, и были *бесплатными*. Студенты, экономя стипендию, наедались хлебом с горчицей и чаем за 2 копейки.

О пресловутой колбасе. Потому «пресловутой», что о ней только и писали перед разрушением СССР: мол, советские туристы, увидев в магазинах за границей сотни видов колбас, падали в обморок. Колбаса во время «перестройки» возвысилась до буквально сакрального символа.

Вот сейчас и у нас несколько десятков сортов колбас. И что, стали счастливее? О генноинженерной сое, химических добавках, излишней солености и изменении к худшему вкуса я уж и не говорю — давно стало банальностью. Вообще плохо есть мясные продукты промышленного изготовления вместо чистого мяса! В те годы у части населения оставались родственники в деревне, а другим по договоренности из сел возили продукты — и это было натуральное мясо, сало, грудинка, домашние колбасы. Возможно, разнообразие сортов колбас было понастоящему востребовано только небольшой частью столичных элит, теми, кто уехал далеко от своих деревенских родственников, и некоторыми коренными горожанами. Большинство населения имело все свое!

Это правда: из советского времени запомнилось в продаже 5—7 сортов колбас. А зачем, в сущности, нужно больше? Зачем сотни видов шампуней, кремов, губной помады, зубной пасты? Ведь на самом деле они мало отличаются друг от друга — чуть изменен запах, цвет (всего лишь разные красители, ароматизаторы) — и все. А сколько химии, сколько при их производстве использовано чистой воды, которой человечеству катастрофически не хватает, сколько образовалось вредоносных отходов, губящих наше здоровье!

Видя сегодня заваленные разноцветные стенды и полки в магазинах, я вспоминаю пять видов зубной пасты в советское время, но зато «Поморин», «Лесная», «Жемчужная» действительно отличались друг от друга. Так и с колбасой — в три горла ее не запихнешь. Но в то время — дешевая, доступная, полезная, вкусная. Тем более, что в 1950-е годы, до разрушительных реформ Никиты Хрущева, сортов колбас и подобных изделий было на самом-то деле гораздо больше, о чем молчат. Довольно часто в «писательском» доме покупали буженину, ветчину, шинку, грудинку. Позднее, в 1960-е годы, появились не отделы, а магазины кулинарии. Ассортимент в них, по сравнению с сегодняшним, конечно, небогат, но все же неизменными оказывались антрекоты, лангеты, ромштексы, бифштексы, бефстроганов, цыплята.

Очень любят наши либеральные СМИ вспоминать, как и про недостаток колбас при социализме, «синих тощих кур». Те куры были действительно абсолютно диетическим продуктом, в них практически не накапливалось жира, потому они и выглядели худыми и синими. С них не надо было снимать кожицу — под ней не существовало жировой прослойки, как у современных кур. Советские синие куры рекомендовались для диетического питания, например, приготовления бульонов больным людям, во многих медицинских книгах того времени.

В «лихие» 1990-е появились «окорочка Буша» — американская курятина. Она быстро исчезла, поскольку не раскупалась, хотя стоила очень дешево. Вид окорочков был ужасен и отпугивал покупателей. Это гигантские ноги размером с конечности средней собаки, будто оторванные от монстров из американских ужастиков. Цвет имели желтый из-за феноменальной жировой прослойки — около 2 см! Кроме того, пласты жира обнаруживались и между волокнами мяса. Такого наши люди отродясь не видели. Врачи не знали, как квалифицировать этот продукт. Не могла быть диетической курятина, которая жирнее свинины!

В царской России среднее потребление мяса на человека в год — 11 кг, в СССР — 75 кг, во Франции — 106 кг, в Германии — 98 кг (по Юрию Мухину). Однако элита в СССР потребляла мяса гораздо больше, чем «в среднем».

Перед каждым Новым годом Иван Шамякин и Янка Брыль ездили на «Победах» в Раков покупать молочных поросят. В 1960-е годы, уже на «Волгах-21», часто отправлялись по субботам на базар в Столбцы. Где-то по дороге (не помню где, но по Брестскому шоссе) заходили в придорожный ресторан: он славился отменным супом с самодельными пельменями и черной икрой, которая там еще оставалась, когда в столице уже из магазинов безвозвратно исчезла.

В 1950-е годы рыбный ассортимент был исключительно богат: сомы, щуки, карпы и разная мелочь прямо в больших аквариумах, полки уставлены банками консервов с крабами. Я в детстве очень не любила консервы «Печень трески». В последующие десятилетия они стали дефицитом. Сама я не помню, но взрослые рассказывали о бочках с икрой в начале 1950-х, которую никто не брал. Рыбу тогда развозили в машинах-цистернах с надписью «Рыба» (были такие же и «Молоко»).

В наше время по буржуазному телевизору нередко издеваются над так называемым рыбным днем (четверг) в советское время. Снова-таки, как всегда, не договаривают до конца, не раскрывают сути дела. Рыбный день введен для пропаганды рыбы, которой было навалом, и она никогда не стоила дороже мяса (селедка — 90 копеек за килограмм, хек — 40 копеек). Рыбный флот на всех морях, окружавших СССР, — *тогда* был огромен, продукцию рыбаков, трудившихся в тяжелейших условиях, нужно было как-то реализовывать. Причем рыбный день вовсе не исключал рыбу в другие дни, а мясо в четверг. И вообще это не советское изобретение, а предложение академика Николая Яковлевича Данилевского в 1909 году, подхваченное Анастасом Микояном в 1930-е годы, но практически введенное в 1960-е.

Еще совсем недавно я радовалась, что остается осколок нашего детства — магазин «Рыба» на улице К. Маркса, и даже с той же оригинальной отделкой

цветным кафелем. Все надеялась, что устоит, — ведь это тоже уже дизайнерский раритет. Но нет, не устоял: дух торгашества побеждает любую эстетику, историческую память и здравый смысл. После реконструкции открыли пиццерию. Место полезной рыбы заняли тесто с кетчупом и пиво. И там сейчас сидит молодежь, мои студенты, обеспокоенные лишним весом и плохим цветом лица, поглощая именно то, что к этим проблемам приводит.

А мы в 1950—1970-е годы познакомились и с экзотическими продуктами. Приезжие из русской провинции всегда поражались, что у «машеровцев» в свободной продаже апельсины. Вот для них-то, бедных, это тогда была роскошь. С мандаринами ассоциируется запах Нового года, когда они появлялись в огромном количестве, привезенные из Грузии.

В детстве мы буквально объедались мандаринами и так называемыми «райскими» яблочками из Крыма: их папа из магазина приносил ящиками.

В какой-то период продавали и бананы, потом в Минске они исчезли, а в Москве в крупных гастрономах можно было приобрести. Помню, мы покупали их, как ни удивительно, в киоске Московского зоопарка. Никто сейчас не вспомнит, а в связи с чем Советский Союз вдруг несколько лет был завален бананами. Как мне кажется, это были бананы из Ямайки, в которой в 1970-е годы к власти пришло правительство, взявшее курс на социализм, а потому надеявшееся на помощь от СССР взамен за свои бананы, благо ничего другого предложить не могло. Сегодня бананы — надоевшая реальность, на них и не смотришь. Но в то время все заграничное манило необычайно.

В наше время экзотического фруктово-овощного изобилия появляются публикации о необходимости питаться тем, что произрастает на собственной земле. Не думаю, что это рекламный ход для того, чтобы покупали белорусское. Ведь логически рассуждая, так и должно быть: генетически организм привык к определенной пище — именно той, какой питались предки.

Сегодня количество передач по телевизору, посвященных кулинарии, буквально зашкаливает — по каждому каналу и не один раз в день. Кроме рекламы собственно продуктов и кухонного оборудования, а также «элитных» ведущих (все рванули в повара, как и в писатели), преследуется, по-моему, в таких передачах еще одна цель: приучение публики к смешиванию различных ингредиентов, добавлению многочисленных специй и приправ — для того, чтобы замаскировать отсутствие вкуса в очень многих, ныне промышленно выпускаемых по упрощенным технологиям продуктах.

Нередок, впрочем, в таких передачах и политический подтекст, всегда антисоветский, и откровенная провокация. Как прозвучало в мае 2013 года у Ивана Урганта в «Смаке»: «Порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». В ответ — протест Украины. Урганта заставили извиниться. Он с удивлением извинился, совершенно не поняв — за что: ведь изгаляться над святым, говорить о человеческих трагедиях в манере стеба, снижая любые значимые символы, — норма на российском телевидении. К этому приучают население с 1990-х годов, и уже давно преодолен болевой порог. Вот в Голландии по телевизору уж пробовали и человечину!

Конечно же, питание сегодня и при социализме отличалось основательно. В желтой прессе, а тем более по буржуазному ТВ, в том числе возмутительному белорусскому Первому каналу, принято издеваться над сталинской «Книгой о вкусной и здоровой пище» — якобы манила она советских людей только картинками, в реальности ничего подобного не было. Констатирую — было. Даже я помню.

Поскольку современные читатели вряд ли мне поверят, обращаюсь к свидетелю — известнейшему русскому писателю Владимиру Солоухину, отнюдь не просоветскому деятелю, а монархически настроенному почвеннику, из семьи раскулаченных крестьян, обличителю Ленина. В 1968 году в эссе «Третья охота» он, например, писал: «И вот теперь, когда за витринами магазинов лежат грече-

ские маслины, копченая рыба, куропатки и даже мясо кальмаров...» и т. д. Или в его же «Черных досках» из тех же лет: «Так и охотник может купить тетеревов или глухаря в магазине Центросоюза, где продают не только тетеревов, но медвежатину, лосятину, зайчатину и даже торгуют благородными оленями, составляющими, бывало, предмет королевской охоты». Конечно, он имел в виду Москву. У нас вряд ли лежала медвежатина, хотя иногда дичину в магазинах потребкооперации писатели покупали. Напоминаю, что говорю об элите, то есть, по тогдашней терминологии, советской интеллигенции. Хотя и среди крестьян было полно охотников, иногда, чего греха таить, браконьеров.

Мне можно бросить упрек, что, описывая довольно красивый и безусловно сытный быт элиты, я не подчеркиваю, что все это достигалось за счет безмерной эксплуатации деревни. Наоборот, как раз о страданиях деревни и мой отец, и его коллеги-писатели писали очень много. И кстати, улучшения на селе — во многом именно их заслуга, поскольку среди чиновников в то время было немало любителей чтения, и они прислушивались к мнению писателей. Да и просто встречи литераторов и представителей власти случались часто. Иван Шамякин и Андрей Макаенок или Шамякин и Максим Танк по четыре часа беседовали с Машеровым, к которому заходили запросто. Снова подчеркиваю: они не «прикорытники», а искренние радетели, как и тот же Машеров, о благе народа — всего народа, не «элит», не олигархов.

Я наблюдала, как постепенно богатели сельчане, но в 1950-е годы даже в довольно близкой (20 км) от крупного областного города Терюхе жили еще очень бедно. Не хватало денег на покупку посуды, тканей, мебели, тем более мотоциклов и машин, которые появятся в 1970-е годы. Но не голодали. На земле невозможно голодать, если не лениться.

И наша семья, и друзья отца очень любили деревенскую еду, особенно из печи, которой угощали мамины родственники: летний борщ, или холодник; каши — гречневая с салом, пшенная с тыквой; яичница со шкварками; оладьи и толстые блины — они у моих тетушек получались фантастически вкусными; кисель из разных ягод. Самое незабываемое впечатление детства: собранная собственными руками лесная земляника, залитая молоком, посыпанная сахаром. Практически каждый день на столе в деревне — рыба, грибы, творог с разными ягодами. Да, не разносолы, но еда полноценная и здоровая.

Естественно, и городские жители, выходцы из села, еще в значительной мере сохраняли привычки деревенские. Во многом это было обусловлено тем, что у большинства наших знакомых в деревне оставались родственники. Например, нам к каждым праздникам родные обязательно привозили свежатину, овощи и фрукты.

Чем запомнился праздничный стол 1950-х годов? Прежде всего, большим количеством разных маринадов. Шинкованную капусту на зиму мы ставили всегда — вплоть до конца 1990-х годов, до смерти мамы. Впрочем, и сегодня моя сестра Олеся с мужем Сергеем традицию сохраняют. В те далекие времена моего детства женщины из «писательского» дома любили по осени угощать друг друга свежеприготовленной капустой — она действительно у всех получалась на удивление разной.

На балконах в бочечках, сделанных руками дедушки Филата, у нас стояли моченые яблоки антоновки, маринованные грибки и огурцы. И все это служило закуской перед основными блюдами. Всегда много варилось варенья, сушились боровички. Кстати, из них мама делала свое фирменное блюдо, обожаемое нами и всеми коллегами отца, — грибную икру.

Среди других закусок на праздники назову салат из крабов, салат из печени трески, замечательный паштет из говяжьей печенки, вареную свеклу, залитую жареным луком, неизменную селедку «под шубой».

Иронически упоминаемый в наше время, когда говорят об СССР, — «оливье» — появился позже, как предвестие нынешних разнообразных салатов.

Однако и в 1980-е годы, кроме уже банального «оливье», мы на праздники готовили «Шапку Мономаха» с огромным количеством ингредиентов, среди которых курага, чернослив, грецкие орехи. Еще у нас дома нарезались помидоры, причем разного цвета, и слоями между ними укладывался тонко нарезанный лук, политый кукурузным маслом. Получался специфический вкус и помидоров, и маринующегося в их соке с маслом лука.

Обязательно варился холодец (у нас назывался «холодное»). Много разной рыбы — семга, палтус, осетрина. Часто, даже в будние дни, готовился вареный язык, делались котлеты из индюшатины. Естественно, множество других мясных блюд — сальтисон, домашняя колбаса, ветчина. Окорок мама на Пасху запекала целиком, нашпиговав чесноком. На Новый год — поросеночек с хрустящей корочкой, совершенно в духе народных традиций, еще языческих — славяно-германских. Летом — фаршированный мясом запеченный кабачок. Обычно говорят, что пироги с разными начинками — визитная карточка русской кухни. Но думаю, это также общеславянская традиция, дошедшая до нас из глубокой древности. На Пасху всегда пекли куличи и красили яйца луковой шелухой. В семье моего мужа, русской, но жившей после войны в Беларуси, в кулинарии сохранилось гораздо больше истинно русских предпочтений, скажем, очень частыми были именно пирожки, пироги, оладьи, гораздо реже, чем у нас, готовились салаты.

В нынешнее время мои дочери делают десятки одних только салатов, в том числе с экзотическими овощами и фруктами, типа авокадо. Конечно, такое разнообразие несколько десятилетий назад трудно себе представить. Но и на Западе всякая экзотика в то время не была так уж распространена. Глобализация в еде развивалась на наших глазах. И это не может не радовать (если бы не генная модификация и разные химические добавки).

В то же время поражает деградация, даже утрата культуры национального застолья. Ведь в 1950-е годы обеды обязательно состояли как минимум из трех блюд. Мама не представляла стол без супа, борща, летом — окрошки, холодника. И у нас, и у наших соседей, у кого были дети, не мыслились трапезы без сладкого — компота, киселя, мусса, самодельного печенья или пышек, печеных яблок и груш, персиков из болгарского компота, в крайнем случае, варенья.

Алкогольные напитки никогда не выставлялись на стол в бутылках (считалось дурновкусием) — их обязательно разливали в разнообразные хрустальные графинчики. Суп — в супницы, соус — в соусницы. В каждой семье были сервизы с большим количеством посуды разных форм. Невозможно себе представить, чтобы селедочку выложили не в специальную селедочницу.

И завтракали, и обедали у нас в семье все вместе — за круглым столом, чистая скатерть на котором — обязательна. Центральная, самая большая комната, называлась не гостиной и тем более не холлом, а столовой.

Однако по мере нашего взросления и все большей занятости родителей все это как-то постепенно исчезало, улетучивалось, мельчало. Да и не только у нас. Жизнь еще не хаотизировалась и не опошлилась до такой степени, как сейчас, но становилась все менее ритуализированной. Хотя в брежневские времена еще полно было свободного времени — для путешествий, созерцания природы, чтения, встреч с друзьями. Я — тогда уже доцент — такого жуткого гнета чиновничества на нас, преподавателей, не чувствовала. Потому, кстати, и хотелось творить, экспериментировать — энтузиазм не затухал.

Но я о другом. Откуда была первоначальная культура застолья у тогдашней элиты, бывших деревенских парней и девчат, пусть даже они и переселились довольно рано в города? Конечно, что-то подсмотрели, будучи в гостях у русских, украинских, польских коллег. Да та же «Книга о вкусной и здоровой пище» эту культуру прививала — вот ее настоящая функция. И все же, думаю, культура питания, в том числе сервировка стола, принесена именно из деревенского детства. У зажиточных крестьян, как семья моей мамы, она укоренилась и оказалась

сохраненной в трудные годы. А вспомним описания застолий в «Новой земле» Я. Коласа. Не такие уж сермяжные наши предки!

Каждая семья могла похвастаться своими фирменными блюдами. Они же — и любимые. Поскольку я часто обедала у своей подруги Люды Карповой, как и она у нас, то упомяну о еде в их доме, во многом типической для писательской общины.

Нередко, как и мы, Карповы готовили драники, которые поливали сметаной или подливой с грибами. Вообще грибы — конечно же, не шампиньоны, а самые разные лесные и в разных видах, — водились практически в каждом доме. Добавление грибов ко многим блюдам — специфика именно белорусской кухни.

Мария Михайловна Карпова часто готовила и картофельные зразы с начинкой из мясного фарша, а также кисель из овса с молоком. Как и у нас, в их семье — неизменные котлеты с гарниром из разных каш или с картофельным пюре. Владимир Борисович любил суп с бараниной — ее чаще всего приходилось покупать на рынке. Снова-таки его пристрастие не случайно, поскольку Карпов не белорус, а русский, а в России в степной зоне баранина привычна. У нас не готовилась никогда.

На праздники Мария Михайловна всегда удивляла изумительной фаршированной щукой по еврейскому рецепту. И еще она делала роскошный торт «Наполеон», который начинала готовить за три дня до праздника.

У ее соседки Клавдии Ходкевич, жены писателя Тараса Ходкевича, коронное блюдо — голубцы. Когда она их готовила, потрясающий запах шел по всему дому. Точно так же при приготовлении Лидой Киреенко пастилы из разных фруктов: почему-то она варила не варенье, а именно пастилу, которую мы, дети, называли карамелью.

Нет, нельзя назвать в детстве наш стол убогим. А вот позже, уже взрослыми семейными людьми, если мы с братом не заходили обедать к маме, то перебивались вот именно колбасой, покупными пирожками или булочками с кофе.

Искусственно поддерживаемый дефицит принуждал гоняться за тем, что как раз не было полезным, — за твердокопченой колбасой, растворимым кофе, шпротами. Все это в свободной продаже отсутствовало, но почему-то в каждом доме водилось.

Сейчас ясно, что уже тогда отрабатывались методы создания разного рода дефицита, чтобы в конце 1980-х годов, во время горбачевской «катастройки», сделать его тотальным и тем самым дискредитировать идею социализма.

Оскудение стола советских людей специалисты связывают с разными причинами. Скажем, со значительной урбанизацией — процессом во многом объективном. В самом деле, когда сельское население после войны составляло более 60 %, ему городскую элиту прокормить было легче. В 1960-е годы молодежь из деревни массово устремилась в города (вспомним «Сено на асфальте» Михася Стрельцова). Повысились запросы. Стало на всех не хватать.

Однако главная причина, о которой сегодня пишут многие специалисты, — волюнтаризм, невежество Н. С. Хрущева. Ведь многие продукты насовсем или на какое-то время стали исчезать именно при его правлении. А причины их исчезновения? В 1959 г. личный скот призвали сдавать в колхозы, а приусадебные участки практически уничтожили, либо же на них установили непосильные налоги. Мгновенно оскудели рынки и магазины сельской кооперации. Вот тогда в магазинах появились первые на моей памяти очереди.

Тогда же, в конце 1950-х гг., в Новосибирском Академгородке была создана под руководством академика Аганбегяна команда из молодых специалистов для разработки концепции ликвидации «неперспективных деревень» (согласно историку Владимиру Карпецу). Скоро этот процесс — ликвидации, укрупнения — принял лавинообразный характер: в маленьких населенных пунктах закрывались школы, магазины, не проводились электричество и газ.

Сегодня о начале уничтожения деревни при Хрущеве молчат, но это — главное, и это катастрофа. Всем памятна эпопея с кукурузой. А стоит вспомнить и дурацкое создание совнархозов, нарушивших всю систему управления хозяйством. В 1960 г. были практически полностью уничтожены промартели и стали проявляться негативные последствия распашки целинных земель. В 1962 г. обнаружился недостаток белого хлеба. Наша мама бегала в кафе или в соответствующие отделы гастрономов, брала кофе с булочками, чтобы принести их детям.

С 1963 г. СССР стал покупать пшеницу в США. Правда, с конца 1960-х гг., после негласного договора о признании советским правительством полета американцев на Луну, нам стали продавать зерно в два раза дешевле, чем на мировом рынке. Я это связываю именно с «лунным проектом». Хотя бы додумались какую-то пользу извлечь — уже при Л. И. Брежневе и белорусе Андрее Громыко, министре иностранных дел, по прозвищу «господин “нет”»! А Н. С. Хрущев — проводник как раз либеральных экономических реформ, и как видно с «высоты» нашего времени, — совершенно разрушительных. Но за это его и любят нынешние либералы, отцы которых от «хрущевской оттепели», главного антисоветского мифа, больше всех и получили. Простому человеку стало только хуже.

Отдых

Сложно назвать писателя, который не любил бы читать. Впрочем, чтение для литератора — не отдых, а работа. Чтение вообще — работа, в отличие от просмотра телепередач, кино, созерцания картин и скульптур.

Наилучший отдых — путешествия. Во многих поездках писателям приходилось выступать, участвовать в нудных заседаниях, а все же сама дорога, знакомство с иной природой, культурой, людьми невероятно обогащает духовно и дает разрядку от унылой повседневности.

Куда и как ездили элитарии в советское время? Начнем с поездок по миру. Ужасы сталинизма, в том числе в запретах на выезд, — жупел для тех, кто не знает настоящей истории, ее феноменальных парадоксов, сумасшедших противоречий, безграничной сложности, фантастического переплетения причин и следствий.

В 1920-е годы ездили за границу многие. Владимир Маяковский еще не считался «самым талантливым поэтом эпохи», но каждый год путешествовал то во Францию, то в Америку, где у него родилась дочь.

Для некоторых творческих работников, как и для партийных руководителей, нормой считалось ездить лечиться на курорты Европы. Да, вояжировала за границу элита. Но и сейчас простые люди не ездят лечиться за рубеж, а лишь избранные, очень и очень немногие!

В 1933 году, то есть уже при фактической власти Сталина (в 1920-е годы о ней говорить еще нельзя, о чем, кстати, молчат), писатели Илья Ильф и Евгений Петров вместе с художником Борисом Ефимовым путешествовали вокруг Европы и посетили Америку. Илья Эренбург, автор термина «оттепель», постоянно жил во Франции, хотя считался советским гражданином. В 1930-е годы активно колесили по миру Александр Фадеев, Константин Федин, Федор Гладков, Исаак Бабель, Валентин Катаев, Валентин Никулин, Александр Киршон и многие другие.

Белорусские писатели выезжали в 1935 году в Париж, причем Я. Коласу он не понравился.

Вырваться *работать* за рубеж тогда и вправду было сложно, но для настоящих талантов возможно. Биолог Николай Вавилов объездил весь мир, был в 180 (!) международных экспедициях, добывая разные растения для ботанических коллекций. Какая фантастическая уймища народных денег ушла на его экспедиции! Его репрессировали, но мало кто знает — за что.

Физик Петр Капица, проработав более десяти лет в Англии, в 1934 году приехал в СССР. Снова за границу его и правда не пустили, предоставив, однако, наилучшие условия для работы и жизни (сохранились воспоминания). А генетик Николай Тимофеев-Ресовский так и проработал два десятилетия в нацистской Германии.

В то время — приоритет общественного долга, а не личного хотения. А долг требовал отдавать свой талант родине.

Конечно, все сложно, неоднозначно. Ясно, что денежные люди, какой-нибудь Николай Рерих с его мировым именем, собственный дом, как в Индии, вряд ли имел бы в СССР, потому и не возвратился, а вовсе не потому, что боялся Сталина (сын художника, ученый Юрий Рерих вернулся в Советский Союз в 1950-х гг.). Николай Константинович слишком заботился о здоровье (полезно жить в горах), привык к комфорту (чтобы обязательно были слуги из низших каст).

Они все любили комфорт — потому за него и продавались: писатели, артисты, спортсмены. А вот былой славы, такой, как в СССР, за границей никто из них — Виктор Некрасов, Андрей Тарковский, Савелий Крамаров, Олег Видов, Елена Соловей, Родион Нахапетов, фигуристы Белоусова и Протопопов — не имел. Сегодня умненькие, типа Евгения Евтушенко, Андрона Кончаловского, Михаила Задорнова, колесят туда-сюда, чтобы здесь, не дай бог, не забывали.

Ныне чрезвычайно модный русский писатель Захар Прилепин пишет в статье «Сортировка и отбраковка интеллигенции» (2013): «А. Тарковскому было невыносимо в СССР, и он уехал. Почему в этой ситуации нельзя вообразить Шукшина? Они же в одной стране жили, и были великими режиссерами». Почему уезжал Василь Быков? Смешно ведь говорить, что его здесь травили. Но бытовые условия в 1990-е годы для всех были не очень комфортные. И почему живет за границей поэт Алесь Рязанов, мой однокурсник? И зная его, я могу ответить — почему. Однако повторяю: все сложно, люди — разные, осуждать никого нельзя, но указывать на эту разность — стоит. Потому что интересно, когда люди разные.

Во время Второй мировой войны многим, кто служил в армии, простым белорусским парням, пришлось увидеть Европу. Например, мой отец дошел практически до Берлина — его контузило в 30 км от столицы Германии в последних числах апреля 1945 года. Но затем он еще более года находился в стране и даже неплохо выучил немецкий язык — так, что потом его преподавал. Притом, если демобилизовавшиеся воины тащили из поверженной Германии различное барахло, то Шамякин вез два мешка книг — исключительно книг. У других бывших солдат, даже наших родственников, мне приходилось видеть вывезенные из Германии вещи.

Но вот после речи Уинстона Черчилля в Фултоне в 1946 году опустился «железный занавес». Его причина — даже не столько идеология, сколько финансы. Сталин отказался подписать Бреттон-Вудские соглашения 1944 года, по которым доллар становился мировой валютой — задержал, негодяй, победное шествие по миру доллара, вплоть до развала СССР. Но все же холодная война началась, и не Советский Союз ее провозгласил. При этом миф о «железном занавесе» — один из самых распространенных, которым усердно пичкают молодежь, так что она совершенно уверена, что советские люди жили как бы за стеной, типа Берлинской (недаром о ней так много разговоров), ничего о жизни на Западе не знали и, конечно же, никогда туда не ездили. Поскольку с молодыми я работаю, то знаю совершенно точно, что именно так они себе «железный занавес» и представляют.

А что было на самом деле? Действительно, деловые люди не ездили далее стран народной демократии и государств так называемого третьего мира. Но это ведь половина планеты! Почему забывают о том, что советские специалисты строили огромное количество предприятий, иных объектов в странах Африки и Азии. И получали за это неплохие деньги, на которые приобретали квартиры

в СССР! А сейчас — тратят деньги на поездки, чтобы жариться на солнце, оставляют заработанное на родине в чужих странах.

Например, советские инженеры и рабочие возводили одну из величайших в мире — Асуанскую плотину на Ниле в Египте. Когда в 1970 году президент Египта Анвар Садат, придя к власти после неожиданной и крайне подозрительной смерти своего предшественника Гамаль Абдель Насера, выгнал, чуть ли не в 24 часа, всех советских специалистов, речь шла, помню, о десятках тысяч человек, да еще с семьями.

А строили же и мощные комбинаты, железные дороги, порты в Китае, Индии, Вьетнаме, Бирме, Анголе, Сирии, на Кубе, да где только не строили! В некоторых странах Латинской Америки наши геологи помогали в разведке полезных ископаемых. Ясно, что это все — не державы первого ряда, но нахождение во многих из них — странах с высокой, даже величайшей, древней культурой, конечно же, развивало советского человека, открывало широкие горизонты, стимулировало процесс мышления.

Ездили за рубеж и с другими целями. Как известно, Сталин настоял, чтобы Белоруссия и Украина, кроме собственно СССР, стали членами ООН. Поэтому с самого начала существования этой международной организации, на сессии, которые продолжались четыре месяца, всегда вместе с дипломатами ездили наши писатели. Очень часто — Петрусь Бровка, Петр Глебка, Михаил Лыньков. Один раз, в 1963 г., и Иван Шамякин. Он видел Джона Кеннеди за несколько недель до убийства президента, и, кстати, молодой лидер США моему отцу, чисто по-человечески, понравился. Однако больше в Америку Шамякин ездить отказывался, хотя и предлагали. Но зато поездили многие другие писатели, даже моя одногодка и однокурсница, замечательная поэтесса Женя Янищиц.

Естественно, колесили по мировым гастролям советские театры, ансамбли, хоры. Театр оперы и балета, цирк, кукольный театр, ансамбль народных инструментов под руководством Иосифа Жиновича, «Хорошки» и другие белорусские коллективы ежегодно выезжали за рубеж. Некоторые прославленные ансамбли из России — «Березка» под руководством Надежды Надеждиной, ансамбль танца под руководством Игоря Моисеева — вообще в родной стране почти не гастролировали, постоянно находились в зарубежных поездках; в СССР, пожалуй, только за наградами приезжали.

В различных престижных спортивных соревнованиях обязательно выступали советские спортсмены, хотя впервые СССР участвовал в Олимпийских играх, начиная с 1952 года. Имеют ли вообще нынешние молодые люди представление о выдающихся успехах советских спортсменов: хоккеистов, фигуристов, легкоатлетов, тяжелоатлетов — скажем, Юрия Власова, и борцов — нашего Александра Медведя (кумиром Арнольда Шварценеггера был именно Власов)?

Суммируя все выше названные группы, а также дипломатов, получим сотни тысяч выезжавших за рубеж работать.

Я говорю о работе за рубежом, имея в виду, что там же и отдыхали. Собственно туристические поездки не были распространены так, как сейчас. Но забывают один существенный момент: они не были распространены и в мире. И понятно, почему. Только что закончилась страшная, опустошительная, жесточайшая мировая война. Везде, кроме США, — даже в богатой, грабившей свои колонии Великобритании, восстанавливали разрушенное, жили бедно, трудно, фактически выживали. Вспомним итальянские фильмы неореализма: как невероятно сложно приходилось простым людям. Не до поездок. А в Великобритании — согласно романам Агаты Кристи того времени — затянула туже пояса даже элита, задушенная непосильными (до 70 %) налогами и карточками, отмененными, кстати, на несколько лет позже, чем в Советском Союзе.

Тем не менее как раз в СССР писатели и другие творческие работники выезжали довольно часто. Это были дни культур, недели советского кино и литерату-

ры, форумы сторонников мира, конференции, а фактически — знакомство с той или иной страной.

Художники, например, дружившая с нашей семьей Нелли Счастная, за рубежом нередко проводили и свои выставки. Еще в 1950-е годы отец и его коллеги — именно в составе делегаций — побывали не менее чем в двадцати странах. Дальше — больше. Янка Брыль и Олег Лойко посетили даже Индию. Многие, кто легок на подъем, объездили полмира. Скажем, председатель Союза писателей Беларуси Максим Танк.

В социалистические страны Шамякин, как и многие другие литераторы, выезжал регулярно, фактически ежеквартально — в Польшу, Чехословакию, Болгарию, ГДР, Румынию, один раз был в Югославии. Из капиталистических стран особенно часто мой отец посещал Финляндию и Бельгию.

И вот что значит белорус. Ведь с финнами Шамякин воевал почти всю войну. Немцы-летчики, за которыми охотился зенитчик Шамякин, — для него довольно далекая, в небе, абстракция. А с финнами на Карельском фронте приходилось не раз встречаться лицом к лицу. Они были невероятно жестоки, коварны, вероломны, злее немцев. Но после войны Шамякин, очарованный любезным финским приемом, все постарался забыть, простил. А в Бельгии и вообще завел друзей из русских эмигрантов.

На курорты Болгарии профсоюзы многих белорусских предприятий просто силою посылали своих работников. И не элиту, а простых рабочих на заводах, лучших колхозников. Ну, ладно Болгария. Она считалась почти советской республикой. Но Иван Мележ с женой путешествовали вокруг Европы, мои родители — на теплоходе по Дунаю (семь стран), и все в начале 1960-х годов.

Моя сестра Лина в 1960 году по туристической путевке месяц провела во Франции. Она выбрала именно Францию, поскольку в то время училась на французском отделении Института иностранных языков. Скажут, как же, дочь Шамякина, могла себе позволить! Но она же была не одна, а группы формировались регулярно. Кстати, во Франции она, благодаря хорошему знанию французского языка, познакомилась с Пабло Пикассо и его семьей, имеет его автограф.

В 1961-м или в 1962 году группа белорусских писателей, также по туристическим путевкам, путешествовала по Франции. Тогда произошел трагический случай. Один из писателей — Всеволод Кравченко, женатый на сестре Пимена Панченко, в парижском отеле покончил жизнь самоубийством — выбросился из окна, оставив сиротами трех детей. Вообще версии его совершенно непонятной смерти распространялись разные. Может, и не сам выбросился... Темное дело. Тем не менее поездки продолжались.

Это «железный занавес»? При том, что книг о других странах, скажем, журналистов-международников или ученых, часто иностранных, выходило множество. Я эти книги собирала — так что имею материальные свидетельства, могу предъявить.

А наша детская переписка с одногодками из самых разных государств, клубы интернациональной дружбы? А Юрий Сенкевич, который снимал чрезвычайно популярный на ТВ «Клуб путешественников» буквально во всех странах мира, — его как отпускали? Также много ездил Николай Дроздов, бессменный, в течение сорока лет, ведущий программы «В мире животных».

Проще говоря, если человек хотел знать о других странах — он знал. Вот именно *знал*, а не пробавлялся изредка, когда возникает срочная необходимость, информацией из интернета. Но разве обывателям нужно было «забивать голову» знаниями? Совсем другое им нужно — потому и талдычат ныне про свое. Работать на Западе за как можно большие деньги и там же жить, отдавая за квартиру половину заработанного, — вот заветная мечта. Главное, как считается, — свобода. Что это — никто на самом деле толком не знает. Про внутреннюю свободу

им лучше не рассказывай. И не важно, что разные законодательные ограничения появились на Западе еще раньше, чем у нас. Важно про свободу постоянно вещать, и вот в ней все совершенно уверены. Тем более наши обыватели. Ну, дали вам европейцы или канадцы возможность устроиться у себя, — у западников, кстати, тут свой интерес. Но не нужно думать, что это долго продлится: уже сегодня в западных странах полно лишних людей, даже белых. Во время последнего финансово-экономического кризиса повыкидывали на улицу коренных американцев — что уж про эмигрантов говорить. И в Германии, Франции машиностроительные заводы сокращают не только приезжих, а и своих. Пожалуй, свободных мест ни для кого нет. Даже мест посудомоек скоро не будет. Экстравагантный писатель Эдуард Лимонов, в прошлом эмигрант на Западе из СССР, это хорошо показал.

Не буду спорить, что мечта о загранице во многом была обусловлена возможностью привезти тамошние тряпки или аппаратуру. Не понимаю, как я обходилась отечественной... Но все же и импорт существовал. Я уже писала о прекрасных вещах из Китая, которые своей красотой и долговечностью намного превосходят нынешний китайский ширпотреб. Есть у меня несколько высокохудожественных вещей из Египта и Индии, купленных в Минске еще в 1960-е и 1970-е годы (торговали с дружественным Насером и руководящей индийской семьей Неру-Ганди). О продуктах из Венгрии, Болгарии, других соцстран я писала. С удовольствием мы покупали игрушки из ГДР, начиная с 1950-х годов. Когда в 1979-е годы заработала «труба» и пошли «газовые» деньги, за них приобретались товары уже из западного мира, например, обувь из Италии, пальто из Бельгии, косметика из Франции (духи «Ив роше» и «Клима» — по 40 рублей, тушь для ресниц — 7 рублей; очень дорого, но никто денег не жалел).

Импорт шел чрезвычайно высокого качества. Не все, конечно, что хотелось бы, и не в таких объемах, как хотелось бы. Но как-то доставали. «Достать» — модное тогдашнее словечко. Были свои парадоксы времени. Но когда и где их нет?

Говоря о «железном занавесе», необходимо иметь в виду, что все лучшее из западной культуры мы получали сразу же и были в курсе мировых модных тенденций. Скажем, в одежде. Журналов мод в газетных киосках продавалось не меньше, чем сейчас, правда, все из стран народной демократии — болгарские «Лада» и «Божур», польские «Урода» и «Женщина и жизнь». Очень следил за мировой модой эстонский «Силуэт» — хотя советский журнал, но самый «продвинутый». Немецкий журнал «Бурда» свободно не продавался, но с ним можно было познакомиться в библиотеке. Часто наши «Работніца і сялянка», «Работница», «Крестьянка» (да, названия характерные) перепечатывали выкройки из «Бурды», а это и нужно было советским женщинам, так как многие тогда шили сами. Журналы по дизайну широко пошли в 1980-х годах, в том числе даже французские. А в предыдущие годы я выписывала журнал «Декоративное искусство СССР», в котором, в отличие от «Архитектуры СССР», цензура и не ночевала: проповедовался исключительно модерн и все зарубежные новации. Как я чуть попозже поняла, приучали советских людей завидовать западному, одновременно размывая эстетические критерии.

В 1950-е годы, действительно, в дефиците были пластинки модных западных певцов типа Элвиса Пресли, вот тогда-то их и записывали на рентгеновские снимки. В этом свой шик! Как и в стилягах, которых нигде, кроме СССР, не было, — это наше культурное достояние, а вовсе не свидетельство бедности! Ведь многие стиляги шили сами, комбинировали с фантазией, со вкусом. Нередко сотворенное ими выглядело намного лучше, чем у героев зарубежного кино и писклявых музыкантов, которым наши пытались подражать. Получалось, что подражатели — лучше оригиналов! Впрочем, советские сатирические журналы высмеивали, видимо, правильно, и непроходимую пошлость стиляг, типа их галстуков с обезьянками. Нельзя не вспомнить, как мгновенно отреагировала и промкооперация: артели сразу же стали выпускать подобные галстуки и муж-

ские туфли на невероятно толстой подошве — микропорке, что тогда считалось писком моды.

Нынешнюю молодежь убедили, что при социализме постоянно был дефицит музыкальных записей. Но уже в 1960-е годы я совершенно свободно покупала виниловые пластинки с зарубежной эстрадой, записями опер. Кстати, мои коллекции помогли бы опровергнуть многие нынешние мифы, например, о «гонениях» на Владимира Высоцкого. А его большие диски 1970-х годов, выпущенные в государственной фирме «Мелодия», свидетельствуют о чем? Как и его вояжи по миру с женой Мариной Влади. Они и в Минске прогуливались, встречали мы их на проспекте, когда Высоцкий снимался на «Беларусьфильме» в ленте по роману Алеся Адамовича «Война под крышами».

Приезжали с гастролями, в том числе в Минск, действительно, мировые знаменитости, настоящие творцы, а не козлоголосые бездари: Поль Робсон, Има Сумак, Мирей Матье, Лолита Торрес.

На московские кинофестивали съезжались вообще все мировые звезды. Советские кинофильмы — «Большая жизнь», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Сорок первый», «Война и мир» — тогда получали самые престижные премии на международных кинофестивалях. Все советское было невероятно популярно в мире, и западная элита премиями угождала общественному мнению. Сегодняшние слюнявые рассказики некоторых артисток о том, как сложно добывались платья, чтобы ездить за границу, на форумы или на гастроли, — вообще-то неправда. Я регулярно выписывала «Советский экран» и видела: советские очень часто выглядели лучше, чем зарубежные звезды. Видимо, им шили кремлевские портные. Нередко звезды проговариваются и хвастаются, что оказывались в самых оригинальных и роскошных нарядах. Конечно, трудно и дорого быть лучше всех, вот у них и остались воспоминания о сложностях.

«Железный занавес» существовал (и то относительно, учитывая, сколько людей ездило за рубеж), чтобы не пропускать в СССР разную погань. Да, порнографию и ужастики не покупали. А мировые шедевры кинематографа нам были хорошо известны. В Минске, а не где-то еще, я посмотрела все великолепные киноленты итальяского неореализма. Кто сегодня о нем знает и помнит? А ведь ярчайшая страница мирового кино.

Очень много в СССР покупали французских мелодрам («Мужчина и женщина», «Шербургские зонтики») и комедий («Закон есть закон», «Замороженный», «Великолепный», «Человек-оркестр», «Дьявол и десять заповедей», три серии «Фантомаса» появились в прокате еще в 1960-е годы, причем зрители не поняли, что это пародия). Индийское кино — невероятно популярно, кумиром советских женщин был Радж Капур, позднее — Метхун Чакроборти. Немецкие киноленты, из ФРГ, покупались антивоенные, типа «Привидений замка Шпессарт». Запомнились отдельные киноленты из Греции, Испании, Великобритании. Лучшие голливудские («Анна Каренина», «Моя прекрасная леди», «Вестсайдская история») были широко известны.

Есть еще один аспект проблемы, о котором молчат. О возможности легко, за копейки, ездить по собственной стране — огромном СССР. И что, любознательным людям не было на что посмотреть? Разве вся прелесть природы и шедевры искусства только на Западе?

Я объездила Советский Союз не за родительские деньги, а за собственную стипендию и зарплату преподавателя. В многочисленные советские музеи какое-то время невозможно было попасть из-за километровых очередей. Вот с начала 1990-х годов даже в Москву съездить доценту уже стало проблемой. Начали ездить совсем другие люди, и не в музеи. Что ж, каждому — свое. И, видимо, для каждого — свое время. Только не нужно обманывать молодых, к месту и не к месту оплевывая СССР.

Разве не стыдно нашим журналистам и интеллектуалам по любому поводу, о чем бы они ни говорили, вспоминать недобрым словом времена социализма.

Мученики наши! Как же тяжело им, бедным, жилось! Только имели *бесплатные* квартиры, дачи и машины, каждый год ездили на курорты, издавали свои книги, получали совсем не копеечные, как теперь, гонорары, а также научные степени, звания, премии, прочие награды. Но это же так мало! И потом, туалетную бумагу невозможно было достать, а колбасы — всего-то пять сортов! Ну не мука ли?!

Если серьезно, то все, кто считает себя элитой, должны бы знать, что элита — настоящая элита — всегда *жила трудно*. Но только в трудностях происходит любое развитие. Ударила жизнь по советской элите. Ударит и по нынешней. Нужно достойно принять свою судьбу. Но мучились ведь в основном от зависти — к своим более успешным коллегам (названным «прикорытниками») и к западным обывателям. В любом случае поноси́ть прошлое своей страны — прошлое сложное, драматическое, но и героическое, — для *элиты* по́шло, низко, позорно!

...По своей стране писатели, художники, артисты ездили часто и чрезвычайно охотно. Один белорусский художник даже рассказывал своему другу Шамякину, что над сибирским озером, куда приехал на этюды, он видел НЛО с лучом, прощупывающим воду. Не поверить солидному человеку мой отец не мог, хотя в инопланетян, конечно же, абсолютно не верил, тем более тогда (дело было в 1970-х). Не знал, что думать.

В те же годы, 1970-е, у меня, молодого преподавателя, была приятельница-коллега с кафедры славянского языкознания Наташа. Бывшая ленинградская студентка, она так восхитилась неординарностью мышления нашего историка Вячеслава Зайцева, что вышла за него замуж, хотя он был на тридцать лет старше ее.

Вячеслав Зайцев — личность в то время очень известная в белорусских академических кругах. Он горячо, страстно и где-то даже убедительно отстаивал версию о прилете на Землю инопланетян или же о существовании на планете цивилизаций задолго до нашей — допотопных. Его даже показал в своем всемирно нашумевшем фильме «Воспоминания о будущем» небезызвестный Эрих фон Деникен. (Кстати, фильм этот тогда же купили, и попасть на него было невероятно трудно.) В конце концов Зайцеву предложили либо отказаться от своих экстравагантных взглядов, либо положить партбилет на стол. Он положил партбилет и ушел в монастырь где-то в России. А Наташа вернулась к родителям в Ленинград. Вот такие интеллигенты тогда тоже были. Об идеях Зайцева, о научных увлечениях и паранаучных суевериях советской интеллигенции я надеюсь написать в отдельной работе, поскольку сама в большой степени — их продукт.

Я часто рассказываю студентам о культурных, утонченных японцах, которые в разные сезоны выезжают на природу — любоваться то цветущей сакурой, то летним звездным небом, то осенью хризантемами. Но ведь и нас родители приучали к тому же! Писатели целыми компаниями — Шамякины, Макаенки, Кулаковские, Василевские — выезжали весной — смотреть разливы рек, в основном Березины и Немана, собирать вербу, подснежники и другие цветы; осенью — по грибы и клюкву. Но скорее — «на костер». В 1950-е годы еще не были распространены шашлыки (началось поветрие с 1960-х), а жарили на кострах в основном сало и пекли картошку. И это доставляло огромное удовольствие и детям, и взрослым.

Карповы обязательно делали для Люды миниатюрные садики — чем не японский бонкэй! — на подносе во мху грибки, веточки брусники, красивые листочки, камешки. Так формировали у дочери художественный вкус и любовь к природе.

Замечу, что ездили-то на собственных машинах — они были только у элиты. Но дороги — ужасные. В 1950-е годы готово было довольно узкое тогда шоссе «Брест—Москва». Все остальные дороги — неизбывное впечатление детства — всегда в бесконечных объездах, они только строились. На сельских и лесных грунтовых, когда мы ездили к папиным родителям, вообще «сидели» в грязи часами, ожидая проезжавшего грузовика, чтобы вытянул. Тем не менее ездили

часто. Всегда на курорты — на своих машинах. В Одессу Шамякин поехал, еще не умея водить. В Крым, в Прибалтику — считалось нормой.

Хотя отцу-водителю было сложно, а мы доезжали от Юрмалы до Минска за один день, но зато дети имели возможность многое посмотреть. Так, по дороге из Одессы Олейники повезли белорусских гостей в Умань, в знаменитый парк Софиевка, основанный графом Потоцким. Парк не был еще полностью восстановлен после войны, но все равно производил огромное впечатление. Еще запомнился на Украине высоченный курган, сплошь насыпанный, словно богатыри постарались, из огромных валунов — видимо, это был остаток Змиевых валов, о происхождении которых и сегодня спорят ученые. Сохранился ли ныне тот курган, ведь камни сегодня нувориши широко используют при строительстве своих дворцов?

У нас в Беларуси тоже было что посмотреть даже тогда. В начале 1960-х годов Шамякины, Карповы и Ходкевичи, уже не на «Победах», а на «Волгах», как-то отправились на Брестчину. В то время на машинах еще пускали в Беловежскую пущу, и мы там даже ночевали, постоянно опасаясь нападения зубров. Но видели их только в вольере рядом с музеем пущи. Кстати, мой отец всю жизнь дружил с директором Беловежской пущи, а впоследствии заместителем министра лесного хозяйства, Владимиром Романовым, тоже ветераном Великой Отечественной войны.

Осмотрели мы тогда и Брестскую крепость, где еще не создали скульптурный комплекс; и лазили на верх Белой вежи. Но, конечно же, туристических объектов, бережно отреставрированных, культурно обустроенных, как сегодня, тогда еще Беларусь практически не имела: недавно кончилась война, многие здания — в руинах, денег на все не хватало. Хотя вокруг Ленинграда, скажем, дворцы в пригородах — Петергофе, Ломоносове, Павловске — стали восстанавливать после войны, и заняло это несколько десятков лет. Стоило бы помнить, что *начинали* — сразу после освобождения страны. Это меня всегда поражало: казалось — до того ли?

Приученные к путешествиям, сначала на машинах, мы в отрочестве и юности стали пешими туристами. Например, пешком ходили на Нарочь и обошли озеро вокруг. О маршрутах вокруг Минского моря и говорить нечего. Среди моих коллег-преподавателей были такие завзятые туристки, что однажды две из них за лето пешком дошли до Волгограда!

Существовали пешие походы выходного дня. Отдыхая на курортах, мы никогда не валялись на пляжах среди развязной московской публики, а всегда обходили окрестности или ездили на экскурсии.

Кроме туризма были в советское время и другие виды отдыха. Шамякину нигде так хорошо не работалось и не отдыхалось, как в Терюхе. Он писал всегда только до обеда. А после — поездки на машине в лес по грибы и ягоды, на Сож и в луга, регулярно — в Гомель, Чернигов и Киев. К нам в Терюху очень часто приезжали гости — коллеги-писатели: русские, ехавшие из Ленинграда отдыхать в Одессу и Крым, и украинские — те путешествовали в Прибалтику, в Ленинград и Москву. Особенно часто заезжали именно украинцы — шумные, говорливые, остроумные. Степан Олейник, удивительно похожий на Тараса Бульбу, очень любил нашу семью, приезжал в Терюху с женой и приемной дочерью Олесей именно в гости, а не как-то проездом.

В Терюхе для гостей устраивались рыбалки на Соже и на его старицах с удивительными славянскими названиями — Казара, Качье; походы в тогда достаточно дремучие леса. Шамякины любили «угощать» и экзотикой: возили на одно из озер, где рос, думаю, доледниковый реликт — водяной орех чилим: плоды у него черные, колючие, а вареные вкусом похожи на пищевые каштаны.

Белорусские писатели, ездившие на южные курорты, тоже обязательно ночевали в Терюхе. Некоторые просто, как и Олейники, приезжали пожить — Андрей Макаенок, Алексей Кулаковский, Владимир Карпов — почти всегда с семьями.

Все молодые, веселые, шутливые. Помню постоянные розыгрыши, подначки, явную страсть некоторых литераторов к авантюрам. Никаких телевизоров тогда в деревне не водилось, и как же без них красиво и интересно жили!

Размещались на чердаке, всегда заполненном сеном, или спали в машинах. Никто не обращал внимания на отсутствие привычного комфорта. Жили радостно и приязненно — к природе, деревенским людям, друзьям...

Особенно часто заезжал Андрей Макаенок, родина которого недалеко — на Рогачевщине, и с ним обычно ездили на Сож. Родители обязательно брали меня, Лину и брата. Незабываемые там пейзажи: необъятные луга и дубравы около извилистой — не могучей, но достаточно полноводной и широкой — реки, по которой скоро стали ходить из Гомеля в Киев «Ракеты». Довольно часто выбирались на живописные старицы Сожа.

Папины знакомые лесники пропускали его с гостями в такие глухие места, куда в то время ездить запрещалось, — видимо, таились в густых борах какие-то военные объекты. Сегодня, знаю, там сплошные туристические базы и Дома отдыха. Тогда — укромные уголки, а в старицах — полно рыбы. Шамякин и Макаенок пристрастились аристократично ловить на спиннинги — им почему-то не очень везло, но охоты не отбивало.

В головах молодых Ивана Петровича и Андрея Егоровича постоянно возникали какие-то авантюрные прожекты. С большим энтузиазмом они каждое лето обсуждали будущий пеший поход по Беларуси. Все ж таки в молодости Шамякина не покидала жажда передвижения — при всей его любви к оседлости, домашней уютности (притом скромной). Над планами писателей их жены только усмехались. И правда: друзья активно собирались тридцать лет, но так и не отважились отправиться в дорогу.

Уже в 1990-е годы я знала молодую пару — журналистов, которые пешком обошли Беларусь по диагонали и по периметру, не раз совершали паломничество в Полоцк. Когда-то паломничество было нормой. Мой глубоко верующий прадед каждое лето ходил, еще до революции, из Терюхи в киевскую Лавру. Может, потому и нас, его потомков, что-то звало в путешествия, а в Киев тянуло буквально ежегодно. Меня — еще посозерцать, не в паломничество, мою дочь Машу — уже именно с этой целью.

О посещении элитой церквей по зову сердца в советское время речь, конечно, не шла. Наслаждались как художественными объектами. Но к природе отношение оказалось именно благоговейным. Многие писатели, художники, партийные работники были в то время рыбаками и охотниками. Я знала и страстных приверженцев «третьей охоты» — заядлых грибников. Среди хорошо мне знакомых — Олег Лойко, Иван Науменко. Интересно, что кто-то свое увлечение смог передать детям, кто-то — нет. Но вообще бродить по лесу, находя в этом наилучший отдых, любили очень многие.

Бывших деревенских парней и девчат тянуло к земле, к сельской идиллии. Именно потому они завели дачи под Минском. Как правило, все они сами высаживали плодовые деревья и кустарники, и в садоводстве находили радость. Отец запрещал вырубать совершенно выродившиеся яблони — считал живыми.

Художники больше стремились к оригинальному оформлению домов, дач, например, народная художница Беларуси Нелли Счастная, семья Ларисы Мележ и Бориса Семилетова, наших соседей по даче. Они постоянно находились в поиске необычных решений, деталей. Все это было, однако, принципиально не то, что проявилось позже, во время бума строительства коттеджей и особняков в 1990-е годы у представителей разной торговой и прочей мафии. Именно мафии, потому что за трудовые деньги трехэтажный особняк с бассейнами и теннисными кортами не построишь. Достаточно сравнить дачи настоящей элиты, которая имела при социализме большие гонорары, и нынешние дворцы.

На самом деле в этих виллах и окружавших их садах все стандартное, покупное, пошловатое — типа гномиков у бассейнов. А у художников — собственные

творческие находки. Среди них назову альпийские горки, которые у Мележей каждый год получаются разные и гораздо лучше, чем у более богатых соседей с их садовниками и дворниками. У Нелли Счастной (вообще-то на даче их жили четверо сестер и брат Коля) вспоминаю занавеску на веранде из камешков — куриных богов. И удивительные вязаные Татьяной Счастной вещи. Жаль, что сегодня мало кто стремится к такому художественному самовыражению, а ведь именно теперь появились и материалы, и аксессуары, и цветы, саженцы редких деревьев. Правда, моя племянница стала очень хорошим мастером почвейка.

Нужно воздать должное и советской власти, давшей, пусть и небольшие — по шесть соток, но собственные наделы земли очень и очень многим труженикам. Нигде за рубежом такого явления не было. Иностранные гости нам открыто, не зная о муках строительства, завидовали. Нынешнее появление большого количества строительных материалов не может не радовать, в советское время на них был дефицит.

Однако из всех видов отдыха самым важным было для элитариев постоянное общение друг с другом — вот именно «роскошь человеческого общения». На примере «писательского» дома по ул. К. Маркса, 36 это особенно показательно.

Постоянно ходить в гости к соседям — в порядке вещей, просто жизненная необходимость. У нас гости не переводились, потому что жена Шамякина — исключительно гостеприимна. У меня осталось впечатление от времени 1950—1960-х годов: мама на стол постоянно подает и убирает, подает — убирает. Но даже без непременного вечернего стола захаживали коллеги-писатели поговорить о делах Союза писателей и журналов, о книжных новинках — ведь все книгочеи.

Но особенно часты разговоры о политике. Друзья — Макаенок, Шамякин, Кулаковский, Василевский — вообще говорили очень откровенно, доверяя друг другу. Я невольно через стенку слушала. Еще когда мои однокашники, друзья о политике понятия не имели, я ею буквально пропиталась.

XX съезд КПСС и доклад Н. С. Хрущева «О культе личности» обсуждались чрезвычайно горячо и долго. Были сторонники и противники обоих — Сталина и Хрущева, каждому из литераторов оказалось что вспомнить. Впрочем, родные наши и папиных друзей пострадали мало — они ведь были крестьяне, а от репрессий гибла партийная и творческая элита. Все единодушно утверждали, что в 1937 году и позже они, шестнадцати-семнадцатилетние, о репрессиях понятия не имели, даже жившие в городах.

Однажды один из наших пожилых гостей-писателей, не помню кто — он вскоре и умер, рассказывал об обстановке в Минске в 1937 году: работники высоких учреждений, не дожидаясь арестов, выбрасывались из окон, стрелялись, травились. В результате властная элита поменялась почти на 100 %. Кстати, в Минске в 1930-е годы велось делопроизводство, существовали школы и выходили издания на четырех официальных языках: белорусском, русском, польском и еврейском.

Однажды зимой мама меня послала разыскивать отца: работа в Союзе писателей давно закончилась, а его все нет и нет. Оказывается, его четыре часа держал на морозе Алесь Кучер, объясняя, почему в 1937 году он не мог не писать доносы. По своей всегдашней деликатности Шамякин, хотя мерз, не прерывал наболевшую исповедь своего старшего коллеги.

Нынешний известный русский исследователь времен сталинизма Юрий Жуков, который глубоко изучил архивы, утверждает, что за каждым «делом» репрессированного — как минимум два доноса на него.

В середине 1950-х годов из Сибири вернулись Владимир Дубовка (он часто приезжал в Минск из Москвы, и я его хорошо помню), Сергей Граховский, Ян Скрыган, Федор Кулешов. Нашим соседом в доме по ул. К. Маркса стал Ян Скрыган, с младшей дочерью которого Галей я дружила. Ян Скрыган (вот уж кто — настоящий интеллигент!) довольно откровенно рассказывал Шамякину

о своей жизни — рассказывал то, что мы не читали в «Архипелаге ГУЛАГе» А. Солженицына, да и вообще нигде не читали — ни тогда, ни теперь. Многие украинские писатели, в свою очередь, вспоминали о кровавой деятельности Н. С. Хрущева, первого секретаря ЦК, на Украине в 1930-е годы, а московские — о его же призывах к репрессиям в Москве. Почему мне их рассказы запомнились так хорошо, но оказались отвергнуты Шамякиным?

Многие произведения И. Шамякина 1950—1960-х годов написаны в русле доклада Н. С. Хрущева. Он вообще к нему относился лучше, чем к Л. И. Брежневу, и тем более — к М. С. Горбачеву и Б. Н. Ельцину. И хотя я в 1990-е годы и в начале «нулевых» приносила отцу книги ученых, в том числе иностранных, с аргументированными разоблачениями доклада Хрущева по всем его более чем 60 пунктам, отец остался при своем мнении. Скорее всего, ему так глубоко в душу запала исключительная атмосфера 1950—1960-х годов, что он на всю жизнь связал ее с именем Хрущева.

Да, атмосфера 1950—1960-х годов была удивительная, и для меня тоже это — наилучшее в жизни время. «Физики» и «лирики», вечера поэзии в Политехническом музее, журнал «Юность», песни Булата Окуджавы, романтика «Алых парусов», туристических походов и открытия новых земель. Недаром же мои брат и муж стали геологами, вечными бродягами.

У нас, детей интеллигенции, приученным к чтению, — еще были и многократно перечитанные собрания сочинений Майн Рида, Фенимора Купера и Жюль Верна, «Библиотека приключений», «Библиотека фантастики», постоянные подписки на научно-популярные журналы: «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Знание — сила», «Техника — молодежи», «Юный натуралист», «Юный техник». Жили в постоянном поиске, в мечтах, в стремлении ко все более дальним горизонтам.

Но только назвать стоило бы ту среду и дух времени не «оттепелью» (это слякоть, хмурое небо, грипп), а как-то иначе, учитывая, кстати, при всей обаятельной для элиты атмосфере, ухудшение общего состояния общества. Вернее, все, как и сегодня, состояло из парадоксов, невообразимых противоречий и переплетений добра-зла.

При всех заслугах Хрущева в даровании некоторых свобод все же больше тогда, как мне кажется, действовала *инерция Победы*, волна послевоенного восстановительного энтузиазма, которая затухала не сразу, постепенно. И наше поколение имело счастье ее застать. А на самом деле, как я показала раньше, вспоминая детали, жизнь в 1960-е годы значительно примитивизировалась. Достаточно вспомнить похвалу Никиты Сергеевича показать по телевизору «последнего попа», взрывы церквей в центре Минска, закрытие в 1961 году Киево-Печерской лавры. Н. С. Хрущев фактически осуществил экономическую и духовную контрреволюцию, но никто этого не заметил среди либеральных, постоянно звучащих побрякушек, общей, что правда, динамики в творческо-художественных процессах — бардовских песнях, повестях Василия Аксенова, многих отличных комедиях и прочего, так притягательного для нас тогда.

Все же полагаю, что мой отец под конец жизни не застыл в своем мнении, а не знал, как в случае с НЛО, что думать. Вот именно *не знал, что думать*. Это его и погубило: подсознание дало установку на самоуничтожение. Ведь неизвестно, какая предсмертная болезнь унесла Шамякина — при том, что в полном разуме он оставался до конца.

Как драматично принимал Шамякин новую реальность и оценивал прошлое, свидетельствуют его дневники последних лет жизни. А тогда, в 1950—1960-х годах, ничто не предвещало будущего краха державы, которую большая часть элиты полагала родной. Однако писатели, конечно же, знали намного больше, чем публиковалось в официальных изданиях. Например, Андрей Егорович Макаенок, который общался со многими московскими драматургами, режиссерами и артистами, говорил мне о существовании за рубежом двухсот

научно-исследовательских институтов по изучению национальной психологии народов СССР — вплоть до добывания этими институтами стенных газет разных учреждений и предприятий. В тех же специфических зарубежных организациях — специальные отделы по придумыванию анекдотов для наивных советских людей.

Естественно, я в душе по-юношески ничему этому не верила, считая, что взрослые находятся в плену у советской пропаганды. Но в 1990-е годы прочитала о том же у многих солидных, в том числе зарубежных, авторов. Потому сегодня, познакомившись с некоторыми белорусскими якобы юмористическими журнальчиками, сплошь заполненными мерзкими анекдотами про дурных жен и врагинь тещ, я думаю об общей установке, данной понятно откуда, — уничтожении института семьи, родительства, романтической любви, всех привычных для человека ценностей. Ведь отрицать исчезновение и деградацию их в нашей реальности уже невозможно. Но только читатели анекдотов не всегда понимают, что даже в юморе идет работа на некую определенную задачу.

А про плен советской пропаганды я рассуждала тогда напрасно. Отец и его друзья мыслили очень критично и ответственно. Многие их прозрения подтвердились через двадцать лет. Не предвидели они только одного — ликвидации СССР. Хотя военный конфликт допускали. Видели опускание культуры и морали. И если в отношении Сталина и Хрущева их мнения разделились, то в 1964 году, после свержения Хрущева и установления власти Л. И. Брежнева, они оказались единодушны в убеждении, ставленником каких сил он был. И все 18 лет правления Брежнева с этой мыслью и прожили.

Действительно, уже при Брежневе диссидентура реально определилась. Она делилась как бы на две части: высшие обслуживали властную элиту, являясь помощниками, советниками, спичрайтерами Генсека и членов Политбюро. Леонид Ильич снисходительно-добродушно называл их — «мои социал-демократы», то есть видел их нутро, но нюансов, конечно же, не улавливал. Вторая часть — в основном творческая интеллигенция. Иногда Председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов высылал творцов за границу — вовсе не в наказание, а чтобы сохранить, дать известность как гонимым, мученикам, подчеркнуть их якобы значимость.

О диссидентах пишет, правда, уже в наши дни, известный кинорежиссер и актер Никита Михалков: «Я уважаю людей, которые высказывают свою точку зрения, но принципиально не приемлю диссидентства. Потому что, как правило, это борьба не с чем-то конкретным, что мешает жить, а борьба вообще. Борьба с тем, что являет собой принцип власти и силы. Диссидентство — это отрицание. А мне неинтересно ни говорить, ни делать то, что я не люблю. Неинтересно говорить, как я не люблю Ленина. Мне интересней рассказывать, как я люблю Обломова. И вообще объединение людей вокруг «нет» опустошительно. Только те, которые объединяются вокруг «да», могут что-то создать. Меня интересует возможность созидать. <...> Мне объясняют, что интеллигенция всегда была в оппозиции к власти. А почему это должно быть так? <...> Если я верю, что решения власти вызваны искренним желанием сделать стране лучше, я готов ее понять и вместе с ней нести все тяготы». Именно так ощущали себя белорусские интеллигенты, но... до определенного момента. Именно до того момента, когда увидели окружение Л. И. Брежнева.

Я не раз писала о временах Л. И. Брежнева, которые многие мои сверстники вспоминают как золотой век социализма. Я отмечала, что этот период можно рассматривать либо в качестве *передышки* между невероятно сложными мобилизационными сталинскими годами и хаосом «перестройки», либо как постепенное омещанивание народа и *деградацию* советского проекта, прежде всего из-за *предательства элиты*.

В самом деле, можно подходить ко времени правления Л. И. Брежнева поразному. Как и к любому времени. В каждом — в каждой эпохе, десятилетии,

годе, даже дне — есть и хорошее, и плохое, и парадоксальное, и абсурдное, невообразимое — с точки зрения наших потомков.

Я очень многое с энтузиазмом принимаю в нашем времени. Почему бы нет? Ведь я — из 1960-х годов, времени НТР — научно-технической революции. Мы страстно увлекались фантастикой, горячо интересовались научными и техническими достижениями. Очень многие прорывные идеи того времени, пропагандируемые в так любимых мною до сих пор научно-популярных журналах, реализованы именно сейчас, а многое и до сих пор не осуществлено.

Эх, те бы милые, сердечные, дружеские отношения между людьми да соединить с нынешними техническими достижениями, о которых мы так мечтали! Можно ли не любить сегодняшнее время, когда в нем сбываются мечты юности! Но, как говорится, какой ценой?! Многое душа не принимает. Может, это пока, — надо надеятся, что от удивительных изобретений мир и правда станет лучше, как мечтали советские фантасты? Просто люди в растерянности. Мы сразу получили слишком много и не сообразили, как этим пользоваться. Стоило бы изучить мечты тогдашних молодых, чтобы лучше оценить сегодняшнее.

Помнить историю нужно и по другой причине. Вспоминая, я даже сама удивляюсь, насколько глубоко мы носим в себе минувшее: прошлое определяет нас, людей XXI века, — буквально все в нас! Моя любовь к деревне — от детства в Терюхе; мои курсы лекций и публикации по истории мировой культуры — от хождения по музеям и путешествиям в отрочестве; библиофильство, корпоративный дух — от общей атмосферы «писательского» дома; подписка, до сих пор, на двадцать изданий ежемесячно — от традиции семьи; любовь ко всему необычному и загадочному (даже докторскую диссертацию защитила о самом загадочном в филологии — о мифе) — от любимых книг в подростковом возрасте. И что бы ни взять — проросло из прошлого. Время хотя и течет, но в человеке — остается.

Так и в обществе: наше ближайшее прошлое, как бы это кому ни было противно, — советское. Мы из него вышли, выросли, видим ежедневно вокруг. А свое прошлое, чтобы понимать себя нынешних, нужно знать.



ИВАН ШТЕЙНЕР

Восхищенъ быть до третього неба...

(Обретение Бога в поэзии А. Рязанова)

Белорусская культура, прежде всего литература, развивалась, как и у всех европейских народов, на основе христианства. Вспомним святую заступницу земли нашей Евфросинию Полоцкую, Кирилла из Турова, Симеона Полоцкого, Афанасия Филипповича, который и писать начал после того, как увидел на небесах Крест животворящий и Богородицу, а в келье услышал праведные звуки. Красочно значимость вечной Книги и слова Божьего для жизни телесной и духовной раскрыл великий Скорина в Предисловии к Библии:

В сей Книзе вси законы и права, имиже люде на земли справоватися имають, пописаны суть. В сей Книзе вси лекаръства душевные и телесные зуполне знайдете. Ту навчение философии добронравное… Ту справа всякого собрания людского и всякого града… Ту научение седми наук вызволеных достаточное. Хощеши ли умети грамматику… знайдеши в зуполной Бовлии, Псалтыру, чти ее. Пак ли ти ся любить разумети логику… чти книгу светого Иова или Послания светого апостола Павла. Аще ли же помыслиши умети риторику… чти книги Саломоновы… Восхощеш ли пак учитися музики, то ест певници, премножество стихов и песней светых по всей книзе сей знайдеши. Любо ли ти ест умети аритметику… четвертыи книги Моисеевы часто чти. Пак ли же имаши пред очима науку геометрию, еже по-руски сказуется землемерение, чти книги Иисуса Наувина. Естъ ли астрономии или звездочети — найдеш… во Иисусе Наувине… во книгах Царств… во светом Еувангелии… Аще ли же кохание имаши ведати о военных а о богатырских делех, чти книги Судей или книги Махавеев, более и справедливее в них знайдеш, нежели во Александрии или во Тройи. Пак ли же вократце сведати хощеши много тысещей лет летописецъ, что книги Паралипомена… Почитай книги Иисуса Сирахова а Притчи Саломоновы… Чтимы ж уставичне светое Еувангелие, а, чтучи е, наследуимы делы нашего избавителя Иисуса Христа…

В древние времена *художественное творчество* воспринималось как проявление богоподобия человека, его неотъемлемое составное начало, присущее только людям, ибо возносит оно их даже над ангелами: *Человек — есть животное словесно, мрътвѣно, ума и художѣства приятьно* (И. Дамаскин). О творчестве как долге перед Богом говорится в Евангелии от Матфея и в посланиях Павла. Существует целая традиция воспринимать само творчество, а творческие способности человека как проявление подобия с Богом; их представляли своеобразным даром и вместе с тем наказанием для человека, тем более что и дар, и кара даются последнему совершенно независимо от воли и желания последнего. Забывая об этих первоосновах, мы совершенно неправильно воспринимаем значимость морально-эстетического явления, известного нам под неопределенным названием *древняя литература.* Мы не можем выйти из контекста современности, взглянуть на онтологические проблемы творчества глазами и сердцем далеких предков.

Правда, встречи Пушкина с шестикрылым Серафимом; экстаз в мгновения осветленных импровизаций А. Мицкевича; мелисы-пчелы, приносящие вестнику богов Платона сакральные слова на уста еще напоминают о былом величии.

Слово исходное при зарождении было связано с огнем, зрячим камнем, заревом новой жизни, началом творения Вселенной. Ибо невозможно представить обыкновенными людьми древних пророков и евангелистов, склонившихся над пергаментом в мучительном ожидании вдохновения и поисках сопутствующей формы для фиксации и передачи глыбы неизмеримой мудрости. Скорее всего, он и не творец в современном понимании слова, ибо не имеет права даже запятую сместить с соответствующего ей места в боговдохновленной письменности, во всем уподобляясь Моисею, спускающемуся с Синая с уже завершенными каменными скрижалями. Перед нами действительно пророк, волхв, пророчествующий не свое и не от себя, именно поэтому он сродни бесноватому, тем более что по существу является одновременно приспособлением — óрганом, и инструментом — оргáном. Он прежде всего великий посредник. Его собственная человеческая сущность — и душа, и разум, и чувства — в этом величественном акте практически не востребованы из-за своей соизмеримости в реализации великого замысла. И это присуще не только библейским пророкам и евангелистам. Даже сам апостол Павел вынужден был стремиться к недостижимому, разрушая законы греческого языка, бессильного отобразить мудрость небесную, в своем неудержимом стремлении найти максимально адекватный способ передачи великой тайны. И апостол Петр свидетельствует о внеземном начале подобных книг, вдохновленных тайной и величием: *Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали Его святые Божии человеки, движимы Духом Святым.*

Ф. М. Достоевский считал, что *человеку от природы свойственно чувство сомнения и ущербности, ибо человеческий разум устроен так, что он постоянно не верит в себя, не удовлетворяется собой и потому склонен свое существование считать недостаточным. Отсюда возникает стремление к вере (Drang zum Glauben) в жизнь по ту сторону гроба. Очевидно, что человек является переходным существом, и его существование на земле, несомненно, — это процесс, непрерывное существование куколки, которая превращается в бабочку*. Именно поэтому всяческое творчество должно восприниматься проявлением богоподобия человека, т. к. это свойство, присущее только ему: *Человек — есть животное словесно, аще речеши, яко несть уму и художьству приетъно, не будеть человек.* С другой стороны, творчество должно восприниматься и как обязанность перед Богом, о чем говорил апостол Павел: *Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую (Кор. 9.16.).*

В европейской поэзии во все века взаимодействуют, взаимоотрицая и взаимообогащая друг друга, интуитивное, бессознательное, и рациональное, логическое, однако именно магическое, таинственное, заговорное, не поддающееся ни чувственному, ни умственному постижению, и является ее сущностью. Долгое время это не поддавалось ни малейшему сомнению, и тем более ревизии. Все проблемы и начались с того времени, считает ведущий белорусский поэт Алесь Рязанов, когда была утеряна, утрачена *магічна-замоўная падаснова мовы.* Алесь Рязанов, отталкиваясь от упоминания о человеке, который *восхищенъ быть до третього неба, восхищенъ въ рай и слышалъ неизреченные слова, которыхъ человеку нельзя слышать,* считает, что именно эти слова, слышимые в раю и на третьем небе, и являются утерянной сущностью поэзии. Их смогут услышать, кроме апостолов и святых, допущенных к тайне (в тѣле или внѣ тѣла: Бог знает), только поэты, обладающие способностью высказать заветные слова, причем произнести их не обычным языком. А речью поэтической. Именно поэтому в настоящей поэзии произведение становится магическим кристаллом, а сама поэзия — прикладная теология: она не ведет разговора о Боге, но он выявляется в ней, во всяком вдохновенном слове, пусть оно и не о Боге, — Бог, во всяком заученном и унылом, пусть оно и о Боге, — его нет. Такой постулат поэта и философа А. Рязанова.

Шекспир утверждал, что видит глазами души. А. Мицкевич использовал его приемы для постижения сущности. Богословы смотрели на мир *чювственными очима.* Для нашего современника понять — значит увидеть глазами разума, ибо то, что видится таким способом, — сущее. Именно поэтому его изречения приобретают мудрость афоризма, в котором сочетается реальное и небесное:

Сорам — розум, што памятае боскую праўду.
Калі слова — Бог, то мова — народ.

Подобное видение и позволяет А. Рязанову по-новому прочитать, казалось бы, давно устоявшееся, общепринятое. Так, в «Апокрифе» М. Богдановича он находит новые «глыбіні і слаі», которые издавна там не только присутствовали, но и взаимодействовали. Все это позволяет ему прийти к парадоксальным наблюдениям и выводам и тем самым утвердить исключительный тезис о том, что Максима Книжника читают и перечитывают не только поклонники и знатоки поэзии, но и само время, сами события — словно забыли что-то и пытаются вспомнить — обращаются к нему за подсказкой и советом. Именно поэтому А. Рязанов утверждает:

«Жыта не пазнала Хрыста, а васілёк пазнаў, працоўны люд не пазнаў Хрыста, а музыка пазнаў, і святы Юры пазнаў Хрыста гэтак самааддана, што забыў самога сябе: што яму гаворыць і нашто яму гаварыць, каго гаворыць той, у кім скончыўся час?!»

М. Богданович писал о тех временах, когда Иисус ходил по земле босыми ногами, оставляя на горячем песке свои следы. Наш современник рассуждает о том, что следы Христа затоптали, на их место пришла грязь, которая марает все возвышенное и святое, в том числе и человечьи души.

Считается, что первым поэтом в мире был Адам, который первым дал имена всему одушевленному, каждому животному в полном соответствии с присущим им внешностью и сущностью, предназначеньем природы, которой и должны они служить (Бытие 2:19—20).

Первочеловек стоит у истоков Богом данной способности к словотворчеству: *всматривается во внутреннюю сущность каждого творения, каждого животного, каждой вещи, всматривается и угадывает самое существенное в них.*

Василий Селевский первым затронул проблему человеческого слова и языкотворчества, в чем и проявилась наиболее ярко *творческая, богоподобная способность человека.* Автор первого «Бестиария» Исидор Севильский считал, что Адам давал имена не на латыни, а на греческом языке, не на каком-то варварском, а на том, что был единым для всех и назывался еврейским. Другие *народы же каждому из животных дали имена сообразно со своим языком.*

А. Рязанов создал своеобразную философско-поэтическую форму *вершаказа,* в которой идет подобным путем, исполняя роль Адама народов, по-своему раскрывая сущность названий животных, птиц и предметов вещественного мира. Он стремится постичь допонятийную сущность слов, вернуть праславянское восприятие мира человеком, который только-только начинает постигать себя самого.

Отсюда и основоположение, что обыкновенная *гліна* — это таинственная *нігіль*, которая в Божьих руках становится *геніяльнай.* Понятия о предметах, вещах и действительности та же глина в совершенных руках, мягкая, эластичная, она еще не застыла, а потому позволяет проводить над собой эксперименты тем, кто допущен к этому незавершенному через года великому таинству: вот почему белорусский *дождж* представляется Рязанову божественным ответом на старославянскую молитву — *хлеб наш насущный даждь нам днесь.*

Чрезвычайно осторожно использует Алесь Рязанов в своих произведениях аллюзии из великой книги, ибо на этом пути всегда таятся скрытые опасности. Известно, что зачастую от многотомных собраний сочинений остаются только отдельные крылатые слова, чаще всего редуцированные, да и используют их совершенно не так, как задумывал автор. Практически все цитируют сентенции

Достоевского о том, что красота спасет мир. Однако у Федора Михайловича речь идет не об абстрактной красоте, а о величии Христа и его заветов. То же относится и к прославленному изречению о левой руке, что не знает о деяниях правой. Если в Евангелии это был завет, как вести себя по отношению к нищим (давать милостыню незаметно), то теперь это воспринимается как порок.

В творчестве Рязанова библеизмы используются не открыто и непосредственно, а скрыто, тайно, ассоциативно. В одном из своих *зномов* (авторская форма философской сентенции) он протестует, что каждый тянет на себя Христа, словно одеяло. Отношение к Богу и Спасителю в творчестве белорусского поэта почтительные, возвышенные, деликатные. Так, он вспоминает детей великого мученика, погибших под одной крышей («Сыны Іова»). В выражении *і калі мы лічым адно аднаго па пальцах — нас шмат, калі мы лічым адно аднаго па душах — нас мала* слышится извечное: *много званых, но мало избранных. Версет* (авторская форма) «Дзічка» генетически связан с притчей Христа о смоковнице, для которой уже подготовлен топор. Правда, акцентация образа в целом подвергается выразительным изменениям — у А. Рязанова дичка не знает о том, что она дичка, как не знает горькая полынь о своей горькости, а люди в целом не знают, что они люди. Воспринимая художника природным источником, он по существу словами и интонациями заповедей призывает беречь талант: *не марнуй, не рабуй, не крадзі*. И тем более не закапывай в землю.

В рязановском *рэчка цячэ — і знаходзіць дарогу да мора* выразительно слышится исконное — *и возвращается ветер на круги своя.* В строчках *«І звер недаверліва спыняецца перад дзвярамі, вынюхваючы ў іх двувер'е і ерась»* отчетливо видится библейский дьявол, ищущий, кого пожрать. Буря, разделившая пополам море и уничтожившая преследователей, напоминает про исход богоизбранного народа и волны, поглотившие его врагов («Бура»).

Чрезвычайно импонирует А. Рязанову сама атмосфера, то состояние, когда человек прочувствует в своей душе Бога, что наиболее проявляется в дни воскресения Христа. В версете «Трансмутацыя» наш современник практически приближается к прославленному Кириллу из Турова в восхвалении праздника души и тела:

Блізка Вялікдзень.
У паветры разліты салодкі і горкі
водар.
Падсыхаюць груды.
Цвітуць кацяхі вербалозу.
Прадвесціцца шчасце.
Сонца запальваецца ў грудзях.
З песняй і плачам кудысьці ідуць
натоўпы.

Неслучайно на вопрос анкеты «В какую эпоху вы хотели бы жить?» он ответил исключительно своеобразно: «У велікодную — калі ў людзях уваскрасае Бог». Именно поэтому мертвый, распятый на кресте Иисус Христос является единственным человеком в мире, что держит дни и ночи беспомощной женщины («Старая хрысціянка»), которая, однако, не стремится найти сочувствие у людей, а наоборот пытается спасти их души. Благодаря невидимым подвигам таких людей и случаются чудеса в саду, в котором каждый куст и дерево светятся, как на празднике, ибо постигают до последних потайных уголков сущность человека. Вот почему каждый из людей вынужден искать *крыніцу, з якой піў святы.*

Чтобы познать великую тайну, необходимо быть мудрыми, или оставаться такими, как дети, с душами чистыми и величественными, или умереть для самого себя, выпасть из круга своих вопросов и своих ответов, *«каб здолеў твой Бог запытацца табой і табой адказаць»*. Только тогда на небе, среди чистых обла-

ков, сосуществуют души чистые апостолов (бывших стражей братьев меньших), людей и коров (версет «Пастух»).

На этом пути нельзя поддаваться соблазну, даже самому, казалось бы, мелкому, ибо известно, где всегда прячется дьявол. Страшным воплощением силы последнего является кумир в библейском понимании слова, реликвии которого всегда таятся в душе человеческой, и в погоне за которым люди так быстро и стремительно забывают о Боге («Ідал»). Человечество во все века подвергается великому искушению: служить Богу или Мамоне. Прошли те благословенные времена, когда тело было равновеликим душе, а душа представляла то самое, что и тело («На свята збавення душы і цела»). Люди разуверились в вековом бесплодном ожидании. А. Рязанов помнит о том никому не известном дне, когда должен прийти тот, кто *прыходзіць і адыходзіць і мае шмат постацяў і найменняў,* в чем, несомненно, видится Мессия (версет «Нехта»):

Знаёмства глыбейшае, чым спрад-
веку, то абвяшчае сустрэчу, то адкла-
дае яе на потым,
з некім, хто мае прыйсці.

В чем-то отталкиваясь от постулата европейской философской мысли конца XIX — начала XX века о смерти Бога, А. Рязанов значительно усиливает исходный тезис рассуждениями о неизбежной гибели богов или, в крайнем случае, кардинальной трансформации онтологических архетипов, происходящей всякий раз, когда человечество приближается к определяющему рубежу собственного существования. Именно гибелью богов сопровождается как раз эволюция, какой бы вектор она ни имела. В этом и кроется причина возрождения (недолгого) и даже полного возвращения уже свергнутых властителей, ибо их сила и влияние не были до конца преодолены как из-за мощи предыдущего влияния, так и соответствующей незаполненностью души в современном состоянии. Ибо даже Богом избранный народ требовал создания золотого тельца: истосковавшись по долгому отсутствию Моисея на Синае, он пожелал для себя хоть какого-нибудь видимого воплощения божества, высшей силы, за что был позднее жестоко наказан.

Идол в версете Рязанова совсем не реальное, а скорее всего, виртуальное воплощение скрытой потребности человечества в материализованной сакральной сущности. Именно поэтому, в отличие от библейского золотого тельца, сделанного в виде *Египетскаго чернаго святого быка Аписа или бѣлаго быка Мневиса*, идол белорусского поэта не имеет связи с реальностью: у него отсутствует форма, выразительный внешний вид, не существует ареала его бытия, нет точной привязки к конкретному месту. Он непостижимым образом таинственен в сумраке снов и молча ожидает того мгновения, когда кто-нибудь попадет в сферу его влияния, ибо каждый, кто заметит его, замечается им. Его сила и могущество вырастают в геометрической прогрессии, в непоколебимой уверенности, что каждый, кому предназначено, словно к заклятому раздорожью, прибудет сюда, в его царство. Тогда загорятся его глаза, включится механизм захвата, и жертва попадет в зону его влияния и притяжения, которые оплетут ее, словно паутина. И надо всегда помнить, что каждого из нас ожидает собственный идол — *Наш уцялеснены забыты сон.*

В целом необходимо отметить, что поэзия — значительно более могущественный медиум, чем философия в диспуте с бессознательным, а поэт намного сильнее предчувствует будущие катаклизмы и катастрофы. Алесь Рязанов считает поэзию божественным явлением, хотя она и не является прикладной теологией, — она не ведет разговоры о Боге, но он выявляется в ней:

Мы ў словах і ў вобразах і вядзём свае дыялогі
з тымі, хто нас разумее, а ў непрытомным, куды
няма доступу розуму, —
Бог.

Белорусский поэт остается гуманистом в эту сложнейшую эпоху развития человечества: он верит в силу и нравственность человека, его потенциальные возможности постижения истины. Именно в христианстве это и возможно в наиболее значительной степени. Он считает, поскольку «Бог трохадзіны, і якраз праз іпастась Бога-Сына ў гэтую мадэль уваходзіць, ці, прынамсі, здольны ўвайсці, дзейснячы свой шлях, чалавек». Вспомним, что в раннем христианстве в прославленном тезисе святого Иринея Лионского «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» ударение ставилось на заключительную часть изречения, то теперь акцентируется человеческая ипостась Христа, единого безгрешного человека. Именно подобное восприятие позволяет А. Рязанову вести полемику с Ф. М. Достоевским: *Чалавеку ўсё дазволена не таму, што Бога няма, а якраз таму, што Бог ёсць. І наколькі ён «увесь», настолькі яму дазволена «усё».*

Человек, потерявший духовный и нравственный ориентир, то есть все то, что в славянской православной традиции всегда ассоциировалось с Богом, напоминает пса, утратившего хозяина, а потому он *туляецца* по улицам*, згублены* і *зніякаваны.* Мир наполнен голосами, однако это совсем не родные голоса, они не могут вывести из этого состояния и вернуть былое гармоничное существование. Люди также потеряны и оставлены, именно поэтому они и ждут благой вести, с помощью которой человек сможет переродиться и найти себя.

А. Рязанов полемизирует с авторами всяческих многочисленных кодов да Винчи, выразительно намекающих или просто утверждающих плотскую связь Спасителя с Марией Магдаленой и возможных прямых наследников Христа. Псевдоисторические опусы, в которых Спаситель настолько воплотился, что вступает в традиционные человеческие отношения, кардинально противоречат евангелиям и онтологическим принципам христианства. Это очередное стремление вывести на первый план плотское начало Христа, хотя еще апостол Павел, видевший Спасителя в теле, не считал это существенным. А. Рязанов глубоко философски реализует классическую проблему:

«Абрагам спарадзіў Ісака, Ісак спарадзіў Якава...»
А вось Ісус не спарадзіў нікога другога, а
спарадзіў самога сябе — Хрыста.
І гэта самае вялікае, на што здатны (ці яшчэ
не здатны) чалавек.

А. Рязанов восхваляет подвиг Спасителя, благодаря которому человек способен войти в триединую ипостась Бога. В этом он опять близок Кириллу из Турова, который в «Слове на Снятие с Креста» восклицал: *Христос же на Кресте руце простер, осушения греховнаго и от смерти человеки освободи.*

Сравнительно часто наш современник обращается к образу зернышка, гибнущего и воскресающего из тлена, в чем видится не только бессмертие идей Христа, но и перспективная возможность проецирования горней образности на творческий акт и на все с ним непосредственно связанное. Однако это не просто толчок к своеобразной трактовке величественной идеи, как у Льва Толстого в «Воскресении», эпиграфом к которому и является прославленное евангельское изречение, но и новаторское воплощение новой грани его восприятия, до этого времени неоткрытой художественной традиции: воплощаясь в ростке, зерно никогда не проявляет себя, в противоположном случае никогда не станет им. Нечто подобное таинственно-скрыто происходит в художественном творчестве. Зерно, которое чрезвычайно сильно держится за почву, не может прорасти, оторваться от нее. Мысль, идея, тесно соединенная с действительностью, не сможет приподняться над ней, чтобы познать ее. Отсюда и выводы поэта: зерно должно выпасть из почвы, а мысль — вылиться из действительности.

С помощью приземленно-реального постижения действительности никогда не постигнешь *нямыя прадонні космасу, дзе гараць, не згараючы, сонцы,* утверждается в версете «Чорны абраз», в котором мы в очередной раз встречаемся с классическим парадоксом. В христианской культуре исключительное внимание уделялось зрительному и вербальному образам, прежде всего иконам: *ибо они,* согласно Иоанну Дамаскину, *не боги наши, а книги, открытые для того, чтобы мы вспоминали о Боге и воздавали Ему честь, — книги, на глазах всех находящихся в церквях и служащие предметом поклонения.* Однако икона в руках лирического героя версета чрезвычайно своеобразная — древняя, деревянная, полностью черная, на которой нет никакого изображения, никаких черт. Герой теряет точку опоры и надежду, ибо только они давали ему возможность летать и познавать как собственные возможности, так и собственные невозможности. В конце концов он соглашается, что «На гэтай зямлі» все не так, как необходимо, ибо мы — *жывыя ростані*, которые только показывают дорогу туда или обратно, или, скорее, направление движения. Образ древа, вырастающего на этой земле, с солнцем и месяцем на разных ветках, превращается в храм, расколотый ударом надвое («Маланка»). Если предыдущий версет завершается констатацией: *тут мой захад, і тут усход,* то своеобразное древо жизни со звездами и птицами превращается в храм зари и храм сумерек, воздвигнутые людьми из соответствующих половинок, как и в первом случае, когда герой остается на месте — *на гэтай зямлі, пад гэтым небам,* во втором версете он не отзывается ни на одно из приглашений:

Тады, калі я ўвайшоў у бажніцу і, за-
чыніўшы дзверы, стаў гутарыць з не-
бам, з неба раптоўна ўпала маланка і
раскалола бажніцу надвое.

Людзі, якія прыйшлі на світанні, ад-
будавалі з адной яе палавіны бажніцу
світання,
а людзі, якія прыйшлі на змярканні,
адбудавалі з другой палавіны бажніцу
змяркання.

— Хадзі да нас, — заклікаюць мяне
адны, — гэта ж твая бажніца: ты зноў тут
зможаш слухаць, што кажа неба…

А я ўсё стаю на тым самым месцы,
здранцвелы,
уражаны,
праяснёны,
не маючы мовы, каб гаварыць, —
з маланкаю ў сэрцы.

Можно ли силой отстаивать свои алтари? Или просто смириться с неизбежным? Герой в раздумье. Именно поэтому храм занимают чужие люди, ведущие собственную божественную службу на чужом языке, а якобы хозяин вместе со всей растерянной околицей ожидает около крыльца собственной очереди, дабы помолиться своим богам.

Незыблемой основой бытия предстают камни в основании прославленного монастыря на легендарном Охридском озере («Камень святога Навума»):

Большыя й меншыя, круглыя
й вуглаватыя, шырокія і даў-

гаватыя, з плаўнаю лініяй фар-
мавання, што ведала, як ёй ісці
і як завяршацца, і з лініяй, што
ішла з завязанымі вачамі, —
у дол укладаліся камяні.

Древний монастырь воздвигнут на скале, выступающей из озера, которое воспринимается морем. Вместе с камнем, носящим то же имя, что и храм, они выполняют единую функцию — метафоризируют Христа как спасательную доску в этом бушующем мире в представлении отцов церкви. Это не только материализация сакрализованной святыни, но и всего того, что связано с аурой, сущностной верой и надеждой. Монастырь находится на самой границе с Албанией, буквально возле его порога начинается территория иной веры. Однако камень святого Наума воспринимается как символ величия духа, ибо *некалі здолеў узняцца над мераю свету, каб уздымаць у наступную меру ўвесь час потым свет.* Странствие по материализованным отрезкам Времени вместе с македонским поэтом Михаилом Ренджевым (сразу возникают ассоциации с двумя великими итальянцами, которые выпали из своей эпохи и пространства и очутились в ином измерении) белорусский поэт метафоризирует в огромный лук, стрелами для которого и являются сами поэты. Только таким образом можно постичь извечную истину: *кожны камень — гэта чыёсьці жыццё, якое нам аддае свае дапамогу і спадзяецца ўпотай на нас.* Появление подобных ассоциаций не в последнюю очередь можно объяснить величайшей энергетикой святого места, намоленного за последнее тысячелетие. Это, несомненно, прочувствовал А. Рязанов, обладающий сенсорным даром постижения бытия. Силу воздействия стен древнего монастыря может подтвердить и автор эссе, посетивший его во время очередного съезда славистов в Охриде.

А. Рязанов подчеркивает, что камень — основа христианства (вспомним символику имени апостола Петра). Именно поэтому вера человеческая может сдвинуть горы (вспомним горчичное зерно), камни усиливают мощь дороги, ведущей к храму; они могут двигаться и покидать границы молчаливых тысячелетий, в которых совпадает, делясь между собой, то, что умеет назваться, и то, что совсем не имеет названия.

Многовекторность творческих поисков раннего Рязанова подчеркивает и выдержанная в абсолютно неожиданном стиле «Паэма жніва». Даже не верится, что написана она в 1974 году молодым поэтом, настолько мастерски она выполнена, причем исключительно в том своеобразном русле, к которому белорусская поэзия вернется только в начале нового тысячелетия. Уже вступительные строчки:

Упала зерне —
і не ўзышло,
а што ўзышло — куколле заглушыла,
а што не заглушыла — выбіў град,
астатняе развеяў вецер... —

вместе с описанием зверей, стаями выбегающими из леса, их чудовищных танцев-пантомим, воронов, закрывающих солнце, вызывают яркие реминисценции с известными страницами Ветхого и Нового Завета, и особенно притчами Христа (*Притча о сеятеле, О добром семени и о плевелах, О семени, взрастающем в земле неприметным образом*). Несомненно, что данные ассоциации вытекают из евангельской притчи, рассказанной Христом своим ученикам (Матф., 13:24). В ней сеятель сравнивается с Царствием Божиим: *Сѣющій доброе сѣмя есть Сын Человеческій; Поле есть міръ; доброе сѣмя, это — сыны Царствія, а плевелы — сыны лукавого.* Одновременно *сѣятель слово сѣет* (Марк.,

4:14), ибо *посѣянное на доброй землѣ означает тѣх, которые слушают слово, и принимают, и приносят плоды*. Изображение ужасов голода, разрухи и уничтожения, появление страшных существ, овладевающих миром, напоминает плач Иеремии по разграбленному и опустошенному Иерусалиму, по которому бегают лисы (в поэме А. Рязанова звери прячутся *панура і трывожна ў жыце, бо яны прыпаміналі кут, куды памерці паспець трэба...*). В достоверности подобных ассоциаций убеждает *картавы і ўтрапёны халдзейскі гоман,* легко проникающий в возбужденный мозг (известно, что иудеи, находясь долгое время в вавилонском плену, подзабыли родной язык, переняв язык своих властителей, а потому, чтобы дать возможность простому народу читать и постигать Священное Писание, были сделаны подробные переводы ветхозаветных текстов на халдейский язык). Именно поэтому описание в поэме нищенских, залатанных сум, что *худой дзятвой чапляліся за шыі,* — есть не что иное, как аллегорическое воплощение измученного народа, теряющего веру в безнадежном ожидании Мессии. Духовное начало этого томительного процесса подчеркивает и то, что если звери, вороны, нищие все же получили то, к чему стремились, обрели то, что хотели, *алчущие — насытились,* то *Сэнс усё пытаўся пра спажытак.*

В этом убеждают и риторические восклицания, чрезвычайно соответствующие сумрачной атмосфере произведения: *Народжаны ад хлеба, прагну хлеба*; а также неутомимые и бесконечные поиски сеятеля, у которого необходимо узнать уже время будущей жатвы, ибо у других колосья на этом необыкновенном селе-поле наливаются добром, силой и честью. И только у обиженных и униженных оно зарастает кукольником, сорной травой, которые появились вместе с пшеницей. Белорусский поэт в очередной раз подчеркивает бесплодность надежд на скорое появление сеятеля, который должен объяснить, что должен сеять рожденный от хлеба и что такое жатва вообще, ибо в этом мире ничего так просто не происходит:

Нішто не гіне раптам і бяздонна,
заўсёды застаецца нейкі прынцып,
які сцвярджае жыта і зямля,
нат і тады, калі ўзрасло куколле.

Ибо уже явления природы подают свой пророческий знак, знамениями и предсказаниями наполняя мир:

А спелы вецер намаўляў: рыхтуйся,
а поўня нахілялася: рыхтуйся,
і камяні круціліся: рыхтуйся —
рыхтуйся неаслабна да жніва...

А поэтому, несмотря ни на что, душа готовится к величественному событию, и хотя жатва еще не видна, даже не упоминается в ближайшей перспективе: нечего еще жать, ибо не было сеятеля, однако уже раздувается горн, нарезается серп, *рыхтуюцца да выніку, да плёну, да жніва.* Рожденный от хлеба не только алчет хлеба, но вместе с тем стремится постичь сущность бытия. Нищие, прошедшие по ниве, уже побелевшие для жатвы, это аллюзия на слова из Евангелия от Иоанна (4:35): *возведите очи ваши и посмотрите на нивы, какъ онѣ побѣлѣли и поспели к жатвѣ.* И в то же время это очередное напоминание тем, кто умеет видеть и постигать увиденное, что существует и иная жатва, намного более существенная и значимая, чем реальная — возврат и праздник души, и эта жатва должна произойти здесь и сейчас, ибо и нивы поседели, и пшеница духовная созрела. В Евангелии апостол заставляет всех смотреть на невидимое, величественное и значимое, постичь которое невозможно обыкновенными глазами, ибо в них не сияет вера.

Нарекания человека, якобы оставленного в этом чрезвычайно просторном мире, от которого он не может избавиться даже во сне, сразу напоминает *глас вопиющего в пустыне,* ибо на все восклицания и нарекания *куды ж падзеўся сейбіт?* в ответ слышится только молчание, раскачанное карканьем воронья, воем зверей, криками толпы и шепотом нищих. И только потом, в самом финале произведения, слышится вечный голос постигающих истину:

А там, за ім —
як мог яго раней не заўважаць я,
чаму не заўважаў яго раней?!. —
свяціўся незнішчальны голас Сэнсу
і падымаў з зямлі непераможна:
Я хлеб ваш... я ваш хлеб... я хлеб жыцця...

Ибо Иисусъ же сказалъ имъ: Я есмь хлѣб жизни (Иоанна, 6:35). А созданный в поэме контраст между отчаянием и не менее яркой обретенной надеждой воспринимается не как простая игра теней в композиции произведения, но вдохновителем мысли в ее развитии-эволюции от проклятия до осанны.

В «Паэме жніва» были отмечены и точно сформулированы тезисы морально-этической проблематики, которые найдут успешную реализацию в будущих произведениях. Так, отталкиваясь от принятия неизбежной гибели конкретного зернышка ради сохранения жизни в целом, он вместе с тем актуализирует онтологические вопросы, что относится не только к реальному хлебу (проблема, актуальная не только для избранного народа, но и для всех народов), но в первую очередь, проблему хлеба духовного. Изображая традиционный менталитет белорусов, чувствующих себя полноправными представителями человечества, он показывает нации, в мировосприятии которой долго время доминировали *трэнас*, *песні-жальбы*, светлые общечеловеческие перспективы. Главное — остановиться в своем вечном *паязджанстве* и хоть на мгновение осмыслить извечное «Адкуль? Куды я?». Прошли времена, когда *стомлены кладзецца заснуць і спаць і ўсё, што ёсць, забыць.* Необходимо очнуться и готовиться к жатве. И в этом сокрыта тайна, разгадать которую и стремятся люди:

Пакуль жыву, хачу спасцігнуць сэнс
нябыту, і быцця, і прызначэння,
бо нездарма вяртаюцца шляхі —
нібы настаўнік паўтарае вучням:
твая дарога ў табе самім.

Что же предначертано человеку? Идти самому по своей дороге, которая и становится им самим, или ждать сеятеля, который откроет всем глаза, избавит сердце от печали, отметит проросшее зерно? И если впереди и за тобой — молчаливая неизвестность, ибо не говорит прах и пустыня, то куда тянется дорога, для чего и разум, и безумие? Белорусский поэт, подобно Ивану Карамазову, нарекает на чрезмерное внимание к человеку, а потому вслед за Иваном Федоровичем призывает *сузить человека*, многократно спрашивая, почему ему предназначено так много пространства? Хотя сами философские основы поэмы гораздо ближе взглядам Алеши Карамазова.

Может показаться, что поэма «Было балота» (1974) представляет собой в лучшем случае апокриф, если не Евангелие наоборот, ибо уже в самом зачине заявлено еретическое, едва ли не направленное против *благой вести от Иоанна: В началѣ было Слово (I:1),* по-юношески агрессивное — «*Напачатку было балота*». Именно последнее и становится определяющим архетипом этой древней земли, а попытки его рекультивации — это не просто последний путь

через отстойники и рвы, через малые и большие реки в извечный путь из варягов в греки. Болото было первосущностью бытийной, первосозданием, молча наблюдающим, как проходили эры, как возникали и гибли города. Мелиорация земли — это прощание с чем-то самым существенным, после чего наступает конец света. Человек же во все века ужасен в своей звериной жестокости. Неслучайно в поэме все живое, в том числе даже деревья, не говоря об ужах, инстинктивно стремится убежать от пилы и сапога, являющихся символами уничтожения. Испуганные аисты, извечные символы края, разлетаются во все стороны, забирая с собой то, что ранее принесли на эту землю. Уничтожается матрица *тутэйшага існавання — усцяж праносілася мадэль жыццядайнай душы буслінай.* Гнезда аистов напоминают круги на воде, еще мгновение — и пустыня, небытие овладеет всем, а смерть завладеет миром живых. Жатва будет, но это совсем уже не человеческие дожинки. Она будет, но будет ли *хлеб*? Грозным символом уничтожения предстают как родные тени трясины, которых послали на гнилые колоды, на мхи, на поганые воды духи нечистые и лихие, так и динозавры-экскаваторы, предстающие не менее ужасающими сущностями. Именно поэтому, словно люди на похоронах, окрестные деревья сняли свои величественные кроны, ибо они понимают, что присутствуют на страшном обряде. Болото, несмотря на свою вечность и повседневность, не владеет колдовской силой, оно не может противоречить одержимости и уступает новой ужасающей жатве, безропотно отдавая свои наделы. И вместе с тем, что самое страшное и отвратительное, свою душу. Навсегда. Безвозвратно.

Человек становится безумным от своей якобы неизмеримой силы. Так, в одном из своих версетов А. Рязанов показывает героя, пытающегося вылепить из глины близких людей и соседей. Они получаются практически совершенными, однако никто не может наполнить их духом, оживить. В преображении земли люди достигли значительно больших успехов: овладев существующим раем и разрушив его, они стремятся создать новый Эдем. Следуя законам геометрии Евклида, они разрезают живую природу на куски, вгрызаясь в живое тело, и тем самым превращают божественный уголок в обитель страха и ужаса. Оплакивает чибис родную землю, но кто его самого оплачет? Ягоды клюквы, словно красное монисто, рассыпались на поверхности мертвой субстанции, исчезли криницы, которые поили не тело, а душу.

Упомянутый выше Иван Карамазов, исследуя сущность человеческого мозга, приходит к выводу, что он (мозг) создан с *понятием лишь о трех измерениях,* что он *эвклидовский* (выделено нами. — *И. Ш.*), *немощный и маленький, как атом*. И этот человек, рожденный с понятием только трех измерений, стремится перевоссоздать Вселенную Бога, в которой даже параллельные линии сходятся. Исключительную наивность и бесперспективность, если не сказать более, этой попытки подчеркивает белорусский поэт:

Безаглядна, як рэжа штых,
рассякаюцца краявіды,
выпрамляецца кожны штрых:
геаметрыя па Эўкліду.

Человек не может создать подобного себе, это прерогатива Бога. Однако он может создать Голема или Франкенштейна. Человеку не под силу создать Рай, он может только разрушить существующий. Болото издревле родное нам, у него белорусский менталитет: оно не сопротивляется, не бунтует, а только расстилается женщиной перед завоевателями; лишь изредка оно показывает свою страшную силу, проглотив мощный экскаватор, словно жабка комара. Тем более что, согласно апокрифам, здесь издавна существовали злые духи, подземные голоса, привидения. Вмешательством человека они освобождены из оков, а потому теперь предстанут перед ним в неприглядном виде.

То не вочы цямнеюць — вачніцы,
целы круціць і торгае шал,
і вар'яцкая ўсмешка шчыміцца,
агінаючы рота правал...

Болото амбивалентно по своей сущности: это и мать, и мачеха, способные одновременно и убаюкать, и задушить в колыбели. Именно поэтому утрата болота — это гибель души земной и человеческой, ведь нечистая сила, потеряв традиционное место проживания, пойдет на людей, в город, который еще не предчувствует трагедии и надеется отсидеться в стороне. Демонстрируя свою якобы мощь и силу, люди в очередной раз расписываются в собственном бессилии. А. Рязанов предчувствует будущую трагедию века, понятно, не так, как пророки, которые это уже все знают, ибо оно произошло, свершилось, а интуитивно, образно и вместе с тем не менее трагедийно. Поэма — первое суровое предупреждение человечеству накануне Чернобыля.

Образ Святой Троицы, воссоединение с которой для человека гармоничного и совершенного однозначно свидетельствует о его (человека) великом предназначении. Именно в этом направлении он и должен идти, развиваться и совершенствоваться. Это путь ко все большей свободе, к возрастающей ответственности. Человек должен идти не собою, а из себя, и только по направлению к чему-то. Идя по этой дороге, человек становится еще одним центром в рязановской модели времени, которая напоминает круг, ибо в нем есть и окружность, и центр, динамика и статика, центростремительное и центробежное, в этой модели все в постоянном движении, в том числе и сам человек; только самая-самая *сэрцавіна часу нерухомая, але менавіта ў ёй умясцілася ўся зямля і неба.*

На человеке А. Рязанова сошлось очень многое. Даже огонь и вода — антиподы в действительности — *мірацца на ім, бо і вада, і агонь ачышчаюць.* Человек ни в коем разе не завершенная сущность: он мыслит своей ипостасью, находящейся в процессе эволюции. Он никогда не станет завершенным: человек — вечная предтеча того, кем он становится. В своем движении он отталкивает будущее в прошлое, а потому он нигде не свой — там его еще нет, а там — уже нет.

В этом плане чрезвычайно существенным понятием философии А. Рязанова становится понятие расстояния. Основной его тезис — все находятся на одинаковом расстоянии от Бога, но на разном — до Бога, — подчеркивает то, что отделяет человека от действительности и одновременно соединяет его с нею. В нем одновременно сохраняется мера, благодаря которой действительность имеет саму себя, а человек остается самим собой. Все это соответствует длине невидимой цепи, в которую впутан человек своими желаниями, мыслями, мешающими ему достигнуть неба. Как раз это расстояние у каждого свое собственное, личное. Поэзия и философия, считает А. Рязанов, и должны служить тому, чтобы выбраться из этих пут:

Як сляпы памятае пра тое, што цяпер для яго
не існуе, — пра свет вобразаў, глухі — пра свет
гукаў, так і мастацтва памятае пра іншую сапраўд-
насць, якой не існуе для надзённай свядомасці.
Яно — наш страчаны зрок, яно — наш стра-
чаны слых, і яно — абяцанне, што мы ўсё адно
калі-небудзь станем «слушнымі» і «відушчымі».



РАИСА ДЕЙКУН

Шел солдат дорогою побед

Семейные реликвии

В нашем доме, в котором я родилась и выросла, о Великой Отечественной войне в первую очередь напоминали два портрета: отца в форме старшины и молодого парня — лейтенанта. Оба с боевыми наградами. Лейтенант на рисунке-портрете похож на отца, и когда я была совсем маленькой, то мне казалось, что второй военный тоже отец. Но это был не он, а его младший брат Михаил, который прошел всю войну, дошел до Германии и погиб на реке Одер. Портреты висели в зале на самом почетном месте. Рядом с отцовским — портрет матери, а дядьки Миши висел немного дальше.

Кроме портретов, которые все время были на виду, в доме имелись и другие немые свидетели войны. В той же комнате в одной из шуфляд самодельного стола (в доме после войны был не только самодельный стол, но и другая мебель, сработанная местным мастером-краснодеревщиком Иваном Бураком), отец хранил свои боевые награды, орденские книжки, медаль Материнства мамы, документы, к которым нам — пятерым детям — самостоятельного доступа не было.

В альбоме, сделанном из какой-то канцелярской книги, хранилось несколько небольших желтоватых фотографий, на которых был запечатлен отец: в шапке-ушанке и шинели, подпоясанной ремнем; на двух фотографиях — с однополчанином-лейтенантом; еще на одной — на мопеде-мотоцикле довоенного образца. Эти фотографии он прислал матери с фронта.

Когда отец садился за стол на свое место, мать или старшая сестра, а потом и подросшая я подавали ему его вилку и ложку, он ел только ими. Отцовы были непохожи на фабричные, которые гнулись и ломались. И вилка, и ложка были сделаны каким-то мастером-самоучкой на войне из латунной гильзы-снаряда. Они были постоянными спутниками отца на дорогах войны. С ними он не расставался и в мирное время.

«Ты б прымеў, дык і ў госці з імі хадзіў бы», — так говорила мать отцу на его привычку есть только ими. Отец на это замечание только посмеивался.

Ножницы матери и платье из парашютного шелка тоже были в числе тех свидетелей и в нашем доме занимали особое место. Ножницы — черные, тяжелые, похожие на кованку-самоделку, — всегда находились в маленьком ящичке маминой швейной машины. Платье — ярко-красное, с желтыми вставками, из крепчайшего шелка — в шкафу с красивым зеленым окошком. У этих вещей была своя история. Ножницы, узнав из писем, что его молодая жена научилась шить, отец принес ей в подарок с войны. По дороге домой он выменял их за часть своего сухого пайка. У платья история была подлиннее. Наша мать переживала войну с двумя старшими малыми детьми в деревне Корчевое Хойникского района у родителей отца. Пришли немцы, рассказывала она, жители деревни спрятались в лесу. А когда вернулись — в доме было хоть шаром покати. То ли полицаи, то ли сами немцы подчистили дома и сараи по всему селу. Вот и осталась она с малыми детьми, родителями-стариками и старшим братом отца, инвалидом, в чем стояли. Ее мать, наша баба Ганна, привезла тогда (из-под Калинкович, на возу под хворостом) ручную швейную машинку.



Михаил Дейкун

Уже после того, как район был освобожден, отец с фронта прислал матери парашют, вернее, куски-клинья ткани из него. Одни куски были красными, другие желтыми.

Мать умела вязать, ткать, вышивать, но не умела шить. Она сняла с себя платье, в котором была, распорола его и по образцу из тех парашютных клиньев выкроила новое. Много лет потом оно у нее было выходным. А тогда она сшила и старое, и новое. Так и научилась шить. А та машинка спасла всю семью от голода, потому что наша мать стала шить всем, кто нуждался, и люди платили ей за это, кто чем мог.

Еще был ремень отца, тот самый, с военных фотографий. Он висел на большом гвозде, вбитом в косяк двери комнаты-столовой. О ремень он каждое утро точил свою бритву, которую принес с войны и которую так и не сменил на подаренные электробритвы и станки. В целях «профилактики» для наследников, которые время от времени «рабілі шкоду», ремень иногда снимался с гвоздя...

9 Мая отец маленьким ключиком открывал свою заветную шуфлядку в письменном столе, доставал награды, прикреплял их на парадный черный форменный пиджак (он всю жизнь, до войны и после нее, проработал на железной дороге: техником, бригадиром путейцев, дорожным мастером) и шел на мероприятия, посвященные Дню Победы. Позже он заказал орденскую планку, и она всегда была прикреплена к его выходному пиджаку.

В ту шуфлядку отец складывал и другие свои награды, часто боевые, которые находили его и после войны. Например, медали «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «Героям Дукли» (Чехословакия), орден Отечественной войны.

Открывал отец ящик стола и в другие дни, поздно вечером или в редкий выходной. Он перебирал какие-то пожелтевшие документы, письма и некоторые из них подшивал в синюю самодельную тетрадь. Когда отец садился к столу в зале и открывал шуфлядку, мать прикрывала двери в комнату и говорила нам: «Не трогайте отца, пусть побудет один». Управляясь с нескончаемыми делами на кухне, добавляла: «Чтобы она сгорела, та проклятая война: моего отца забрала, Мишу забрала, сколько еще людей загубила!»

Мы знали, что кроме дядьки Миши, на войне, в первые ее дни, пропал без вести наш второй дед, отец матери, Прохор Харланчук. Знали, что наш отец пишет запросы, чтобы узнать судьбу своего тестя: где погиб, где похоронен. О Мише мы знали, что он погиб в Германии и там похоронен. В его честь наш средний брат носил его имя. Отец рассказывал, что он «чуть-чуть» не встретился в войну со своим младшим братом. Это было незадолго до гибели Михаила.

Наконец отец прятал документы, выходил из зала и молча шел во двор, потом к лесу, который был у нас прямо за огородом.

Одер впадает в Балтийское море

Один за одним мы разлетелись из родительского дома-гнезда. Меня судьба занесла в Калининград, бывший Кенигсберг. Там мне довелось писать книгу-путеводитель для автотуристов. Заказчиком, калининградским книжным изда-



Василий Дейкун

тельством, было поставлено условие, что при описании маршрутов области (кроме характеристики дорог, схем проездов городов, адресов автосервиса и других нужных путешественникам на колесах объектов) обязательны ее история и описание всевозможных достопримечательностей. Так что мне пришлось изучить историю, экономику, культуру, природу области; пройти, проехать — облазить ее вдоль и поперек.

История создания Калининградской области была неразрывно связана с незабываемыми страницами Великой Отечественной войны, известной Восточно-Прусской операцией Советской Армии, в ходе которой навсегда было уничтожено гнездо прусского милитаризма.

Незаживающие следы той войны встречались на дорогах края на каждом шагу и километре по пути следования автотуристов. Они представали для них в виде бетонных и каменных глыб дотов и подземных крепостей-фортов, затопленных отступавшим врагом, навсегда разведенных мостов, оплывших стрелковых ячеек и артиллерийских окопов, многочисленных обелисков и мемориальных комплексов, поднявшихся над могилами советских воинов, павших в кровопролитных сражениях на этой земле. Именами героев Великой Отечественной войны были названы города и поселки области: Черняховск, Ладушкин, Гусев, Гурьевск, Мамоново, Космодемьянский; улицы — Борзова, Катина, Костикова... Те, кто выжил, не забыли тех, что остались навечно лежать в этой земле.

Когда работа над путеводителем была завершена, мне казалось, что я сама была участницей всех событий, в том числе и военных. Что вместе с нашими солдатами прошла их дорогами побед, чтобы добыть одну — большую! И что я встречалась со своими земляками и со всеми теми, кто освобождал мою Беларусь, а затем погиб при штурме Кенигсберга и в боях на земле Восточной Пруссии.

...«Он и его танкисты везде были первыми. Первой ворвалась бригада летом 1943 года на улицы древнего русского города Смоленска, первыми входили танки Нестерова в Минск, одними из первых вступили они на землю Восточной Пруссии»... — это кусочек из путеводителя, из первого его маршрута, который называется «Навстречу с самой западной областью страны». В нем описывается город Нестеров, названный в честь Героя Советского Союза Степана Кузьмича Нестерова. Здесь, на этой земле погиб один из тысяч солдат, отважный офицер, освобождавший столицу Беларуси от захватчиков...

В тот год, когда вышел путеводитель, отец, приехав с матерью в гости, обратился ко мне с необычной просьбой:

— Доченька, ты же теперь в курсе о войне? Тогда скажи, где лучше, возле какого памятника земли с отцовского селища оставить, чтобы Миша знал, что мы его помним? Он же где-то уже здесь совсем близко?..

Отец был прав: к тому времени я многое знала о земле, на которой жила и которая была буквально вся полита кровью советских солдат.

— Подождите, отец, воскресенья (к своим родителям мы обращались «на вы») — поедем к Балтийскому морю...

— А причем же здесь море? Я же про памятник спрашиваю, — удивился отец, а вместе с ним и мать.

— Так вы же говорили, что дядька Миша погиб на Одере? Так?

— Да, на Одере.

— Ну, так Одер несет свои воды в Балтийское море. С водой мы передадим привет дядьке, помянем его.

...В поселке Рыбачьем, где располагался рыболовецкий колхоз-миллионер «Труженик моря», на небольшом судне мы миновали залив и вышли в море. В руках отца был небольшой полотняный мешочек с землей из деревни Корчевое, у нас с матерью — букеты гвоздик. Как только с капитанского мостика прозвучало короткое слово: «Море!», — отец развязал мешочек... Морской ветер, пропитанный солью, первым подхватил крупицы дедовской земли и мгновенно рассеял их по беснующимся за бортом волнам. Проводив взглядом горстку земли, отец достал из внутреннего кармана небольшую, из темного стекла, запечатанную сургучом бутылку. Размахнувшись, бросил ее в темную холодную воду. Вслед за ней полетели наши цветы...

Долго мы потом стояли на палубе и до боли в глазах вглядывались, как волны все дальше и дальше, от уходившего назад судна, уносили полученные подарки-приветы. Морю поручалось донести их к другому берегу, туда, где смешиваются его воды с водой Одера...

— Папа, а что вы бросили в бутылке? — не выдержала, спросила я по дороге домой.

— Письмо брату, то, что написал ему в 45-м и не успел отправить...

Отцов наказ

Я вернулась в Беларусь через 33 года, прожив 13 лет в Калининграде, 20 — в Украине. Уже лежали в земле средний брат, мать, отец. Чернобыль помог. Стояла пустой наша большая хата, которую мы, оставшиеся, каждый раз проведывали, приезжая на Радуницу на могилы родных.

Получив паспорт гражданки Беларуси, я приехала к старшей сестре. Та, оглядев документ со всех сторон, отдала мне его и молча ушла в другую комнату. Буквально тут же вернулась обратно с картонной коробкой в руках.

— На! От отца. Наказал отдать тебе, когда вернешься домой, в Беларусь.

Я открыла коробку. Сверху лежали знакомые до боли бритва, ложка, вилка, ножницы... В небольшой шкатулке находились боевые награды отца, медали, значки, именные часы, полученные им в мирное время. Аккуратными стопочками были сложены документы: удостоверения, орденские книжки к наградам, справки-подтверждения. Лежала в коробке и совсем полинявшая, обтрепанная по краям, знакомая мне с детства синяя самодельная тетрадь. Она была сшита суровыми черными нитками и подписана на обложке отцовской рукой: «Документы гвардии лейтенанта Дейкуна Михаила Ивановича, погибшего 26 января 1945 года на фронте на правом берегу реки Одер».

Синяя тетрадь

Перед светлой памятью героев
Мы клянемся именами их,
Что еще светлее жизнь построим
Для детей и правнуков своих...

(Из стихов отца)

Первым было подшито свидетельство о рождении дядьки Миши — 9 ноября 1921 года, деревня Корчевое Хойникского района Полесской области. В самодельном конверте лежал старый-престарый снимок выпускников Корчевской

неполной средней школы, на котором я узнала в верхнем ряду своего молодого дядьку. Находились там и различные официальные сообщения, адресованные на имя деда Ивана и моего отца, о том, где и когда погиб их сын и брат. После них были подшиты удостоверения образцов 1943—1945 годов: о награждении сержанта, а затем лейтенанта медалями «За отвагу», «За освобождение Сталинграда», орденом Отечественной войны I степени. Перетертым посередине от времени было письмо деду от командования части о том, что его родные могут гордиться своим сыном. Следующей шла вырезка из неизвестной фронтовой газеты с материалом «Отважные награждены». Четвертым в списке награжденных орденом Отечественной войны II степени шел Михаил. За этими документами были подшиты письма дядьки Миши, адресованные моему отцу на фронт. Их было всего три. И еще одно письмо домой, своим родителям, брату-инвалиду, моей матери, написанное им химическим карандашом. Письмо от 24 мая 1945 года было написано другой рукой, и адресовано моему отцу. Оно было от друга Миши — Якова Примакова.

Письма дядьки Миши были очень зачитаны, истерты на изгибах, с выцветшими от времени чернилами. Последней была подшита похоронка.

Вооружившись очками и лупой, я стала внимательно их читать.

Первое было датировано 18 января 1944 года:

«...Дорогой братишка, сегодня в 12 получил с родины первое письмо, которое писала твоя жена Татьяна, и кое-что узнал о родных <...> Я нахожусь все время, с первого дня войны, на фронте. Был три раза ранен <...> Дорогой братишка, за мои боевые подвиги имею несколько наград. Медаль «За отвагу» получил под г. Тим Курской области в феврале 1942 года, будучи наводчиком 82-миллиметровых минометов. Орден Красной Звезды — под г. Белгородом за ликвидацию летнего наступления немцев на белгородском направлении. Медаль «За оборону Сталинграда» — за героическую оборону города. Сейчас я нахожусь на месте в своей части. Имею звание лейтенанта <...> скоро должен аттестоваться на старшего <...> Хочу выслать домой денег и денежный аттестат. Вышлю числа 19 или 20 января...»

6 февраля 1944 года...

«Здравствуй, дорогой многоуважаемый братишка Василий Иванович <...> Прости, что я так долго, три дня, не давал тебе ответа, крепко был занят, так что невозможно было написать письмо. В настоящее время нахожусь на передовой. Живу без изменений <...> Нахожусь я в областном городе Украины, который взяли 8 января 1944 года <...>

Город находится недалеко от г. Кременчуг, примерно так км на сто <...> Сообщу сейчас кое-что о себе. Воюю я с июля месяца 1941 года. Первый бой принимал возле города и в городе Киеве в 1941 г. Ранен был легко в сентябре месяце 1941 г. возле г. Конотоп. Был ранен также в г. Сталинграде при защите города в ноябре месяце 1942 года и также был ранен, когда форсировал реку Днепр возле г. Кременчуг. Из госпиталя выписался последний раз 26 ноября 1943 года. Лежал неподалеку от г. Полтава. Сейчас я нахожусь в строю в своей части, в которой служил все время.

Насчет фото. Был у меня рисунок, меня рисовал мой друг, он художник. Послал его домой 18.1.1944 г., так что — нет чего тебе выслать. Если есть у тебя, то прошу, чтобы выслал ты мне».

Третье письмо от 10 января 1945 г. было самым коротким:

«*Здравствуй, дорогой братишка Василий Иванович. Шлю тебе свой боевой привет и массу наилучших пожеланий в твоей военной жизни. Письмо твое получил, за что тебя крепко благодарю. Живу пока на старом месте недалеко. Нахожусь в бою в наступлении. Получил недавно письмо из дому. Писать кончаю. Остаюсь жив и здоров. Твой брат».*

Из письма дядьки Миши домой:

*«23 января. С фронта. Здравствуйте, дорогие родители: отец, мать, братишка Андрей, Таня со своими детками. Шлю вам свой боевой привет и массу наилучших пожеланий. Сообщаю вам, что я пока в настоящее время жив и здоров, бьем немецкого зверя на его земле. Продвигаемся вперед в день 25-35 км. Нахожусь в Германии. Скоро разобьем его и будем возвращаться по домам <...> Нет времени. До свидания, ваш сын <...> Жду ответа. Высылаю в конверте пару (*зачеркнуто — *Р. Д.) три листа бумаги для ответа».*

Письмо, подписанное другом дяди Миши Яковом Примаковым, тоже гвардии лейтенантом. Вот строки из него:

«Уважаемый Василий Иванович Дейкун! Получил Ваше письмо, где Вы спрашиваете об Вашем брате Михаиле. Отвечаю. Я его боевой товарищ и друг. Мы вместе с ним воевали, спали, проводили свое время. Я такого же звания, как и был Михаил. Он был хороший товарищ. Его любили и уважали, вся наша минометная рота. Погиб он так. На моих почти глазах. Он корректировал минометный огонь. Были жаркие бои. Мы форсировали р. Одер и, захватив маленький плацдарм, расширяли его. Находился он в боевых порядках пехоты. Немецкие танки нас отрезали. Вышел танк и стал с близкого расстояния бить прямой наводкой. Одним снарядом был убит Михаил. Когда его мы принесли и стали осматривать, то никаких ран у него мы не обнаружили. Маленький осколочек попал ему в сонную артерию. Он умер сразу, не сказав ни одного слова. Ордена, которые у него были (орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги» и медаль «За оборону Сталинграда»), сдали в строевой отдел. Фотографий у него было мало. Фотографию его, которая у меня сохранилась, я Вам посылаю. Похоронен он со всеми почестями близ р. Одер в Силезии.

Дорогой Василий Иванович, за жизнь Вашего родного брата Михаила мы отомстили. Не один десяток немцев уложили минометчики, которыми командовал Ваш брат Михаил. Наша вся минометная рота и лично я разделяем вместе с вами то горе, которое вы переносите. Михаил служит примером для нашей роты, как один из лучших боевых командиров и товарищ. Он будет жить вечно. Большой горячий привет шлет вам вся наша минометная рота. С приветом друг Михаила гв. л-т Примаков Яков».

Под синей тетрадкой я нашла стихи отца про двух братьев, воевавших на двух разных фронтах и стремившихся встретиться в поверженном Берлине,

о несостоявшейся их встрече в городе Сандомире, о том, как горюют и оплакивают смерть героя родные и близкие, о клятве построить светлую жизнь для детей и внуков...

Момент истины

Я представила те дни, когда отец, оставаясь один на один с этими немыми свидетелями той страшной беды, под названием война, читал-перечитывал последние письма своего младшего брата. Как он возвращался мыслями в тот далекий город Сандомир на Висле в Польше, где он так и не встретился с братом. Они шли совсем рядом: дядька Миша — на Берлин в составе войск Юго-Западного фронта, мой отец — на Прагу с 1-м Белорусским...

Потом я перебрала все названия городов, в освобождении которых принимал участие мой молодой дядька Миша: Тим, Курск, Сталинград, Белгород — (Россия); Конотоп, Кременчуг, Полтава, Киев — все украинские города я хорошо знала, не раз и не два переезжала мосты через Днепр, купалась и загорала на берегу реки с сыном, внуком... После детального знакомства с содержимым отцовской шуфлядки, я как-то остро почувствовала: что это же наши, живые и мертвые солдаты, и мой дядька в их числе, предоставили мне такую возможность. И не про это ли писал мой отец в своих стихах, посвященных погибшему брату, не познавшему радости семейной жизни, не поносившему на руках своих детей и внуков?

— Бабушка! Нашел! — с таким криком ворвался ко мне внук сестры Василий. Он приехал на дачу из Гомеля. В руках сияющий парень держал несколько листов бумаги:

«Проект ОБД Мемориал».

«Информация из донесения о безвозвратных потерях», — начинался первый лист. — *«57306754. Фамилия — Дейкун, имя — Михаил, отчество — Иванович. Дата рождения — 1921-й. Место рождения — Гомельская обл., Окольницкий р-н, д. Корчевое. Дата и место призыва — 1941-й, Пугачевский РВК, Саратовская обл., Пугачевский р-н. Последнее место службы — 13 Гв.сд. Воинское звание — гв. лейтенант. Причина выбытия — убит. Дата выбытия — 26.01.1945».*

— Это же наш дядька Миша! Только ошибки там есть, их надо исправить. Он же родился 9 ноября и район не Окольницкий, а Хойникский. Все остальное — правильно.

— Бабуля, что же ты хочешь, такая война была! Штабисты могли ошибку допустить, почерк не у всех был, как у нашего деда Василия. Я отправлю туда электронной почтой поправки, ты только не волнуйся! И деда Прохора мы найдем, и деда Ивана. (У мужа моей сестры, который был родом с Украины, отец погиб под Ржевом. Об Иване Мартыненко, как и о Прохоре Харланчуке, у родных не было и нет по настоящее время никаких известий — *Р. Д.*).

— Василек! А ведь они тебе уже прадедами доводятся, — уточнила я.

— Какая разница! Мои предки! Главное, что мы свяжемся с «Мемориалом» и, может быть, что-то узнаем. Так что готовь всю информацию о наших дедах-прадедах.



С точки зрения рецензента

Несостоявшийся преемник Сталина: штрихи к портрету Пантелеймона Пономаренко

В кратком биографическом очерке Виталия Скалабана «Пантелеймон Пономаренко», который открывает богатую источниковедческой базой книгу *(Пантелеймон Пономаренко: личный архив и книжное собрание: сводный каталог / сост.* ***В. В. Скалабан*** *[и др.]; редкол.: В. И. Адамушко [и др.]. — Минск: Издательский дом «Звязда», 2013.),* посвященную архивным и книжным фондам известного политического деятеля, читаем: «Среди руководителей Советской Белоруссии свое особое место занимает Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Он приехал в Минск летом 1938 г. на должность Первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии и в 1948 г. уехал в Москву «на повышение». Это десятилетие в воспоминаниях Пономаренко, страницы из которых опубликовал в «Нёмане» в 1992 г. философ Ф. Т. Константинов (место хранения подлинника неизвестно), названо «незабываемым временем». И в самом деле, именно Пономаренко стал «собирателем» белорусских земель, присоединял в 1939 г. Западную Белоруссию, убедил Сталина, что Полесье с Брестом и Пинском должно быть в БССР, а не в УССР, как предлагал Хрущев. После освобождения республики в 1944 г., по воспоминаниям Пантелеймона Кондратьевича, именно он отстоял перед Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) Полоцк в границах Беларуси…» И далее: «Иногда утверждают, что Пономаренко был любимцем и несостоявшимся преемником Сталина...»

Сводный каталог «Пантелеймон Пономаренко: личный архив и книжное собрание», вышедший в Издательском доме «Звязда», представляет собой уникальное издание. Под одной обложкой хранится описание личных собраний П. Пономаренко, находящихся в различных хранилищах Москвы и Минска. В этом сборнике, подготовленном белорусскими и российскими архивистами, — три раздела. В первом из них — «Личный архив» — представлено описание фондов П. Пономаренко в Российском государственном архиве социально-политической истории, Национальном архиве Республики Беларусь, Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства. Во втором — «Книжное обозрение» — описание книг из библиотеки Пантелеймона Кондратьевича, которые сейчас составляют коллекции Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси, Государственной публичной библиотеки России, Национального исторического музея Республики Беларусь, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Президентской библиотеки Республики Беларусь, библиотеки Белорусского государственного университета имени М. Танка. В третьем разделе — «Музейные предметы» — речь об экспонатах, фотографиях, документах, рукописных журналах, которые поступили от самого П. Пономаренко или его вдовы в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Казалось бы, книга подобного рода обречена на то, чтобы скромно стоять где-то на книжной полке в темном углу библиотеки, пока кто-то из спе-

циалистов не заприметит ее. Но это только так кажется. Сводный каталог представляет собой красноречивый рассказ о многогранной жизнедеятельности первого секретаря, его судьбе, его месте и роли в контексте истории Беларуси XX века. Возможно, отпечаток на характер издания накладывает сам облик Пономаренко — как человека и как партийного работника. Архивистам, библиотекарям, музейщикам остается только фиксировать материалы, имеющие отношение к судьбе Пантелеймона Кондратьевича.

К примеру, фонд № 625, опись № 1 в Российском государственном архиве социально-политической истории состоит из 108 дел. Приведем названия и описания лишь некоторых из них: *«Дело 2. Папка № 2. Народная борьба и партизанское движение в прошлых войнах России. 495 листов.*

Заметки о Скифии, скифах и древних славянах. Партизанские способы борьбы с захватчиками скифских племен (рукописные материалы, выписки из томов «Всеобщей истории»).

Классовая борьба и крестьянское движение при феодализме (статьи В. Мавродина, О. Вайнштейна в «Вестнике Ленинградского университета» за 1950 г.).

Из истории народного партизанского движения в России (рукопись статьи Н. Аргунова в журнале «Военная мысль», 1939 г.).

Борьба русского народа с монгольскими завоевателями (выписки из статей).

Борьба русского народа против польских интервентов в XVII столетии (подборка материалов из «Военно-исторического сборника», вып. XX, 1948 г.).

Партизанское движение против шведских захватчиков в 1701—1702 гг. (выписки из статей в журналах «Вопросы истории», 1949 г., и «Исторического журнала», 1942 г.).

Партизанское движение в Отечественную войну 1812 года (подготовительный материал из изданий дореволюционной России).

Борьба славян и народов СССР против турецких захватчиков (подборка материалов, выдержек из отдельных изданий).

Дело 3. Папка № 3. Партизанское движение и народная борьба в период Гражданской войны и интервенции против России 1918—1921 гг. 206 листов.

Партизанское движение в период Гражданской войны и интервенции против СССР (рукописи, выдержки из выступлений Е. Ярославского, из статей в журнале «Пролетарская революция», 1939 г., выписки из газет и журналов).

Заметки о методах борьбы и тактике антисоветских бандитских отрядов 1917—1921 гг. (выдержки из статей белогвардейских изданий).

К истории Белоруссии (машинописная копия из книги А. П. Радзянко «Воспоминания о Северо-Западной Армии» о Булак-Балаховиче, Берлин, 1921 г.), из статей в журнале «Военная мысль и революция» (1924 г., вырезки из газет).

Дело 4. Папка № 4. Партизанское движение в прошлых войнах других народов (рукописи и материалы по темам). 488 листов.

Англо-бурская война 1899—1902 гг. и партизанское движение буров против англичан.

Древний Восток.

Табориты (из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона).

Партизанская борьба в истории Испании.

Партизанская борьба в истории Франции в эпоху буржуазной революции и наполеоновских войн.

Партизанская война в истории США.

Англия и партизанская война (из книги У. Черчилля «Поворот судьбы», 1951 г.).

Гарибальди (вырезка из журнала «Новое время» — «Забытое письмо Гарибальди»).

Партизанская война в Ирландии.

Дело 5. Папка № 5. Партизанское движение и международное право. Вопросы международного права во II мировой войне (подборка статей и других материалов советских и зарубежных авторов). 255 листов.

Перевод статьи Л. Ньюрика и Р. У. Баррета «О законности партизанских вооруженных сил по праву войны (из «Америкен джорнел оф интернейшнл, июль 1946 г.) — 2 экз.

Дело 6. Папка № 6. Партизанское движение — спутник справедливых войн. 209 листов.

Рукописи, выписки из печатных изданий, вырезки из советских журналов, сводки ТАСС за ноябрь 1950 г.

Дело 7. Папка № 8. «Новый порядок» Гитлера на оккупированной территории. 730 листов.

Административное устройство и режим на оккупированной территории.

Разные материалы о политике на оккупированной территории.

Уничтожение населения.

Земельная и налоговая политика захватчиков.

Военные преступники (рукописи, машинописные копии обзоров, информационных записок, справок ЦК КП(б) Белоруссии, подпольных райкомов и горкомов партии, разведсводок штабов партизанского движения, актов комиссий по расследованию зверств немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории, вырезки из газет, сообщения ТАСС, фотографии, переводы с немецкого материалов оккупированных властей).

Поражает круг интересов Пантелеймона Пономаренко, даже зная то, что к собранию подобного рода материалов его подталкивала деятельность по руководству Центральным штабом партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Стоит заметить, что многие папки наполнялись соответствующими вырезками, копиями статей и после войны. К примеру, в деле 57 (папка № 65) отражена тема партизанской и противопартизанской войны согласно взглядам и действиям Пентагона. Есть там, в частности, и изданное в 1970 году учебное пособие «Противоповстанченская доктрина США». А также представлены данные до середины 1962 г. — о частях особого назначения, которые реализовывали партизанскую стратегию США. Есть свидетельства о том, что П. Пономаренко планировал серьезно заняться исторической работой. Но планам не суждено было осуществиться.

В какой-то мере подготовительный характер носят и книжные собрания П. Пономаренко. В свободном каталоге содержится информация о книгах Пантелеймона Кондратьевича, которые хранятся сейчас в Государственной публичной исторической библиотеке России. Назовем хотя бы некоторые издания: 1. А. І. Усходняя Беларусь: статыстычныя і гістарычныя матэрыялы. Мінск, 1918; 2. Антонаў І. Г. Успаміны аб польскай акупацыі Гродзеншчыны ў 1919—1921 гг.: малюнкі гвалту і здзеку фацэтных польскіх паноў на Беларусі, 1921; 3. Арсеньева С. Рассказы из истории западных окраин России. Санкт-Петербург, 1907; 4. Багдановіч Максім. Вянок. Вільня, 1913; 5. Варонка Я. Беларускі рух ад 1917 да 1920 году. Коўна, 1920; 6. Воронко И. Белорусский вопрос к моменту Версальской мирной конференции (1 февраля 1918 — 1 июня 1919). Ковно, 1919; 7. Грачев В. Осада города Смоленска Сигизмундом III (1609, 1610 и 1611 гг.). Смоленск, 1911; 8. Езавітаў К. Беларусы ў Літве. Рыга, 1932; 9. Канчар А. Класавае, нацыянальнае і рэлігійнае значэнне на Беларусі. Вільня, 1921; 10. Каспяровіч М. Вывучэнне культурнага стану краю. Мінск, 1927; 11. Ластоўскі В. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Выдана коштам Беларускага цэнтру ў Літве, 1926…

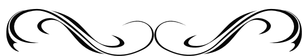
История этой коллекции следующая. В январе 1960 г. крупнейший в то время букинистический магазин г. Москвы № 14 (проезд Художественного театра, 5) сообщил в Историческую библиотеку о поступлении в продажу части личной библиотеки П. Пономаренко. Букинисты «Исторички» из всего предложенного купили 333 экземпляра (226 книг и 107 журналов). Первым «пономаренковское» собрание в Исторической библиотеке начал исследовать известный московский белорусист, доктор филологических наук, кандидат исторических наук Алексей Константинович Кавка. Он

и установил, что многие из белорусских изданий попали в собрание П. Пономаренко из личной библиотеки известного белорусского политического деятеля Кастуся Езавитова (в годы Великой Отечественной войны — колоборанта), арестованного в апреле 1945 г. контрразведкой 1-го Белорусского фронта в Германии и впоследствии доставленного в Москву и затем — в Минск. По официальной версии, К. Езавитов умер в тюремной больнице в Минске в 1946 году.

Большая коллекция книг из домашней библиотеки П. Пономаренко хранится в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси. Их в Беларусь передала вдова первого секретаря — Вера Георгиевна Пономаренко в 1985 году. На мой взгляд, для изучения истории белорусской литературы особый интерес представляют книги известных писателей Беларуси, подаренные в свое время Пантелеймону Кондратьевичу с дарственными надписями. На сборнике «Дорога жизни» Петрусь Бровка оставил такой автограф: «Дарагому Панцелеймону Кандратавічу Панамарэнку. Ідуць, адыходзяць гады за гадамі, // нямала прыйшлося падзей перажыць. // Прайшлі мы дарогу вялікую з Вамі, // Ніколі дарогі тае не забыць!» На книге «Стихотворения и поэмы» (Москва, 1951) читаем: «Дорогой Пантелеймон Кондратьевич! Еще и еще раз поклон Вам из Советской Белоруссии. Здесь все помнит и любит Вас! Петрусь Бровка. Февраль 1952». На авантитуле книги «У родных криниц» (Москва, 1963): «Дорогому Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко. В память чудесных и суровых лет, прожитых с Вами. С великой благодарностью за все доброе, никогда незабываемое! Петрусь Бровка. V.1967».

Над сводным каталогом работали многие музейщики, книговеды, архивисты, историки. Если говорить об учреждениях, являющихся партнерами в осуществлении данного проекта, то следует назвать следующих участников: Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный архив Республики Беларусь, Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Президентская библиотека Республики Беларусь, Национальный исторический музей Республики Беларусь, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Федеральное архивное агентство России, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственная публичная историческая библиотека России. Но, наверное, не ошибусь, если душой и генератором издания назову кандидата исторических наук Виталия Владимировича Скалабана. К сожалению, он ушел из жизни, не дождавшись издания сводного каталога. И тем более, книга «Пантелеймон Пономаренко: личный архив и книжное собрание» является памятником неутомимому архивисту и историку.

Кирилл ЛАДУТЬКО



С точки зрения рецензента

Глаза в глаза

Вклад доктора филологических наук, профессора БГУ Вячеслава Рагойши в отечественное литературоведение, историю белорусской литературы неимоверно велик. Начав печататься как литературный критик еще в 1961 году, он опубликовал сотни рецензий, статей, творческих портретов, очерков, эссе. Вячеслав Петрович — автор книг «Паэтыка Максіма Танка» (1968), «Пераклаў Якуб Колас...» (1971), «Карані дружбы» (1976), «І нясе яна дар...» (1977), «Гутаркі пра верш. Метрыка. Рытміка. Фоніка» (1979), «Паэтычны слоўнік» (1980), «Проблемы перевода с близкородственных языков» (1980), «Напісана рукой Купалы: Архіўныя знаходкі» (1981), «Кантакты» (1981), «Вяршыні» (1991), «Там, дзе бруіцца Іслач...» (1991), «І адгукнецца слова ў слове» (1991), «Белорусская поэма XX столетия в контексте восточнославянских литератур (типология, рецепция, художественный перевод)» (1993) и других. Но ученый литературовед — еще и переводчик поэзии и прозы на белорусский язык. Первая публикация — рассказ польского писателя Евгениюша Кабатца «Свадьба в сумерках» в майском номере журнала «Беларусь» за 1965 год. В 1966 году появились в печати первые поэтические переводы В. Рагойши: стихотворение Ивана Драча «Крылья» в газете «Літаратура і мастацтва» и стихотворение Павла Поповича «Я иду, Галактика!» в «Чырвонай змене». Через много лет Вячеслав Петрович расскажет историю одного из переводов в небольшой статье в «ЛіМе». «...Следом за Юрием Гагариным полетели в космос и другие наши космонавты. Некоторые из них, как мы знаем, были наделены от природы не только отличным здоровьем, техническими способностями, но и не лишь бы каким творческим дарованием. В частности, свои уникальные возможности живописца продемонстрировал Леонид Леонов. А Павел Попович вскоре после своей встречи с космосом заявил о себе как поэт. В «Літературной Україні», которую я тогда выписывал, было напечатано его стихотворение «Я иду, Галактика!» Для меня это было открытием: Павел Попович пишет стихи, да еще на родном украинском языке!..

Вячеслав Рагойша подытожил свою переводческую работу в области поэзии и издал книгу «Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі» (*Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі: кніга перакладной паэзіі /Вячаслаў Рагойша. — Мінск: Кнігазбор, 2013. — 196 с.*). Под одной обложкой представлены произведения 35 авторов. Основа книги — перевоплощения украинского художественного слова. Есть переводы из сербской, хорватской, боснийской, словацкой, литовской, грузинской, казахской поэзии. Книга переводов открывается оригинальным авторским предисловием — «О художественном переводе в шутку и всерьез». Вот что, в частности, пишет В. Рагойша: «Классики белорусской поэзии Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович оставили нам в наследство свои переводческие принципы, основные из них следующие: *переводить необходимо только те произведения, которые способны обогатить родную литературу, культуру, развить национальный литературный язык; художественный пере-*

вод осуществляется по любви, а не по расчету; переводчику надо владеть языком оригинала, но особенно досконально — языком, на который он переводит; в художественном переводе должен возобновляться стиль писателя, основные национальные особенности первоисточника, полноценность перевода — это не дословность, а точность в передаче идейно-образной структуры иноязычного произведения; художественный перевод, как и оригинал, должен обладать несомненными эстетическими достоинствами. Этими и некоторыми другими переводческими принципами руководствовались и руководствуются лучшие белорусские переводчики-творцы. По мере возможности в своем переводческом творчестве утверждать их стремился и автор этих строк».

«Запавет» Тараса Шевченко был опубликован на белорусском в переводе В. Рагойши в «Звяздзе» в 1994 году. Известно, что всего существует более 140 переводов известного «Заповіта» на языки народов мира. Точнее — переводов более чем на 140 языков народов мира. К примеру, на русский «Заповіт» перевел Александр Твардовский, Михаил Михайлов, Николай Гербель, Николай Мизко, Николай Чмырев, Николай Пушкарев, Иван Белоусов, Иван Бернин, Павел Грабовский, Сергей Дрипцов, Валерий Брюсов, Петр Охрименко, Андрей Колтоновский, Федор Сологуб, Яков Хелемский, Николай Тихонов, Лев Озеров и еще ряд поэтов. А на белорусский? Янка Купала (первая публикация относится к 1934 году) и Змитрок Бядуля (его перевод увидел свет в 1939 году). Вот как Тарас Шевченко заговорил по-белорусски в купаловском перевоплощении (и название у переведенного стихотворения — «Запаведзь»):

Як памру я, пахавайце
На Ўкрайне мілай,
Сярод стэпу на кургане,
Дзе продкаў магіла:
Каб нязмеранае поле,
Дняпро і абрывы
Было відна, — было чутна,
Як раве бурлівы!

У Тараса Шевченко в оригинале:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

«Запавет» в перевоплощении Вячеслава Рагойши начинается следующим образом:

Як памру — на Ўкраіне
Мяне пахавайце,
Сярод стэпу на кургане
Дол мне пракапайце,
Каб разлеглыя палеткі,
І Дняпро, і кручы
Мог пабачыць і пачуць мог,
Як раве равучы.

Перевод В. Рагойши близок купаловскому перевоплощению шевченковских поэтических открытий. И все ж у литературоведа — свой путь к постижению диалога великого Кобзаря со своим народом, своими последователями. Правда, некоторые строки повторяются, звучат слово в слово по-купаловски. Но, очевидно, в этом проявляется не только наследование классику (хотя и это можно понять), а еще и соблюдение точности мировосприятия, убеждение, что данные слова-символы являются единственно правильным художественным решением. У Шевченко: «Похавайте та вставайте,/ Кайданы порвите». У Купалы и Рагойшы: «Пахавайце ды ўставайце,/ Кайданы парвіце». У Шевченко: «Незлим тихим словом». В переводе на белорусский — у классика и нашего современника: «Добрым ціхім словам».

За работу над некоторыми переводами украинской поэзии Вячеслав Рагойша брался еще и потому, что для раскрытия отдельных терминов своего «Поэтического словаря» литературовед искал наиболее яркие художественные примеры. Как в статье «Рондель», посвященной стихотворению из тринадцати строчек, связанных между собой двумя сквозными рифмами. Тогда В. Рагойша

перевел рондель Павло Тычины. Правда, в сборник «Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі» это стихотворение не вошло.

Большая привязанность, настоящая любовь Вячеслава Рагойши как исследователя белорусско-украинских литературных связей и как переводчика — творчество Ивана Франко. В сборник вошли «Майсей (Пралог)», «Калі б ведаў чары», «Таварышам з турмы». Стоит напомнить, что в 2006 году «Мастацкая літаратура» издала книгу Ивана Франко «Народзе мой...: Творы» в переводе Вячеслава Рагойши. Дмитро Павлычко в «Літературной Украïне» опубликовал рецензию на эту по-своему уникальную работу: «...Мы, украинские франковеды и издатели, находимся под впечатлением 50-томного издания произведений И. Франко, мечтаем издать все его художественное и литературное наследие — и это очень здорово. Но белорусское издание его произведений — пример для подражания, как показать океан в каплях, как показать в созвездии безграничность мироздания...» И далее: «...Вышел сборник произведений И.Франко в Минске благодаря Министерству информации Республики Беларусь, которое профинансировало издание. А Татьяна Кобржицкая (автор предисловия — А. К.) и Вячеслав Рагойша вложили в него свою работу, свои знания, свою душу. Работу трудную, знания широкие, на удивление достойную любовь к Моисею Украины — Ивану Франко».

Душа, мастерство Вячеслава Рагойши — и в работе, ставшей результатом перевоплощения на белорусский и произведений Леси Украинки, Владимира Сосюры, Василия Симоненко, Максима Рыльского, Романа Лубкивского, Бориса Олийника, Дмитро Павлычки... Можно только сожалеть, что сборник «Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі» вышел тиражом всего в сто экземпляров. Но, возможно, это дает право надеяться на более полное издание переводов В. Рагойши. Более полное и совсем другим тиражом.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ



Книжная полка

Выбор Анастасии Самойлик

Казімір Камейша. Ад Кромані да Свіцязі. *Лірычныя запісы, мініяцюры, эсэ. Мн.: Мастацкая літаратура, 2013.*

Новая книга лауреата Литературной премии имени Аркадия Кулешова и премии «Золотой Купидон» Казимира Камейши «Ад Кромані да Свіцязі» — своего рода продолжение предыдущей его книги «Паміж кубкам і вуснамі». В ней также соседствуют лаконичность, размышление над сложными явлениями жизни, внимание к отдельным мгновениям, в которых зоркий писательский взгляд умеет увидеть что-то особенное, тонкий юмор. Как бы эпиграфом к книге воспринимается стихотворение К. Камейши, приведенное в его вступлении «Замест тастамента»:

У кожным часе вецер свой,
І ветразь свой
У кожным часе,
І свой салдат,
І свой вар’ят,
І свой герой
у кожным часе.
Свой млын падзей,
І свой маяк,
Засевак свой
у кожным часе,
І песня самая свая
Заўсёды ёсць у кожным часе...

Книга «Ад Кромані да Свіцязі», как и предыдущая, — это, по сути, диалог писателя со своим временем. Интерес вызывают и эссе. Например, «Вяртанне глінянага коніка», в котором рассказывается о центре белорусского гончарства (г. Ивенец), о людях, творящих из глины настоящие чудеса. Помещено немало эссе о писателях, с которыми у К. Камейши, как правило, были личные контакты. Иногда приводятся факты, снимающие с некоторых литераторов хрестоматийный глянец, но это позволяет лучше увидеть их как людей, которым ничто человеческое не чуждо. Вообще, «Паміж кубкам і вуснамі» и «Ад Кромані да Свіцязі» образуют своего рода дилогию, которую можно отнести к лучшим обретениям современной белорусской прозы.

Люблю тебя, Отчизна. Сборник произведений Беларуси и Армении. Серия «Созвучие сердец». *Мн.: Издательский дом «Звязда», 2013.*

Замечательный издательский проект появился в Беларуси в этом году: серия «Созвучие сердец» (автор идеи Лилия Ананич). Цель этой библиотечки — знакомить читателя с лучшими произведениями, созданными в постсоветское время писателями стран, входящих в Содружество Независимых Государств. Также в этих книгах представлены и произведения белорусских авторов. Первые две книги посвящались соответственно России и Азербайджану. И вот еще одна ласточка, появившаяся на горизонте дружбы и сотрудничества: «Люблю тебя, Отчизна», где представлено творчество белорусских и армянских писателей. Как отмечает в предисловии «Найти свой голос» Алесь Карлюкевич, это название «является, пожалуй, лейтмотивом всего сборника. Одинаково учащенно выбивается сердечный ритм в стихот-

ворениях и рассказах Ованеса Григоряна и Олега Ждана, Гукаса Сирупяна и Юрия Сапожкова». Конечно, и других авторов, представленных под обложкой «Люблю тебя, Отчизна». У каждого находишь нечто особенное, что затрагивает самые тонкие струны души. Как в ироническом стихотворении «День поминовения» недавно ушедшего, к сожалению, из жизни Ю. Сапожкова:

На кладбище в жару едва ползем.
Дорога пыльная и воздух спертый.
Живым любви мы все недодаем,
Зато передаем с лихвою мертвым.
Забудь, что по заслугам воздается,
И говори спасибо, что я жив,
А то ведь полюбить меня придется.

Уладзімір Мазго. У нябёсах вясны. Выбраныя творы. «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў». *Чатыры чвэрці, 2013.*

Владимир Мозго — поэт известный, вниманием не обделенный. Об этом свидетельствуют хорошие отзывы критики, признание читателей, да и то, что его лучшие книги отмечены несколькими престижными премиями, в том числе и «Золотым Купидоном». И вот появилась возможность познакомиться с самыми значительными произведениями В. Мозго, а тем самым и как бы перевернуть страницы биографии его лирического героя. Все, о чем бы ни писал В. Мозго, пропущено им через сердце. Это проявления тонкой души, вобравшей в себя, словно губка, все то, чем жило и живет поколение, сегодня перешагнувшее уже свой полувековой юбилей. Лирический герой поэта — это и вчерашний школьник, мальчишка, с удивлением открывающий окружающий мир; и юноша, обретающий уверенность в себе, служа в армии; и молодой человек, встретивший свою настоящую любовь; да и, конечно, это мужчина, многое повидавший, многое познавший, в сердце которого живут вера, надежда, любовь. Приятно читать произведения В. Мозго, адресованные маленьким читателям, составившие в книге отдельный раздел, который так и называется — «Творы для дзяцей». А еще В. Мозго замечательный поэт-песенник. Многие стихи его положены на музыку белорусскими композиторами. Некоторые из них также вошли в книгу. Так что однотомник «У нябёсах вясны» — собрание лучшего из написанного поэтом.

Николай Чергинец. Илоты безумия. *Роман. Мн.: Мастацкая літаратура, 2013.*

Как известно, настоящий писатель способен иногда выступать в роли своего рода предсказателя. Это касается не только фантастов, но и так называемых строгих реалистов. К ним, как известно, принадлежит и Н. Чергинец. Однако в романе «Илоты безумия» он изменил (в хорошем смысле этого слова) своей традиционной манере. Это позволило писателю, используя элементы фантастики, лучше раскрыть сложные процессы, происходящие в современном мире. Еще за шесть лет до трагедии, произошедшей 11 сентября в Нью-Йорке, он предупредил о той глобальной угрозе человечеству, которая исходит от международного терроризма. Как и во всех произведениях Н. Чергинца, действие в «Илотах безумия» развивается динамично, стремительно, композиционная канва романа постоянно обрастает все новыми и новыми ответвлениями. Однако на этот раз в произведении присутствует и то, что вроде бы для его писательской манеры и не характерно: сочетание реалистического и мифического, перенесение действия из дня сегодняшнего в прошлое. Кроме того, в произведении появляются пришельцы с иных планет, да и сам Космос предстает как всеобъемлющая субстанция вселенского масштаба, от которой зависят не только судьбы цивилизаций, но и каждого конкретного человека. Особая опасность исходит от некого Абдуллы Керима, вообразившего себя повелителем мира, эдаким новым Гитлером, для которого, как и для его одиозного предшественника, нет ничего святого: «Я поставлю весь мир на колени. Я буду властелином мира. Все люди будут сверять свое время по моим часам!» А начало

всему будет положено взрывом тоннеля под Ла-Маншем. После осуществления этой масштабной операции, в успехе которой никто из террористов не сомневается, весь мир погрузится в пучину не менее страшных актов насилия, сеющих массовые разрушения, смерть. В «Илотах безумия» пристальное внимание обращено и на то, что цивилизации, о существовании которых мы сегодня можем только догадываться, несут человечеству все же не зло. Находящиеся на более высокой ступени развития, они способны предостеречь нас от ошибок. Более того, в тот момент, когда над человечеством нависает угроза уничтожения, они стараются оказать ему помощь через своих представителей. Это говорит о присутствии в романе Н. Чергинца сильного гуманистического начала, что придает всему произведению оптимистическое звучание. Особенно впечатляют заключительные страницы романа. Отряду Керима в тысячу хорошо вооруженных боевиков удается окружить штаб-квартиру. Напряжение, как говорится, на пределе. Но уже создан объединенный штаб из представителей шестнадцати ведущих государств мира для противостояния всей этой вакханалии зла. Вполне понятно, что все больше возрастает надежда на победу сил добра. Она возрастает по мере того, как действия тех, кто противостоит террору, приобретают широкий размах и постепенно дают результаты. Поражаешься мастерству, с которым Н. Чергинец передает все нюансы этой борьбы. Отдельные эпизоды предстают перед читателем, будто составные части огромной картины, сотканной из сюжетов, взятых из самой жизни. Осознание того, что Керим — словно порождение вселенских сил зла, усиливается после того, как видишь его бесславный конец. Роман «Илоты безумия» — свидетельство того, что Н. Чергинцу по силам выход на новые жанровые возможности прозы. Вместе с тем, читатели лишний раз могут убедиться в том, что писатель, хотя и является приверженцем детективно-приключенческой литературы, все выше и выше поднимает планку психологизма, прекрасно понимая, что изящная словесность — это, наряду с другими ее качествами, в первую очередь — человековедение.



Имена

Где появлялся Прахов, закипала жизнь...

Если бы кому-нибудь сказать, что лучшим другом и учителем выдающихся русских художников Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Неврева, Василия Поленова, Ильи Репина, Ивана Шишкина был мстиславский искусствовед, то, скорее всего, он криво улыбнется. Ну и пусть, а мы начнем искать, чтобы узнать, как все это произошло...

Нить поиска когда-то мне подал Владимир Короткевич, большой знаток истории и судеб талантливых людей прошлых веков. Я не раз встречался с ним в редакции журнала «Маладосць», которая размещалась тогда в помещении ЦК комсомола республики. Там же находился и Минский обком комсомола, где я работал. Случалось, заходил к Степану Кухареву. В его кабинете я слышал разговоры Короткевича о нетронутых страницах истории, которые он вел с Алесем Осипенко, Николаем Аврамчиком, Леонидом Дайнеко. Из книги Короткевича «Мстиславль» я впервые узнал об интереснейшем земляке, удивительном образце благородства — профессоре Адриане Викторовиче Прахове. Владимир Семенович кратко написал о нем, но этого было предостаточно, чтобы впрячься в поиск.

Неожиданно оказавшись в Петербурге, я сразу же отправился в знаменитую публичную библиотеку. Какие там внимательные сотрудницы! Одна умница подсказала:

— Начинайте с забытых страниц его биографии. Ознакомьтесь со статьями Прахова — это вдохновит и втянет в мир его творчества.

И вот на моем столе редкий журнал «Вестник Европы» за 1875 год. Какая радость — синица в моих руках. С волнением читаю очерк Прахова о всемирно известном итальянском скульпторе и живописце. Уже первые строки увлекают изяществом слога: «В весенний ясный день, около пяти часов полдни, в Риме, на Эсвилинском холме, целое море блеску от вешнего солнца, которое клонится уже к горизонту, и в сверкающей золотой дымке вырастают прозрачными силуэтами налево развалины цезарских дворцов, увенчанные рощами каменного дуба и кустами роз; направо, внизу, тускнеют закоптелые и грязные жилья новейших римлян, а прямо перед вами рассекает знойную даль силуэт одинокой пальмы. Горькая действительность иногда разгоняет очарование этой изумительной картины...» Адриан Прахов, любящий искусство всеми фибрами души, путешествовал по странам в поисках шедевров искусства, и, стремясь преподнести свои находки людям, сам создавал шедевры слова. Это еще больше усилило интерес к нему, к его встречам с художниками, к его подвижнической жизни.

Прахов, изумляясь увиденным, ведет нас к портику старинной базилики, разделенной внутри двумя рядами колонн, через невысокую дверь в монастырский двор. Здесь низкое солнце льет струи вечернего света, ложащегося на каменные плиты длинными желтыми четырехугольниками, от которых еще сумрачнее, еще синее становится под сводами среднего нефа. Куда ведет автор своего читателя? «...Вдруг невольно останавливаетесь: перед вами из сумрака вырастает грозный мраморный гигант и смотрит в простран-

ство, как бы негодуя, что потревожили его молчаливый, уединенный покой... Так вот он, «Моисей» Микеланджело, создание этого гения, который смог воплотить великую идею вождя «народа божьего» в таких громадных формах!»

Один из величайших художников мира Микеланджело Буонарроти, создавший статуи «Моисей», «Оплакивание христа», фреску «Страшный суд», сильнее других выразил гуманистические идеалы эпохи Возрождения. Кроме того, он оказался способным выразить и ощущение возможного кризиса гуманистического миропонимания. Его воображение более всего занимали творческие возможности человека, его любовь и поклонение красоте. Этим достоинством более всего гордились его многочисленные ученики. Это более всего ценил 30-летний публицист Адриан Прахов и всей душой стремился привлечь внимание (особенно молодых русских живописцев) к творчеству гениального итальянского мастера. Прахов превосходно понимал, что последователи Микеланджело, не достигли глубины его мысли и высоты его художественных открытий, не смогли проникнуться духом его творчества. А на дворе новое время с другими проблемами. Прахов хорошо знал новое поколение России, представителем которого был сам. Его обширные познания художественной культуры Европы и тонкая интуиция не могли не подсказать, что Микеланджело — это факел, который может освещать путь многим. Кто же этот смельчак, тоже своего рода светоч, подошедший к гигантам мирового искусства? Кто он и откуда?..

Адриан Прахов родился 16 марта 1846 года в городе Мстиславле Могилевской губернии в семье директора мужского училища Виктора Прахова и мстиславской шляхтянки Евдокии Васильевны Полубинской. Мальчику повезло: он начинал познавать мир в необыкновенном городке, где история переплела культуру белорусов, русских, украинцев, сблизила жителей-соседей. Из воспоминаний сына Адриана Николая узнаем: «У бабушки моей — Евдокии Васильевны Праховой, родом из белорусского города Мстиславля, рано овдовевшей <...>, соблюдались на праздники и белорусские обычаи, слышались белорусская и украинская речь и песни». Адриан воспитывался в большой дружной семье. Которой, однако, довелось переехать в Петербург. Адриан Прахов поступил в 3-ю петербургскую гимназию. Жизнь гимназиста постепенно сблизила его с городом на Неве, с его улицами и площадями, его историей и памятниками. Здесь было больше книг, были музеи и выставки. Это новое с каждым годом все более увлекало его, притягивало.



Портрет Адриана Прахова работы Ильи Репина. 1866 г.

В семнадцать лет Адриан Прахов блестяще окончил гимназию и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Выбор сделал осознанно и с большим желанием. Старший брат Мстислав на год раньше окончил этот факультет, увлекся языками и стал работать переводчиком.

Будучи студентом, Прахов не чувствовал себя баловнем судьбы, был скромен, усидчив и трудился в поте лица. Знал, что познанное, вошедшее

в память, — твое богатство, которое будет выручать тебя всю жизнь. Усердно изучал историю и литературу, русский, латинский, немецкий, французский, итальянский языки. Все яснее понимал, что очень пригодятся. Не по требованию моды, а по сущности профессии. С особой гордостью шел он на лекции всеобщей истории, истории древней Греции, которые читал неординарный профессор-земляк Михаил Семенович Куторга.

Университетская жизнь это не только лекции профессоров, семинары, студенческие дискуссии, это еще и небольшой круг студентов, связь с которыми после занятий вовсе не заканчивалась. Образование и самовоспитание Адриана Прахова вместе с друзьями продолжались на выставках живописи и музеях, в библиотеке, на уличных прогулках в белые ночи. Шли оживленные разговоры об ученых, писателях и их книгах, о политических событиях и городских новостях. Нередко шумная ватага заваливала в петербургскую квартиру, где жил Адриан и где студентов гостеприимно встречала его мать, Евдокия Васильевна. Здесь царила совершенно вольная дружелюбная атмосфера, семейный уют.

Семья Праховых жила скромно, на пенсию рано умершего отца и трудовые заработки молодежи. Ничего лишнего, но за столом все были накормлены и довольны. Главнее всего — поговорить по душам, послушать друг друга, выяснить, кто нуждается в помощи по учебе или в деньгах. Обычно после чая студенты развлекались. Фантазия била через край: игры-загадки, живые картины, домашние маскарады, стихи любимых поэтов. Все, что развивало творческое мышление, этическое чутье, художественный вкус и терпеливый характер. Нередко вторгались в сложные учебные темы, читали свежие журналы «Современник», «Отечественные записки». Тогда молодежь зачитывалась литературно-критическими статьями Белинского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского, которые будили юношескую мысль и давали богатый материал для споров и рассуждений.

А заявлялись в дом студенты, как на подбор, — веселые, остроумные, жаждущие знаний: Марк Антокольский, Павел Висковатов, Аполлон Майков, Дмитрий Менделеев, Дмитрий Минаев, Николай Мурашко, Илья Репин и многие другие, ставшие впоследствии известными людьми. По воспоминаниям родственников, запевалой в этой компании был старший в семье — Мстислав Прахов, чье имя с любовью вспоминалось потом многими художниками и писателями.

Дружеские встречи с живописцами, творческие беседы с ними о судьбе отечества, назначении искусства для Адриана Прахова не прошли бесследно. После учебы в университете он все чаще забегал в выставочный зал Академии художеств, что находился на Университетской набережной. Он работал над своими набросками, рисунками, начатое не завершил. А потом произошло непредвиденное, то, что изменило направление его пути. Из-за развивающейся болезни глаз Адриану пришлось отказаться от мечты быть художником. Он решил посвятить свою жизнь изучению и пропаганде истории искусств. В дневнике Прахов пометил, что его задача — сравнительное изучение истории искусств для построения теории искусства.

Профессора университета убедили Адриана Прахова, что преподавать любую науку вряд ли возможно, не изучив истоки ее возникновения, не побывав в тех странах, в которых она раньше других развивалась. Поэтому после успешного окончания университета в 1867 году, его вскоре направили за границу, чтобы он подготовился к работе на кафедре истории изящных искусств.

Четыре года Прахов собирал духовные зерна на чужом огороде, чтобы потом взрастить их на своей ниве. В просвещенной Германии знакомился с научными трудами многих исследователей. В Мюнхенском университете слушал лекции известного немецкого профессора-археолога Генриха Брунна и других светил. Немало знаний приобрел в научных кругах Франции и Англии. С нетерпением ждал первой встречи с древней

Элладой. Здесь Прахов особенно тщательно изучал памятники древнегреческого искусства, собранные в библиотеках, древние и новые произведения, встречался с историками и искусствоведами.

В 1873 году Адриан Викторович вернулся в Петербург и, не теряя времени, принялся за обработку богатого материала. За диссертацию «О реставрации группы восточного фронтона Эгинского храма в Афинах» получил степень магистра и был избран доцентом кафедры изящных искусств Петербургского университета. Студенты охотно ходили на лекции Прахова, который всей душой любил свой предмет и оказался весьма подготовленным. Говорил увлеченно, эмоционально, с глубоким знанием специфических понятий искусства и древности.

Адриан Викторович проявил себя человеком разнообразных дарований. Кроме преподавания в университете, он занимался живописью, архитектурой, публицистикой, историей искусств. В 1875 году редактор-издатель иллюстрированного журнала «Пчела» Михаил Микешин, автор знаменитого памятника в Новгороде «Тысячелетие России», пригласил Прахова на работу в редакцию. Став редактором художественного отдела, он получил для себя новую трибуну, возможность публиковать статьи по искусству. Здесь Адриан Викторович встречался с Василием Верещагиным, Константином Маковским, Николаем Невревым, Василием Перовым, Василием Суриковым, Иваном Шишкиным и другими знаменитыми художниками, которые приносили в журнал свои работы. Обратили на себя внимание читателей крупные аналитические статьи и очерки Адриана Прахова о Микеланджело Буонарроти, Жаке-Луи Давиде, Питере Рубенсе, Тарасе Шевченко о скульптуре современного Запада. О каком бы художнике Прахов ни писал, во всех случаях он обнаруживал глубокое знание истории его страны, его биографии и творчества. Он стремился не только изучать основные этапы развития европейской живописи, но и понять тайны великого мастера, которые «коренятся в свойствах его эпохи», прогнозируя дальнейшее развитие мирового искусства.

Неутомимый искатель и даровитый ученый, Адриан Прахов целиком посвятил себя истории искусств и много писал. Открывал для русских читателей новые, неизвестные имена знаменитых художников. Исправлял неточности и недомолвки писателей, которые рассказывали о них ранее.

Искусствоведческие очерки Прахова — это органический сплав научности и стиля, эмоций и мысли. По объему они велики, но ясные и выразительные.

Адриан Прахов, правая рука редактора Михаила Микешина, с честью справлялся со своими обязанностями. Живя в Петербурге, он лично знал почти всех художников города, старых и молодых. Он был свидетелем творческого процесса. Прахов вел постоянную рубрику «Художественные выставки в Петербурге», и его обзоры новых выставок появлялись почти в каждом номере.

При всей своей занятости Адриан Викторович не только не растерял друзей, их, кажется, стало еще больше. Иногда по вечерам Праховы устраивали в своем доме журфиксы, на которые Адриан приглашал старых и новых друзей, своих учеников. Они высказывали свои мнения о его публикациях и помогали в подготовке нужных статей для журнала «Пчела». В доме бывали ярко проявившие себя живописцы: братья Аполлинарий и Виктор Васнецовы, Василий Максимов, Василий Поленов, Илья Репин, Иван Шишкин, Валентин Серов. Дружная, интеллектуальная и самокритичная компания! Гости угощали друг друга новостями, оценками, своими новыми произведениями. А хозяйственная и добродушная Евдокия Васильевна угощала картошкой, отменными блинами и другими белорусскими блюдами.

Когда однажды Прахов сказал друзьям о своем возвращении в Петербургский университет, они, изумленные, заговорили:

— А кто же будет тянуть пчелиный улей?

Но тянуть «Пчелу» оказалось не нужно, ее закрыли. Обогащенный научными знаниями, получивший широкую известность среди журналистов и историков искусств, Адриан Викторович с новой силой взялся за работу на своей кафедре. Переработал, обновил тематику лекций и рефератов, посетил открытые лекции видных профессоров-ораторов. За короткое время дополнил и поправил свои исторические исследования. За научный труд «Зодчество древнего Египта» получил степень доктора. Кроме университета, Прахов читал лекции по своему предмету в Императорской Академии художеств по приглашению учреждений культуры города. Илья Репин вспоминал, как он присутствовал с украинским живописцем Николаем Мурашко и другими на реферате, в котором Адриан Прахов настаивал на недопустимости смертной казни. Реферат вызвал оживленное обсуждение. Репин записал тогда: «Какой он был романтик, полный бескорыстия и серьезных вопросов. Мы его обожали и удивлялись его чистоте и скромности».

В Петербургском университете, оказывается, училось немало уроженцев белорусских губерний, в том числе минчан, среди них — выпускник Минской мужской гимназии Платон Янковский, сын мелкого акцизного чиновника. Он поступил на физико-математический факультет и с необыкновенным интересом слушал талантливых лекторов — Градовского, Коркунова, Таганцева. «Особенно, — вспоминает Янковский, — меня привлекали блестящие лекции профессора А. В. Прахова по истории египетского и греческого искусства на историко-филологическом факультете, с иллюстрациями по атласам и снимкам. Они раскрывали ту религиозно-эстетическую сторону жизни древних, на которую гимназия обращала мало внимания, но в которой заключается разгадка цельности и неувядаемой свежести древнего эллинизма... Вскоре я познакомился с А. В. Праховым и стал бывать у него дома. В этой гостеприимной семье собирались профессора, художники, журналисты, учащаяся молодежь: спорили, играли, читали. Там были И. Крамской, И. Шишкин, В. Поленов, А. Кони, М. Иванов, профессора В. И. Сергеевич, А. А. Иностранцев и другие... Мои университетские воспоминания тесно связаны с этим симпатичным домом, где я получил, так сказать, свое юношеское воспитание».

Кроме того, профессор Прахов читал публичные лекции в Академии художеств и скульптурном музее. Они пользовались большим успехом. Лектор обычно приносил свои эскизы и кипу книг. Его лекции с интересом посещала молодежь, среди которой был и художник Илья Репин. Спустя годы он вспоминал: «Адриан Прахов захватывал слушателей исторической, еще никем не тронутой, правдой. Это был философ, хорошо знавший эллинов, и он нас поражал до невероятности новыми сведениями из классического мира. Еще целый миф о Прометее. Эти мифы и исторические материалы поражали нас своей новизной и неожиданностью... Никакой роман не мог так увлекать».

Популярность Прахова росла с каждым годом. В октябре 1866 года император Александр II пригласил его в Гатчинский дворец, в резиденцию русских царей, где искусство высоко чтилось еще со времен Павла I. Адриан Викторович в Белом зале в присутствии императора со свитой представил древние церковные книги, манускрипты, утварь и одежды, начиная с XV века, а также древние портреты, картины и планы древних церквей. Тогда он посетил церковь Гатчинского дворца и Павловский собор, который отмечал 40-летие закладки.

У Прахова жизнь не застаивалась, она кипела и, кажется, из невозможного делала возможное. Двигателем его великой души были разносторонняя образованность, интеллигентность, страсть к деятельности и любовь к искусству. Это подтверждают его талантливые современники. Неординарная личность, живописец Михаил Нестеров свидетельствует, что Прахов вечно что-то открывал: полузабытые ли мозаики и фрески старых церквей или художни-

ков с их будущими творениями. В нем жил дух странствий. Научный поиск гнал его за границу; по России — в Новгород, Владимир, Углич, Ярославль.

Публичные лекции Прахова в Петербурге об истории искусств, «О новых течениях в живописном и скульптурном искусстве Запада» среди студентов и молодых художников вызвали большой интерес и оживленные споры. По приглашению ученого-археолога, председателя Археологического общества графа Уварова он с успехом повторил их в Москве, где укрепил свою дружбу с живописцем Виктором Васнецовым. По вечерам они рассуждали о состоянии современного русского искусства, положении заявивших о себе мастеров, обнаруживая общность взглядов. Васнецов высоко ценил критические обзоры художественных выставок Адриана Викторовича, напечатанные в «Пчеле».

Во время второй поездки за границу Адриан Прахов в 1872 году в Италии познакомился с Саввой Ивановичем Мамонтовым, богатым меценатом, который покровительствовал художникам, представляющим новые течения в русском изобразительном искусстве. Чтобы не засохнуть в деловой жизни промышленника, Мамонтов учился пению в Милане, увлекался живописью и театром. В Риме рядом с Мамонтовым была и его жена Елизавета Григорьевна, которая подолгу жила здесь из-за болезни своих детей. Адриан также приехал с женой Эмилией Львовной, пианисткой с тонким художественным чутьем. Насколько легко и основательно сошлись мужья, настолько же сложно складывались отношения их жен. Вскоре об Эмилии уже заговорили как о неуживчивой и эксцентричной, но ее мужа это вовсе не волновало.

Прахов жил своими интересами, планами, замыслами, он с увлечением постигал вечные законы жизни, гармонии, красоты и, как ребенок, радовался, что рядом с ним единомышленники: Василий Поленов, Марк Антокольский, Валентин Серов и другие. Днем у каждого свои программы, а к вечеру все собирались в просторном зале Саввы Мамонтова, которого интересовало все. И даже история древнегреческого искусства. Адриан Прахов азартно выступал перед своей аудиторией, отвечал на всевозможные вопросы. Участвовал в полемике по «чистому» искусству, по актуальности старины. Все это еще больше сближало людей. В русской колонии в Риме горячо обсуждались вопросы: с кем вы, художники-передвижники, что собираетесь делать, какие силы двинете в ближайшее будущее? Всем наскучило итальянское затворничество, неудержимо влекло домой, на родину.

Еще в 1870 году Савва Мамонтов купил подмосковную усадьбу, принадлежавшую поэту Сергею Аксакову. Перед ним открылся простор для исполнения своих замыслов, и он с нетерпением поджидал близких ему по духу художников и архитекторов. Одним из первых в Абрамцево прибыл москвич Николай Неврев, давний друг Мамонтова. За ним — Василий Поленов, который под руководством генерала Черняева воевал против турок в Сербии и поместил об этом множество рисунков в журнале «Пчела». Потом приехали Репин, Васнецов, Коровин, Врубель, Серов и другие молодые художники. И те, кто состоял в «римской колонии», и деятельные новички, окрыленные ожиданиями творчества на родине, создали абрамцевский кружок.

Илья Репин писал своему другу студенческих лет Адриану Прахову, что Абрамцево — лучшая в мире дача, это просто идеал. Здесь можно было поработать на свежем воздухе, отдохнуть, обогатиться новыми идеями и поспорить с интересными людьми.

И на какое-то время в усадьбу Мамонтова, как ураган, налетел всегда желанный Адриан Прахов, возмутитель спокойствия. Он стал организатором живых картин. Превосходно зная Грецию и Египет, он был режиссером массовых постановок, которые воссоздавали эпизоды древних веков. Прахов всеми силами поддерживал постройку в Абрамцево маленькой церкви, проект которой разработали Виктор Васнецов и Василий Поленов. Совместно соз-

давали иконостас, образ Сергея Радонежского написал Васнецов, Николая Чудотворца — Николай Неврев. По совету Прахова в украшение церкви ввели элементы древнего зодчества и современности, что потом составило одно из ведущих направлений в русском храмовом творчестве. Успешное завершение церкви — первого произведения художников абрамцевского кружка — вызвало интерес к возрождению художественных ценностей в других местах. Восхищенный первыми иконописными работами Виктора Васнецова, Адриан воодушевился и увлек его на почтенный путь храмового искусства. Он предложил ему проявить свой талант на стенах собора Святого Владимира в Киеве. И тот согласился. Адриан вызвал к профессиональной живописи молодого Михаила Врубеля. Увидев в нем яркое дарование, Прахов, не сомневаясь, предложил ему роспись Кирилловской церкви в Киеве, а потом не менее сложное — эскизы к Владимирскому собору, который отстраивали заново. Видный русский драматург и историк искусства Петр Гнедич писал: «Руководство над работами в Киеве было поручено профессору Адриану Викторовичу Прахову, издавна читавшему курс истории искусств в Академии художеств и университетах. Опытным глазом прозорливца угадал он то, что ему нужно, и пригласил Васнецова быть главным иконописцем храма».

Адриан Прахов пригласил в Киев и молодого художника Михаила Нестерова, у которого перед этим появилась на выставке картина «Пустынник». Весной Нестеров приступил к работам во Владимирском соборе, где познакомился с Виктором Васнецовым, уже создавшим лучшую часть своих композиций. Навсегда запомнился ему Адриан Викторович — деятельный, общительный, любезный, способный понять тревогу молодого живописца. Понял — и «пришел ко мне на помощь». Он говорил о многих опасностях, стоящих на пути молодого художника, губящих его силы и индивидуальность. «Адриан Викторович с живым интересом следил за работой, всячески ободрял меня, а в то время такое внимание его для меня было особенно ценно», — признавался Михаил Нестеров, который намного пережил Прахова и успел еще получить за портреты Ивана Павлова и Веры Мухиной Сталинскую премию.

Адриан Прахов руководил реставрационными художественными работами во Владимирском соборе и состоял профессором истории Киевского университета. Кроме того, исследовал остатки мозаики и стенной живописи в Софийском соборе и фрески Кирилловской церкви. Когда все работы были закончены, он возвратился из Киева в Петербург, на свою кафедру истории и теории искусств. В 1904—1907 годах занимал должность редактора иллюстрированного сборника «Художественные сокровища России», пропагандировал русское художественное наследие, жизнь и творчество прославленных мастеров искусства. А потом дали о себе знать болезни...

Адриан Викторович думал о будущем всей страны и о своих собственных детях, которые нуждались в нравственных ориентирах. У них с Эмилией Львовной родилось трое детей. Две девочки, Ольга и Елена, сын Николай. Все свои способности и чистоту души родители отдали детям, для которых они стали примером. Кроме того, на воспитание детей, их характеров и взглядов, оказали сильное влияние живописцы и музыканты, которые часто бывали в их доме. Девочки занимались музыкой и художественной вышивкой. Сын также увлекался искусством, стал художником-декоратором. Все они выросли трудолюбивыми и благородными, живущими по законам миролюбия и красоты.

Вместе с родителями дети побывали во многих местах России и зарубежья. И когда отец болел, находясь в Крыму, они также были с ним, всячески помогая облегчить его участь. Адриан Викторович Прахов умер 1(14) мая 1916 года в Ялте и похоронен на местном кладбище.

Пожалуй, во всем мире не так много людей, которые по величию

духа, доблестному служению искусству и народу могли сравниться с Адрианом Праховым.

Кажется бесценным все, что Адриан Прахов опубликовал в журналах. И ныне актуально звучат его мысли о назначении и роли искусства в обществе, о духовном и внешнем облике художника, о его принципах и методах творчества, о взаимосвязях с другими странами. Поднятые им пласты истории европейского и русского искусства, яркие биографии крупнейших мастеров и анализ их произведений — это наше духовное наследие, которое еще предстоит осмыслить.

Эдуард КОРНИЛОВИЧ

Память

Любимец болельщиков — Павел Мимрик

Это имя хорошо известно любителям футбола со стажем. Его уважали за честность, принципиальность, прямоту и скромность. Его футбольный талант — это труд, кропотливый, упорный, повседневный. Он жил футболом. О судьбе мастера спорта СССР, заслуженного тренера БССР Павла Савельевича Мимрика рассказывает его вдова Елена Мимрик.

Обычно после матча, проведенного на своем поле, Павел возвращался домой пешком. Его всегда сопровождала ватага мальчишек, очарованных игрой своего любимца. Им хотелось пройти рядом с ним, хоть подержаться за чемоданчик с футбольной формой. И какими влюбленными глазами они смотрели на него! Павел приглашал мальчишек в гости. Здесь их ждали сладости. Павел рассаживал ребят и отвечал на их вопросы. Сколько раз он спасал команду от неминуемого гола? Было ли такое, чтобы он сам забил мяч в ворота противника? Какие любит кинофильмы, песни? Павел отвечал на все вопросы. Мальчишки с восторгом слушали его, лакомясь конфетами, печеньем, яблоками, лимонадом, засиживались допоздна, пока мы не выпроваживали их.

А когда-то Павел и сам был таким пареньком... В 1938 году 17-летний Павел Мимрик выступал за одесскую юношескую команду и учился в зубопротезной школе. Любил родной город и никогда не думал, что покинет Молдаванку и Пересыпь. В начале 1941 года Павел был призван в армию. Учился в Энгельсской школе стрелков-радистов. В 1942 году направлен на Западный фронт, затем — на 1-й Белорусский, сражался и на Прибалтийском, и на 3-м Белорусском фронтах в составе особой артиллерийской разведывательной дивизии как вычислитель, специалист по геодезическим и топографическим знакам. В 1944 году стал командиром отделения артиллерийской бригады. Принимал участие в освобождении Минска и никогда не думал, что этот город станет его второй родиной. Павел задержался в армии до декабря 1946 года. За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и другими.

Потом Павла перевели в Минск в команду Окружного Дома офицеров, а в 1947 году он был принят в команду мастеров минского «Динамо». Сначала играл в дубле, но благодаря настойчивости, упорному труду добился значительных успехов и был переведен в основной состав. Он стал настоящим мастером защиты минской команды, за которую выступал почти десять лет. Половину из них являлся капитаном



Павел Мимрик выводит «Динамо» на игру с «Торпедо» (Москва).

команды. В команде он был одним из самых опытных и дисциплинированных футболистов. Он умел услышать другого, ни на кого не повышал голос, не терпел грубости и хамства, с которыми иногда приходилось сталкиваться.

Однажды, когда мы с Павлом отдыхали в Одессе у его матери, туда приехал администратор киевского «Динамо» и упрашивал моего мужа перевестись в Киев. Павел был на перепутье. Возвращаясь из Одессы домой мы остановились в столице Украины. Нас водили по Крещатику, показали четырехкомнатную квартиру. Но даже несмотря на то, что в Минске мы жили в общей квартире, Павла не соблазнили никакие обещания. Он не мог изменить своему коллективу и отказался от предложения. Потом были попытки переманить Мимрика и со стороны ленинградского «Динамо».

В Минске мы жили в квартире вместе с известным в то время футболистом Николаем Шевелянчиком. Павел и Николай иногда засиживались на кухне допоздна. Им было о чем поговорить, что посоветовать друг другу — выступали ведь за одну команду. Большая дружба связывала Павла еще с одним динамовцем — Ратмиром Перoccupied Пержхало — мужем моей сестры Татьяны. Навещали нас товарищи по команде Александр Назаров, Петр Игнатов, Анатолий Егоров, Виталий Косенюк, Вячеслав Артемов и многие другие — всех не перечислишь. Сложные профессиональные отношения сложились у Павла с вратарем Алексеем Хомичем. Оба упрямые, друг другу ни в чем не хотели уступать. Но случалось это только во время игры. В жизни же они были хорошими товарищами. Алексей частенько заходил в гости, и наша дочь Лидия допытывалась у отца, почему дядю Лешу зовут тигром. «Потому, доченька, — объяснял Павел, — что при ловле мяча он прыгает, как тигр». Лидочка мало разбиралась в футболе, ей было только пять лет, но «тигра» она запомнила, потому что это прозвище звучало часто.

Заядлым любителем футбола был министр госбезопасности Цанава. Он с каким-то особенным вниманием следил за игрой динамовцев и, кроме того, его почему-то интересовала личная жизнь Павла. Как-то после очередной победы динамовцев у нас дома собралась обычная компания: Ратмир Пержхало, Виктор Шаронов, Роман Белявин, писа-

тель Алесь Осипенко, — все с женами, детьми. Поздно вечером вдруг раздался звонок в дверь и, открыв ее, мы очень удивились, увидев какого-то полковника. «Извините, что потревожил вас, — сказал он. — Зашел посмотреть как вы живете». «В такое время!» — удивился Павел. «Не удивляйтесь, так нужно», — ответил полковник, вперив взгляд в почти пустой стол и увидев на нем только картофель. Как выяснилось, Цанаве захотелось узнать, чем занимается капитан команды после игры. Когда полковник доложил министру об увиденном, Цанава вызвал Павла к себе и дал нагоняй: «Ты что же, ешь одну картошку? — кричал он. — Разве мало зарабатываешь?» Павел не растерялся и с возмущением ответил: «Да, я люблю белорусскую картошку или, лучше сказать, белорусскую бульбу, и нечего меня упрекать за это. А вы любите виноград, мандарины и апельсины, которые привозят вам из Грузии. Вот взяли бы да и прислали с этим полковником фрукты для детей». Цанава рассердился услышав такое, но он прощал Павлу многие резкости. Любил его как хорошего игрока и потом даже подарил ему приемник.

В 1954 году минский «Спартак» (так называлась тогда сильнейшая минская команда) занял в чемпионате страны третье место. Все матчи были проведены на подъеме. Усердно готовились дать бой знаменитому московскому «Динамо» и очень волновались, выходя на игру. При счете 1:1 еще можно было побороться за серебряные медали. Хорошо играли и защитники, и полузащитники, и нападающие минчан, но им не повезло. Неожиданно мяч попал в ногу Артемова, бегущего на помощь Хомичу, и тихонько влетел в ворота. 1:2. Проиграли! А ведь в первом круге на своем поле выиграли со счетом 1:0. Все глубоко переживали это поражение, успокаивала только поддержка болельщиков.

Белорусская команда — бронзовый призер. Это произвело в республике фурор. Было много поздравлений.



На тренировке с гродненцами (Павел Мимрик — крайний справа).



Анатолий Егоров и Павел Мимрик.

Одно из них от поэтов Максима Танка и Пимена Панченко: «Еще никогда с таким интересом не ходили на стадион «Динамо», как в этом году. Если раньше мы видели то хорошую, то посредственную, а иногда и слабую игру, так в этом сезоне мы увидели настоящих мастеров кожаного мяча, и не отдельных игроков, а волевой талантливый коллектив. Успехи минского «Спартака» вызвали не только прилив новых тысяч болельщиков, но и большой интерес к этой народной игре среди трудящихся, особенно учеников, молодежи. В Минске теперь нет ни одного более-менее просторного двора, где бы не играли в футбол, где бы не были хомичи и мозери, мимрики и бачурины. Поздравляем спартаковцев с победой и желаем в следующем году бить без промаха по воротам противника, побеждать во всех международных встречах и не опускаться в турнирной таблице ниже места, завоеванного в этом году».

Спартаковцы гордились этим поздравлением, старались не огорчать поклонников футбола. В газете «Чырвоная змена» от 24 октября 1954 года поэт Артур Вольский в своих дружеских шаржах и рисунках прославил спартаковцев, занявших третье место в розыгрыше чемпионата страны. Вот о Мимрике: «Як багатырская заслона, стаіць надзейна абарона. Яе ўзначаліў і праславіў футбольны віцязь Мімрык Павел». На рисунке он выглядел настоящим витязем со щитом и звездой.

Павел быстро овладел белорусским языком и с большим интересом читал произведения Ивана Шамякина, Василя Быкова, Алеся Осипенко, с семьей которого нас связывала большая дружба. Мой муж зачитывался его романами, повестями, подаренными с автографами. Вместе обсуждали прочитанное.

Павел безгранично любил свою семью, был заботливым мужем и отцом, воспитателем дочерей. Старшая дочь Лидия стала педагогом, живет с семьей в Санкт-Петербурге. Старшая внучка Катерина живет с мужем и детьми в Архангельске. Младшая дочь Анна, окончив техникум, трудится в проектном институте в Минске.

Когда Павел покидал футбол, мы все просили его пойти работать по специальности — зубным техником. Но он не представлял своей жизни

без футбола. Он жил им, интересовался игрой разных команд. Транзисторный приемник всегда был настроен на «Маяк». Услышав первые звуки футбольного марша, Павел включал его на всю громкость и замирал. И уж тогда не подходи к нему. Как личную трагедию воспринял он переход на тренерскую работу знаменитого Льва Яшина. «Все! — сказал Павел, когда закончился последний матч прославленного вратаря. — Больше футбола не будет». Но позже понял, что это не так.

В 1957 году Павла пригласили на должность начальника и тренера футбольной команды «Урожай». В сезоне 1959 года они добились больших успехов, заняли второе место. Потом начались разъезды. Павел тренировал брестский «Спартак», минский ОДО, гродненский «Нёман». Вернувшись домой, Павел работал при группе подготовки команды мастеров «Динамо». Он любил молодежь и никогда не забывал, что футбол начинается с мальчишек, что и сам начинал также.

Вдруг я стала замечать грусть в его глазах. Я спросила: «Что с тобой происходит?» Павел ответил: «Ходят слухи, меня могут освободить от тренерской работы, я не имею высшего образования», — ответил Павел. Думаю, дело не в самой работе, а в том, как человек относился к ней. И если оказывается, что уже нечего добиваться, жизнь теряет смысл и тогда происходит непоправимое...

Друзья, товарищи, бывшие воспитанники, многочисленные болельщики тех лет помнят Павла Мимрика все таким же красивым, прекрасным человеком, спортсменом, который защищал честь своей команды и оставил яркий след в истории белорусского футбола.

Елена МИМРИК



СТЕПАН (Степаненко) Владимир Александрович. Родился в 1958 г. в г. п. Костюковка Гомельской области. Окончил Художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Прозаик, поэт, драматург, киносценарист. Автор книг прозы «Вежа», «Сам-насам» и др. Живет в Минске.

КАМЕЙША Казимир Викентьевич. Родился в 1943 г. в д. Малые Новинки Столбцовского района Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик. Автор многих книг для детей и взрослых. Лауреат Литературной премии имени Аркадия Кулешова. Живет в Минске.

ПЕЛЮШОНОК Юрий Анатольевич. Родился в 1957 г. в Минске. Окончил Белорусский институт физической культуры и медицинский факультет Тартуского университета. Автор книги «Strings For A Beatle Bass. The Beatles Generation In The USSR». Живет в Минске.

КИСЕЛЕВ Георгий Иванович. Родился в 1939 г. на Вологодчине (Россия). Окончил Литературный институт им. М. Горького. Поэт, критик, переводчик. Печатался в периодических изданиях Беларуси и России. Живет в г. Волковыск Гродненской области.

ОСИНОВСКИЙ Александр Александрович. Родился в 1934 г. в Брянской области (Россия). Окончил Киевский политехнический институт. Публиковался в журналах «Нёман», «Наш современник». Автор книги «Гипертайна Любомира Богова». Живет в Минске.

БОРОДИЧ Валерий Валентинович. Родился в 1961 г. в г. Толочин Витебской области. Окончил Минский государственный медицинский институт. Поэт. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в г. Заславль Минской области.

КРАСНЕВСКАЯ Зинаида Яковлевна. Родилась в 1947 г. в Риге (Латвия). Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Переводчик, автор нескольких книг по проблематике перевода. Живет в Минске.

КОБЕЦ Мария Владимировна. Родилась в д. Валище Пинского района Брестской области. Окончила Пинское медицинское училище. Студентка Института журналистики Белорусского государственного университета. Печаталась в областных и республиканских периодических изданиях, автор поэтического сборника «Кроплі». В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в д. Валище Пинского района Брестской области.

КОСТЮЧЕНКО Наталия Николаевна. Родилась в 1963 г. в д. Старая Иолча Брагинского района Гомельской области. Окончила Белорусский технологический институт. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси и России. Автор ряда книг прозы. Живет в Минске.

ГРАХОВСКИЙ Сергей Иванович. Родился в 1913 году в местечке Нобель Пинского уезда (теперь — Ровенская область, Украина). Окончил Минский педагогический институт. Поэт, прозаик, публицист, переводчик. Автор многих книг поэзии и прозы. Лауреат Государственной премии имени Якуба Коласа, Литературной премии имени Аркадия Кулешова, награжден медалью Франциска Скорины. Умер в 2002 году в Минске.

СТЕГНЕР Уоллес. Родился в 1909 г. в г. Лейк-Миллс (штат Айова, США). Окончил Университет штата Айова. Известный американский писатель, автор 13 романов, ученый-гуманитарий. Лауреат Пулитцеровской премии. Умер в 1993 году г. Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США).